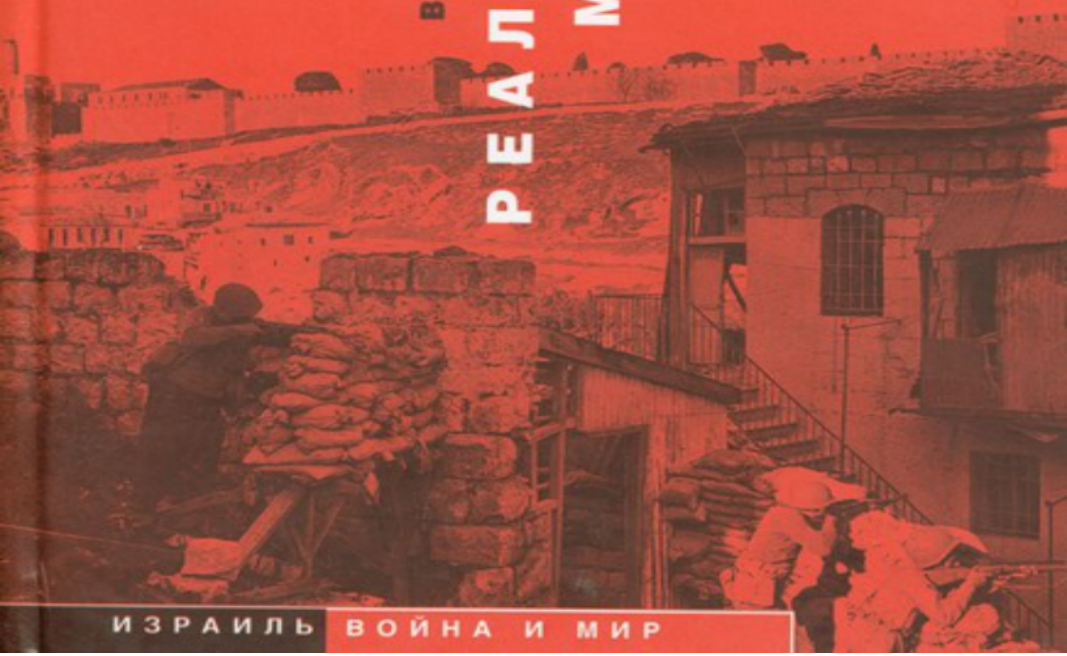
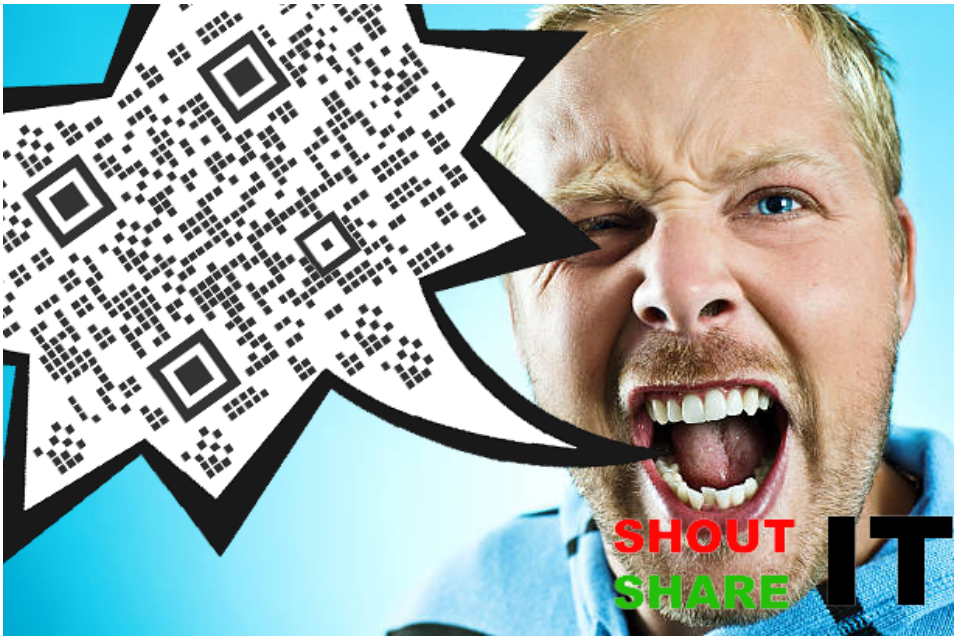
ВЛАДИМИР ФРОМЕР

РЕАЛЬНОСТЬ МИФОВ



ИЗРАИЛЬ ВОЙНА И МИР


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В новую книгу Владимира Фромера вошли исторические и биографические очерки, посвященные настоящему и прошлому государства Израиль. Герои «Реальности мифов», среди которых четыре премьер-министра и президент государства Израиль, начальник Мосада, поэты и мыслители, — это прежде всего люди, озаренные внутренним светом и сжигаемые страстями.

В «Реальности мифов» объективность исследования сочетается с эмоциональным восприятием героев повествования: автор не только рассказывает об исторических событиях, но и показывает человеческое измерение истории, позволяя читателю проникнуть во внутренний мир исторических личностей.

Владимир Фромер — журналист, писатель, историк. Родился в Самаре, в 1965 году репатриировался в Израиль, участвовал в войне Судного дня, был ранен. Закончил исторический факультет Иерусалимского университета, свыше тридцати лет проработал редактором и политическим обозревателем радиостанций Коль Исраэль и радио Рэка. Публиковался в журналах «Континент», «22», «Иерусалимский журнал», «Алеф», «Взгляд на Израиль» и др. Автор ставшего бестселлером двухтомника «Хроники Израиля».

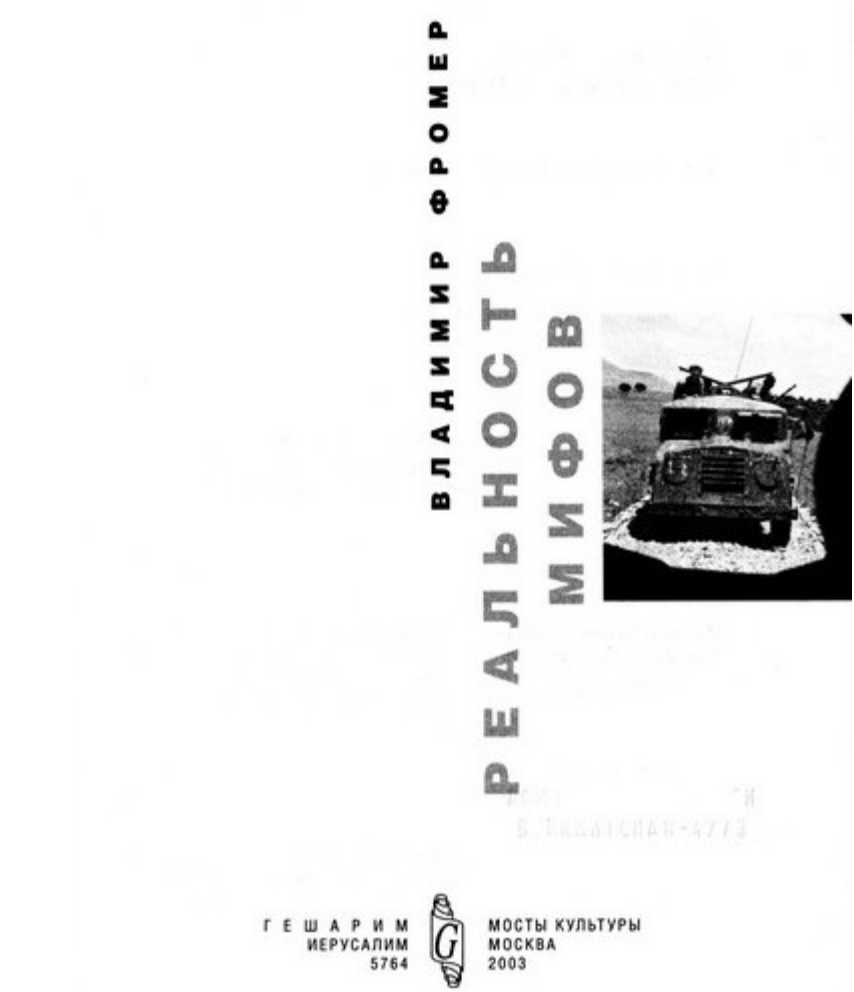
Живет и работает в Иерусалиме.

- Владимир Фромер
  - ○
  - ○ Реальность мифов Владимира Фромера
  - ○ Хроники Израиля
    - ■
    - ■ Первая война:
      - ■ Англичане, Абдалла и арабская стратегия
      - ■ Первый этап войны
      - ■ Южный фронт
      - ■ Северный фронт
      - ■ Борьба за Иерусалим
      - ■ Блокада Иерусалима
      - ■ Первый антракт
      - ■ Второй этап войны
      - ■ От второго антракта до поражения Египта
      - ■ Эпилог, ставший прологом
    - ■ Первый командующий
    - ■ Не хочу, чтобы он умирал…
    - ■ Страницы из военной жизни Ариэля Шарона
    - ■ Дороги, которые он выбирает

- Триумф и трагедия Менахема Бегина
- Власть без славы
- Золотые цепи Мессии
  - Крушение мифов
  - Сумерки героя
  - Несбывшиеся надежды
  - Два часа с Бараком
    -
    - О двух полушариях головного мозга
    - О природе страха
    - О музыке
    - О литературе
    - Почему Барак отказался от научной карьеры
    - О счастье и везении
  - Золотые цепи Мессии
- Хроники Мосада
  -
  - Солдат в Мосаде
    -
    - Ретроспективный взгляд
    - Маленький Исер
    - Амит против Хареля
    - Солдат в Мосаде
    - Ловушка для Бен-Барки
    - Месть де Голля
    - Харель против Амита
    - Король и его палач
  - На серебряном блюде
- Хроники памяти
  -
  - Поэзия как форма жизни
  - Страсти по Альтерману
  - Несостоявшаяся встреча
  - Иерусалим — «Москва — Петушки»
  - «Он между нами жил…»
  - Обед на двоих
- Примечания
-

- notes
  - 1
  - 2
  - 3

Владимир Фромер
Реальность мифов



Реальность мифов Владимира Фромера

Существует несколько причин, по которым эту книгу следует прочитать.

Во-первых, она написана захватывающе интересно — достаточно редко встречающееся качество.

Во-вторых, своими персонажами Фромер выбирает как людей, составляющих предмет национальной гордости, так и тех, кто широкой публике известны менее. Всех их роднят качественность, значительность и трагизм, невзирая на происхождение и место обитания. Сквозь их черты, столь живо и достоверно прописанные автором, светится античная бронза. Это уплотненная проза с высоким эмоциональным зарядом, пронизанная острой интенсивностью человеческих чувств.

Фромер обладает исключительной способностью заставить читателя забыть, что он читатель, и сделать его соучастником описываемого: двумерное пространство книжного листа превращается в трехмерную реальность жизни.

И наконец, причина третья.

О чем бы ни писал Фромер, он пишет об Израиле — средоточии духовности для любого думающего, чувствующего и порядочного человека вне зависимости от его национальной принадлежности. Ибо Израиль — это пробный камень, на котором испытывались и продолжают испытываться и человечество, и личность. Страна, где реальность трагична и необычайна, как миф, а миф обыден и реален, как горсть маслин и кусок хлеба.

Наверняка существуют и другие причины для того, чтобы прочитать эту книгу, и среди них — талант и мастерство автора, впервые опубликованные детали и подробности важных событий и прочее.

Мне же кажется, что и перечисленных более чем достаточно.

Александр Окунь

Хроники Израиля

Первая война: май 1948 — июль 1949

Англичане, Абдалла и арабская стратегия

Ликвидация британской колониальной системы имела одну существенную особенность: этот процесс напоминал свертывание ставших нерентабельными коммерческих предприятий. Уникальность английской империи в том и заключалась, что она возникла в результате деятельности аристократического меньшинства, гораздо больше заботившегося о собственном обогащении, чем о величии империи. Аристократы Англии первыми в Европе поняли и оценили коммерческую сторону войны. Постепенно воины превратились в коммерсантов, а затем и в промышленников, причем отнюдь не сочли зазорной для себя эту метаморфозу. Иное дело, что величием своим Британская империя всецело обязана их деятельности.

Объяснить сей феномен не сложно. Англия — это всего лишь скалистый остров. Чтобы жить на широкую ногу, английские феодалы регулярно совершали набеги туда, где всего в достатке. Как только добытое в бою богатство иссякало, благородный рыцарь пристегивал шпоры и вновь отправлялся в заморские края. Ну а там со временем создавались компании либо концерны для обустройства завоеванного пространства. К XIX веку английское избранное меньшинство, избалованное богатством и могуществом, превратилось в аристократию мира.

Имперская идеология не основывается на негативных постулатах. Свою империю англичане представляли как царство справедливости на земле, а себя — в роли благодетелей народов, еще не доросших до современной цивилизации.

Жестокая послевоенная действительность камня на камне не оставила от этих иллюзий. Для англичан перспектива потери всего Ближнего Востока была нестерпимой. Они не желали оставаться без Суэцкого канала и арабской нефти. Правители распадающейся империи опасались восстания арабов в Палестине, утраты симпатий арабского мира и проникновения в регион враждебных Англии сил.

Этого объяснения все же недостаточно, чтобы понять, почему, вопреки собственным интересам, Великобритания с таким упорством придерживалась непопулярной и безнадежной политики в вопросе о Палестине и еврейских беженцах из Европы. Если бы англичане отменили Белую книгу и распахнули ворота

Эрец-Исраэль перед уцелевшими жертвами Катастрофы, то совсем в иной плоскости развивались бы события.

Прагматизм требовал от английского руководства больше принимать в расчет интересы евреев и меньше — арабов. Хотя бы потому, что симпатии мировой общественности, и в первую очередь Соединенных Штатов, были тогда на стороне евреев.

Британское же правительство поступало наоборот, потому что руководствовалось в своей политике не реальными интересами страны, а эмоциональными настроениями, доминировавшими в английском обществе. Они же тогда были явно антиеврейскими.

В силу наследственной привычки к власти и к богатству у англичан выработалась почти мистическая вера в собственную непогрешимость. Оппозиция к их имперской политике считалась как бы вызовом божественному порядку, а потому была смертным грехом, который следовало искоренить. Евреи вели в Палестине террористическую деятельность. Они убили лорда Мойна. Значит, их нужно было наказать.

Как? Очень просто. Не давать им того, что они хотели получить.

Уходя из Эрец-Исраэль, т. е. сворачивая ставшую нерентабельной «палестинскую фирму», англичане были уверены, что арабы раздавят евреев, а большая часть палестинской территории вольется в состав трансиорданского государства, где царствовал Абдалла эль-Хусейн, считавшийся английской марионеткой.

Трансиордания, получившая независимость в 1946 году, должна была стать оплотом британских интересов в регионе, т. е. новым «предприятием», на сей раз приносящим дивиденды.

Арабский легион Абдаллы состоял из десяти тысяч прекрасно обученных бедуинских воинов, которыми командовали английские офицеры. Это была грозная сила. Из всех арабских армий, напавших на еврейское государство, лишь легион короля Абдаллы оказался на уровне поставленных войной задач. Командующим легионом был сэр Джон Глабб, считавшийся вторым Лоуренсом.

Абдалла не был наследственным монархом. Королем он провозгласил себя сам в июле 1946 года. Гораздо важнее, что бедуинские племена хранили слепую преданность своему племенному вождю. Хитрый, расчетливый, по-восточному коварный, но и великодушный король, ценитель женской красоты и древней арабской поэзии, не был марионеткой и, когда этого требовали его интересы, без колебаний выходил за рамки предназначенной ему англичанами роли.

Абдалла прекрасно знал евреев и относился к ним без всякой враждебности, со спокойным фатализмом. Как-то даже обронил фразу: «Ведь и евреев для чего-то создал Аллах».

Он очень ценил доктора Хаима Вейцмана, которого не раз принимал в своих владениях, еще будучи эмиром. Из всех арабских лидеров того времени Абдалла был самым умеренным. Он не витал в облаках, не предавался несбыточным мечтаниям. Абдалла знал, чего хочет.

У этого бедуинского вождя были воистину королевские амбиции. Он стремился заполнить остающийся после ухода англичан вакуум и забрать себе арабскую часть Палестины. Злейшим врагом трансиорданского короля был палестинский муфтий Хадж Амин эль-Хусейни, не скрывавший своего стремления вырезать всех евреев, а этого неотесанного кочевника Абдаллу оттеснить назад в пустыню, где ему самое место.

1 октября 1947 года один из приближенных Абдаллы дословно записал слова своего короля: «Муфтий и его прихвостень Хаватли хотят создания в Палестине независимого арабского государства во главе с муфтием. Если такое случится, я окажусь окруженным врагами со всех сторон. Поэтому я вынужден действовать, чтобы разрушить их планы. Любое место, освобожденное англичанами, будет занято моими войсками. Я сам не нападу на евреев; буду наступать только в том случае, если они атакуют мои войска. Я не допущу резни в Палестине. Лишь после того, как в стране воцарятся порядок и спокойствие, можно будет достигнуть соглашения с евреями».

А в ноябре 1947 года Абдалла тайно принял Голду Меирсон (Меир) и обсудил с ней перспективы на раздел Палестины.

Из-за конспирации Голда явилась на встречу с королем в арабском платье и в паранджа. Абдалла, несколько шокированный тем, что Еврейское агентство прислало на переговоры с ним женщину, сказал ей с иронической усмешкой: «Вам к лицу арабское убранство, госпожа Меирсон».

Впрочем, оба остались довольны встречей. Король заверил Голду, что подпишет соглашение с еврейским государством после того, как приберет к рукам арабскую часть Палестины. Голда дала понять, что евреев это вполне устраивает.

Возможно, так бы оно и было, если бы не проблема Иерусалима.

* * *

В феврале 1948 года министр иностранных дел

Великобритании Эрнст Бевин принял в Лондоне премьер-министра Трансиордании Туфика эль-Худу и командующего королевским легионом сэра Джона Глабба. Бевин встретил гостей с подчеркнутой сердечностью. Несмотря на полученную независимость, Трансиордания оставалась, по сути, британским протекторатом. Резидент Великобритании в Аммане получил статус посла, что, как он сам признавал, не внесло в его деятельность никаких существенных изменений.

Туфик эль-Худа обрисовал ситуацию: «Войска моего короля и повелителя Абдаллы вступят в Палестину и займут территории, выделенные арабам по плану раздела. Если мой король этого не сделает, то его опередят евреи или муфтий», — закончил премьер-министр Трансиордании, как бы оправдываясь.

Тонкая улыбка появилась на губах Бевина. Британский министр сказал, чеканя каждое слово: «Действуйте, только смотрите не вторгайтесь на территорию, отведенную евреям».

Бевин проявил себя искусным дипломатом. На первый взгляд его совет был и гуманным, и умиротворяющим. На самом же деле он ловко содействовал разжиганию конфликта. Советуя Абдалле не вторгаться на выделенные евреям земли, Бевин как бы молчаливо соглашался на захват Трансиорданией Иерусалима. Ведь, согласно плану ООН, Иерусалим должен был получить международный статус. Он не предназначался ни евреям, ни арабам. В лондонском МИДе не сомневались, что Абдаллу увлечет идея стать патроном и защитником святого города. Так и оказалось.

С 10 по 22 апреля 1948 года в Каире состоялась сессия Арабской лиги. Дождавшись подходящего момента, король Абдалла объявил, что его легион вступит на территорию Палестины сразу по завершении срока британского мандата. Это заявление вызвало замешательство и изумление других делегаций. И хотя арабы не очень-то рвались в бой — премьер-министр Египта Нокраши-паша, например, знал, что египетская армия к войне не готова, — они не желали отдавать Абдалле такой жирный кусок. Рвение Абдаллы члены Лиги одобрили, но твердо решили составить ему компанию в военной экспедиции против евреев.

30 апреля, за две недели до истечения мандата, Арабская лига вновь собралась — на сей раз в Аммане. Тогда и было принято принципиальное решение о вторжении арабских армий в Эрец-Исраэль. События развивались стремительно. Начальники арабских генеральных штабов выработали в Дамаске план совместных военных действий. Войска Сирии и Ливана должны были вторгнуться в Эрец-Исраэль с севера и захватить Тверию,

Цфат и Назарет. Иракским силам и Арабскому легиону предстояло наступать южнее Кинерета, в сторону Хайфы, захват которой считался необходимым условием успешного завершения всей военной кампании. Ну а египетской армии выпала задача сковать главные еврейские силы к югу от Тель-Авива.

На бумаге все это выглядело прекрасно.

Но Абдалла был в угнетенном состоянии. Его не радовало даже то, что он был назначен главнокомандующим всех арабских армий. Абдалла не хотел двигаться на Хайфу, тем более что она относилась к тем районам, куда Бевин советовал ему не лезть. Абдалла и не полез. Он держал свои войска на Западном берегу Иордана и в арабской части Иерусалима, отлично понимая, что в предстоящей войне каждая арабская страна будет преследовать лишь собственные интересы. Так и произошло. Никакой единой арабской стратегии не было. Должность главнокомандующего, как Абдалла и полагал, оказалась фикцией. Арабские армии сражались, не обращая друг на друга никакого внимания, что существенно облегчало задачи еврейскому командованию.

Первый этап войны 15 мая — 11 июня 1948

15 мая в четыре часа утра стал медленно алеть горизонт на восточном побережье Средиземного моря. Государство Израиль, созданное 12 часов назад, впервые встречало рассвет. Тель-Авив еще ворочался в тяжелом забытьи, мало напоминавшем сон. Наступила первая суббота нового государства, которому еще предстояло отстоять свое право на жизнь.

Синагоги уже заполнились людьми — им было о чем взывать к Всевышнему в этот день. Из окон многих домов уже доносились звуки радио. Люди ждали новостей с тревогой и надеждой.

В здании из розового камня на берегу моря всю ночь горел свет. Здесь находился штаб еврейского командования. Здесь глава временного израильского правительства Давид Бен-Гурион обсуждал ситуацию с командирами Хаганы. Тут же находились заместитель Бен-Гуриона Исраэль Галили и начальник оперативного отдела Хаганы Игаэль Ядин. Они знали: война на пороге. С минуты на минуту ждали сообщений о нападении регулярных армий арабских государств. В перспективе только одно: объявленная война.

Необъявленная война, начавшаяся сразу после принятия Генеральной Ассамблеей ООН исторической резолюции о разделе Палестины 29 ноября 1947 года, велась в основном с палестинскими арабами и завершилась внушительной еврейской

победой. Военные формирования Хаганы заняли Хайфу, Яффо, Цфат, Тверию, блокировали Акко и захватили около ста арабских деревень.

Евреи сохранили контроль над всеми главными коммуникационными линиями страны, однако латрунская дорога — артерия жизни еврейского Иерусалима — находилась в руках врага. «Арабская армия освобождения» Каукаджи была разбита на севере и в иерусалимском коридоре. Но позади остался лишь первый раунд Войны за независимость. Уже начинался второй — гораздо более тяжелый и опасный.

Следует отметить как большую удачу, что на трагическом переломе своей судьбы, после ужасающей Катастрофы, еврейский народ обрел вождя.

Давид Бен-Гурион, целеустремленный, динамичный, видевший на порядок дальше других, не случайно стал тараном, пробившим дорогу национальному делу. Был он личностью крупномасштабной, глобальной. Противники обвиняли его в нетерпимости к чужому мнению, в том, что он все норовил решать сам и часто обрушивался на своих оппонентов с излишней резкостью. Он бывал упрям, прямолинеен. Совершал ошибки, которые дорого обходились молодому государству. Бен-Гурион мог бы повторить вслед за Лютером: «На том стою и не могу иначе», — потому что у него была натура бойца. Он был пристрастен, субъективен, но и эти его черты оказались необходимыми для торжества национальной идеи.

Натуры объективные обычно менее энергичны и решительны. Они испытывают чувство неуверенности в себе, сомневаются в своей правоте и всегда готовы прислушаться к аргументам противника. Но предоставить противнику слово в экстремальной ситуации означает отнять время у себя и отдать ему. А ведь каждая минута может оказаться решающей. Лучше сражается тот, кто безоглядно уверен в своей правоте.

Бен-Гурион понимал, конечно, какое бремя он принимает на свои плечи. Еще в январе 1948 года, выступая на съезде своей партии Мапай, он сказал:

«Я чувствую, что мудрость Израиля сегодня — это мудрость войны — только это и ничто другое. Без этой мудрости слова „государство“ и „спасение“ лишены всякого смысла. Я не могу, да и не хочу думать ни о чем, кроме ближайших 7–8 месяцев, которые определят все. В течение этого периода будет решен исход войны, и для меня сегодня не существует ничего, кроме этой войны».

Уже на склоне жизни поведал Бен-Гурион о том, какое смятение охватило еврейских руководителей в Эрец-Исраэль и

друзей евреев за рубежом в дни, предшествовавшие провозглашению независимости.

Лидер американских сионистов Нахум Гольдман считал провозглашение еврейского государства безумием.

«Да их же там всех перебьют, — говорил он при каждой возможности. — Мало нам, что ли, одной Катастрофы?»

А президент еврейской организации ХАДАСА Роз Гальперин, покидавшая Эрец-Исраэль в начале мая 1948 года, плакала, прощаясь со своими друзьями. Она думала, что никогда их больше не увидит.

В самом Народном совете звучали голоса, призывавшие Бен-Гуриона одуматься, не делать непоправимого шага. Более того, на прямой вопрос Бен-Гуриона, выстоит ли молодое государство против всех арабских армий, командиры Хаганы дали уклончивые ответы. Они не знали…

Бен-Гурион знал, чем он рискует. Но знал он и другое. Степень риска была вполне оправданной.

Говоря о Войне за независимость, соблазнительно провести аналогию со схваткой Давида с Голиафом, но это было бы преувеличением. В этой войне количественное соотношение арабов и евреев — 40 миллионов против 600 тысяч — не имело существенного значения. Силы обеих сторон, непосредственно участвовавшие в военных операциях, были почти равны: 25–30 тысяч еврейских бойцов против сил вторжения общей численностью в 30–35 тысяч человек. На главных направлениях силы сражающихся были примерно уравновешены.

Но арабы на первом этапе войны имели подавляющее преимущество в вооружении. У арабов были артиллерия, танки, пулеметы и даже авиация. Англичане позаботились об этом.

У евреев же было лишь то оружие, которое они сумели скопить в подполье за время борьбы с мандатными властями. Его катастрофически не хватало. Бен-Гурион знал, что способность Израиля выстоять связана со своевременным поступлением оружия. К счастью, к тому времени уже имелось согласие Чехословакии на военные поставки еврейскому государству. Оружие находилось в пути, но фактор времени становился решающим.

У людей, собравшихся в ночь с 14 на 15 мая в «красном доме» в Тель-Авиве, не было выбора. Не было никакой возможности предотвратить арабское нападение. Нужно было дождаться арабского удара, а затем ввести в сражение все еврейские силы.

Ночью пришло радостное известие из Вашингтона. Соединенные Штаты признали де-факто еврейское государство. Но пришло и другое сообщение. После трехдневных боев с

трансиорданским легионом короля Абдаллы пал Гуш-Эцион — анклав еврейских поселений к югу от Иерусалима. Это была зловещая весть, не сулившая ничего доброго.

В пять часов утра в ясном небе появились три серебристые точки, приближавшиеся с необычайной быстротой. Три египетских «спитфайера» атаковали электростанцию «Рединг» и расположенный позади нее тель-авивский аэродром. Противовоздушной обороны у евреев еще не было, но пулемет, установленный на крыше электростанции, встретил «гостей» короткими прицельными очередями. Египтяне сбросили бомбы, повредившие взлетную полосу, но им не удалось уйти в полном составе. Один из «спитфайеров» был подбит и разбился в дюнах неподалеку от Тель-Авива. Взятый в плен пилот сказал на первом допросе: «Долго я у вас не пробуду. Доблестная египетская армия уже на пути в Тель-Авив».

У людей в «красном доме» не осталось никаких сомнений. Арабское вторжение началось. Угроза надвигалась со всех сторон. Трудно было установить главный фронт, главное направление арабского наступления. Опасная ситуация складывалась на всех фронтах, и нигде евреи не могли позволить врагу добиться успеха. Известно ведь, где тонко — там рвется. Командование Хаганы не могло позволить, чтобы где-то что-то «порвалось», и придерживало немногочисленные свои резервы.

Легион Абдаллы мог нанести удар в центре, и Хагана медлила с отправкой подкреплений на юг и на север. Однако без подкреплений нельзя было выстоять ни на юге, ни на севере.

Проследим же, как развивались события на фронтах.

Южный фронт

Вторжение в Эрец-Исраэль египтяне начали из Синая двумя бригадами — второй и четвертой, дислоцированными в Эль-Арише. В египетских войсках царило благодушное настроение. Египетские солдаты и не подозревали, что впереди трудная военная кампания с тяжелыми боями. Им внушали, что кое-как вооруженный еврейский сброд не сможет оказать никакого сопротивления регулярной армии. Еще недавно по ротам зачитывался инструктаж из Каира, в котором говорилось, что египетская армия займет, по-видимому, часть палестинской территории, чтобы передать ее потом законному правительству арабского палестинского государства.

15 мая командир второй бригады полковник Мохаммед Нагиб в соответствии с полученным из генштаба приказом двинулся со своими силами вдоль морского побережья Газы в направлении

Тель-Авива.

Четвертая же бригада, которой командовал генерал-лейтенант Абдель Азиз, продвигалась в северо-восточном направлении на Беэр-Шеву и в сторону Хевронских гор. 21 мая передовые отряды Абдель Азиза достигли Бейт-Лехема и, сомкнувшись на юге с легионом Абдаллы, завершили окружение Иерусалима. Правда, Абдалле это принесло мало радости. Абдель Азиз отказался признать его верховным главнокомандующим и даже не разрешил ему посетить египетский фронт.

На пути египетского наступления находились 27 еврейских поселений, разбросанных на сравнительно большом пространстве. В 22 из них число защитников не превышало 30 человек. Нагиб получил приказ раздавить эти «очаги сионистской заразы» и захватить Тель-Авив в течение 48 часов.

Но Нагиб и не помышлял ни о чем подобном. Египетские силы, окружившие почти безоружные кибуцы Некба, Кфар-Даром, Нирим и Яд-Мордехай, натолкнулись на отчаянное сопротивление. Защитников кибуцев не смутило огромное численное превосходство врага. Их не испугали танки и артиллерия. Они дрались как черти.

Пять дней провозился Нагиб у одного только Яд-Мордехая, а евреи ведь не теряли времени даром. Нагибу мерещились громадные силы, сконцентрированные сионистским командованием на пути к Тель-Авиву. Он боялся попасть в расставленную евреями ловушку. Тем не менее, осторожно продвигаясь на север по единственному шоссе, бригада Нагиба вышла на подступы к Ашдоду.

В целом наступавшие египетские силы имели в своем распоряжении около пяти тысяч человек, танки, полевые орудия и даже самоходные пушки.

Противостояла им бригада Гивати под командованием Шимона Авидана. С декабря 1947 года эта бригада не выходила из боев. Ее потери были тяжелыми. 160 убитых, 700 раненых. Новобранцы из Тель-Авива и Реховота не могли заменить выбывших ветеранов. В общей сложности в распоряжении Авидана было около четырех с половиной тысяч человек, но лишь 1800 из них могли считаться бойцами первой линии. Да и те были предельно измучены. Моторизованное же подразделение бригады Гивати состояло из восьми грузовиков и трех лошадей. Грузовики давно нуждались в ремонте, зато лошади исправно тянули.

Преимущество египтян, в особенности в технике, было очевидным. В первые дни египетского наступления еврейское военное руководство изрядно нервничало. Но жители Яд-

Мордехая и других кибуцев, сражавшиеся во имя спасения Тель-Авива до последнего патрона, на целых пять суток задержали продвижение врага. Яд-Мордехай продержался до 24 мая, после чего его жители были эвакуированы.

Это был неоценимый выигрыш во времени, и Шимон Авидан постарался максимально им воспользоваться. Самая боеспособная его рота встретила наступавшие египетские силы плотным огнем. Нагиб потом утверждал, что в Ашдоде сионисты собрали ударный кулак из четырех тысяч штыков. На самом же деле всей второй египетской бригаде противостояла в Ашдоде лишь сотня бойцов. А тут еще приобретенные Хаганой в Европе четыре «мессершмитта» атаковали египетскую колонну, насчитывавшую 500 машин. И хотя причиненный ими урон был невелик, войска Нагиба застыли как вкопанные в трех километрах от города, у моста, подорванного накануне саперами Гивати. Несколько яростных контратак бойцов Гивати не вынудили, однако, Нагиба к отступлению.

Когда по инициативе ООН 11 июня вступило в силу соглашение о прекращении огня, египтяне все еще находились в 32 километрах от Тель-Авива. Впрочем, с идеей захвата этой цитадели сионизма они расстались. Теперь цель египетского командования была сосредоточена на завоевании Негева и вытеснении евреев из всего южного района Палестины.

Египтяне были довольны. В Каире трубили о великих египетских победах в Эрец-Исраэль и проклинали ООН, навязавшую арабам прекращение огня, что якобы спасло войска сионистов от полного уничтожения.

Северный фронт

Положение на севере в начале не особенно беспокоило еврейское командование. На севере сражались отборные силы Пальмаха и Хаганы под командованием лучших еврейских военачальников того времени — Игаля Алона и Моше Кармела.

17 мая силы Кармела штурмом взяли Акко, а войска Алона успешно завершали операцию Ифтах, очищая от врага Восточную Галилею.

Но как раз в это время сирийцы выложили на стол свои козыри. Сирийская моторизованная бригада — 200 машин и бронетранспортеров, два десятка танков, несколько десятков артиллерийских стволов — буквально скатилась из Кунейтры на Голанских высотах к южной оконечности озера Кинерет. Разделившись на пять колонн, сирийцы устремились к еврейским поселениям, расположенным в этом районе по обе стороны

Иордана. Ключевой полицейский пункт Цемах, преградивший сирийцам путь, был взят после ожесточенного боя. Все израильские кибуцы в долине Иордана оказались под угрозой. Два из них — Масаду и Шаар а-Голан — пришлось эвакуировать. Бен-Гурион понимал, что нужно что-то срочно предпринять, дабы избежать разгрома на северо-востоке. Но резервов не было. Некого было послать на помощь осажденному кибуцу Дегания. На всех фронтах еврейские силы сдерживали врага с предельным напряжением, и ослаблять их было нельзя.

О событиях тех роковых дней рассказал в одном из газетных интервью начальник оперативного отдела Хаганы Игаэль Ядин:

«Старики Дегании во главе с Йосефом Берцем явились к Бен-Гуриону и сказали ему, что Дегания и вся Восточная Галилея падут, если не придет немедленная подмога. Бен-Гурион вынужден был ответить: „Возвращайтесь, товарищи, домой, мне нечего вам дать!“

Тогда они пришли ко мне. До сих пор помню охватившее меня унизительное чувство беспомощности. Я сказал: „Если Бен-Гурион ничего вам дать не может, то тем более не могу я. Могу лишь посоветовать: швыряйте в танки бутылки с горючей смесью“.

Тут деганиевцы разразились воплями. Они уже ничего не просили. Они кричали и плакали. Мне стало как-то не по себе. Я в эту минуту понял, что если Дегания не устоит, то падет весь север.

На юге египтяне двигались к Тель-Авиву. Иерусалим был отрезан. Иракцы усиливали давление в центре страны. Я почувствовал: настал момент, когда мечта поколений повисла на волоске.

Что же сделали деганиевцы? Они вернулись домой и остановили сирийские танки самодельными зажигательными бутылками!»

Правда, Бен-Гурион направил в Деганию талантливого командира Хаганы Моше Даяна и четыре 65-миллиметровые пушки производства 1870 года. Попасть из этих пушек в цель было трудно, но грохот они производили ужасающий. Возможно, этот грохот и напугал сирийцев. Их отступление походило на паническое бегство. Цемах они оставили.

Сирийцы еще дали о себе знать. 10 июня они захватили лобовой атакой кибуц Мишмар а-Ярден к северу от Кинерета, превратили его в укрепленный форт, который и удерживали вплоть до последней стадии войны. Но с мечтой прорваться к Цфату и овладеть всей Галилеей им пришлось распрощаться.

На северо-западном направлении первый батальон Пальмаха

под командованием Дана Даннера после тяжелых боев изгнал ливанцев из Малкии и Кадеш-Нафтали. И хотя вскоре эти два пункта пришлось оставить из-за переброски бригады Ифтах на Южный фронт, получившие урок ливанцы не проявляли в дальнейшем особой активности. В целом на севере страны в первый период боев события развивались успешно с точки зрения израильтян.

Однако в зону общего арабского наступления с севера входила и иракская бригада: три тысячи штыков, один моторизованный батальон. Иракское наступление началось 29 мая и велось тремя колоннами. Иракское командование стремилось захватить кибуц Гешер и прорваться к Афуле.

Под Гешером иракские силы были остановлены. Четверо суток иракцы штурмовали израильские укрепления в районе кибуца — и откатывались, оставляя позади убитых и раненых. Лишь гордость мешала иракскому командиру отдать приказ об отступлении.

И тут он получил депешу от Джона Глабба, в которой командующий легионом просил иракцев оставить Гешер и двинуться к Дженину, где некому было сдержать наступающих израильтян. Иракский командир тут же отдал приказ. Его силы, оторвавшись от противника, пересекли Иордан и приняли очень важный участок фронта от легионеров Глабба, перебрасываемых в район Латруна.

Там уже шла битва за дорогу на Иерусалим. Иракцы подоспели вовремя, предотвратив решающее поражение арабов в «треугольнике», в районе Дженина. Уже занятый израильтянами Дженин пришлось оставить. У израильского командования не было резервов для удержания столь растянутой линии фронта.

Итак, и на юге, и на севере арабское вторжение было остановлено ценой больших потерь и таких усилий, которые лучше всего свидетельствовали о жизнеспособности молодого еврейского государства. Но, по мнению Давида Бен-Гуриона, судьба Израиля зависела не от юга и не от севера. Исход битвы за Иерусалим решал все.

Борьба за Иерусалим

Король Трансиордании предпочитал владычество над Иерусалимом завоеванию всей остальной Палестины. Стать хозяином святого города, патроном «отдаленнейшей мечети», куда пророка Мухаммеда по велению самого Аллаха перенес Бурак — белоснежный зверь с человеческим лицом и огромными крыльями, — было сокровенным желанием Абдаллы. Ему не

нужны были ни Акко, ни Хайфа. Ему нужен был Иерусалим.

Начиная с 15 мая вооруженные арабские толпы совершали нападения на позиции Хаганы, захватившей оставленные англичанами здания в еврейской части Иерусалима. Это позволило Абдалле под предлогом спасения Иерусалима от евреев ввести в город ударные силы своего легиона.

Им противостояли два пехотных батальона Хаганы — по 500 человек в каждом — и 200 бойцов Эцеля и Лехи, из которых лишь половина имела оружие. У арабов были пушки, бронетранспортеры. У евреев не было почти ничего, кроме старых карабинов с ограниченным количеством патронов и нескольких пулеметов.

Так обстояли дела, когда 19 мая до зубов вооруженные легионеры начали наступление на еврейские районы Иерусалима. Они с ходу выбили немногочисленных бойцов Эцеля из квартала Шейх Джарах — ключевого стратегического пункта между Рамаллой и старой частью города. Это был успех. Захватив Шейх Джарах, легион блокировал гору Скопус, и она так и осталась отрезанной от еврейского Иерусалима вплоть до Шестидневной войны.

Развивая успех, легионеры ринулись на штурм еврейских кварталов Бейт-Исраэль, Паги и Шмуэль а-Нави. 25-фунтовые орудия громили здания, пробивая дорогу легионерам, вновь и вновь пытавшимся прорваться в сторону квартала ортодоксальных евреев Меа-Шеарим, расположенного в центральной части города.

Были минуты, когда казалось, что еврейский Иерусалим обречен. Разве можно было удержать легионеров — сытых, отдохнувших, прекрасно вооруженных, вышколенных? Выяснилось, что можно. Бойцы Хаганы швыряли в бронетранспортеры зажигательные бутылки, контратаками выбивали врага из захваченных им зданий.

Самые ожесточенные схватки, не раз переходившие в рукопашную, велись за обладание монастырем Нотр-Дам. Этот дом-крепость из заложенных на века иерусалимских камней прикрывает путь к самому центру еврейского Иерусалима, господствуя одновременно над ключевыми кварталами Старого города. Обе стороны придавали огромную важность этому объекту. Легионеры штурмовали Нотр-Дам десять раз. Отборные бойцы Джона Глабба, получившие приказ взять еврейскую твердыню любой ценой, проявили и отвагу, и волю к победе. Но они столкнулись с волей, превышающей их собственную.

24 мая группа легионеров прорвалась все же в монастырский сад и сошлась в рукопашной с его защитниками. Расстрелявшие

патроны евреи дрались ножами, зубами, всем, что было под рукой. Они отбили и эту атаку.

Защитники Нотр-Дам были ветеранами Хаганы, людьми самых мирных профессий. Многие из них принадлежали к так называемой творческой элите. Перед рукопашной они прятали в карманы очки — не так-то легко было раздобыть новые. Командовал этим гарнизоном «очкариков» профессор Боденгаймер, декан Иерусалимского университета — причем не военной кафедры, каковой вообще не было, а факультета зоологии.

Батальон Глабба, штурмовавший Нотр-Дам, потерял половину людского состава и почти всех офицеров, так ничего и не добившись. Глабб понял, что не имеющий резервов легион больше не может позволить себе таких потерь. Северный Иерусалим остался за евреями.

Один из командиров легиона вспоминал позднее: «Мои люди дрались, как герои, но евреи сражались с доблестью, превышающей человеческие возможности».

Одновременно с натиском на Нотр-Дам шли бои в южных предместьях Иерусалима, где действовали несколько египетских батальонов, переброшенных из Бейт-Лехема. Ключевым стратегическим пунктом на юге Иерусалима был кибуц Рамат-Рахель. Он господствовал над подступами к южной оконечности города. Кварталы Тальпиот, Макор-Хаим, Катамон невозможно было защитить без этого кибуца. Несколько раз Рамат-Рахель переходил из рук в руки, но в конечном итоге остался у евреев.

Военное счастье чаще всего склоняется на сторону тех, у кого крепче нервы.

* * *

Зато в Старом Иерусалиме легион компенсировал себя за все неудачи. Еврейский квартал Старого города пал 28 мая после героической обороны, длившейся несколько недель. Два престарелых раввина с белыми флагами вышли навстречу легионерам, лишь когда защищать квартал было уже, в сущности, и некому, и нечем.

Когда легионеры приняли капитуляцию еврейского квартала и увидели, как малочисленны его защитники, то один из офицеров Джона Глабба сказал: «Если бы мы знали, что вас так мало, то пошли бы на штурм с палками вместо пулеметов и минометов».

Потеря святых мест, а особенно Западной стены —

национальной святыни, тяжело воспринималась евреями. Но со стратегической точки зрения падение Еврейского квартала мало отразилось на ходе войны.

Блокада Иерусалима

Конечно, блокада Иерусалима несопоставима с эпопеей Ленинграда. Там — 900 дней нечеловеческого страдания и величия. Здесь — иные масштабы и другой ритм жизни. Но и здесь жителям еврейского Иерусалима довелось пройти через тот же круг ада.

Круг — символ блокадного сознания. Замкнутого, отрезанного от реальности. Человек носится по кругу в тщетных поисках выхода. Оскудевают жизненные силы, атрофируются чувства, ослабевает перед тем, как совсем исчезнуть, само ощущение жизни. Но пока живы люди, жив и город, который они олицетворяют. Каждый прожитый день в блокадных условиях — это подвиг.

За три последние недели мая враг выпустил по городу 10 000 снарядов. 316 человек погибли, 1422 были ранены. Суточный хлебный паек составлял 160 граммов на человека. Люди ели траву и листья. Воду развозили на грузовиках. Каждая семья получала на сутки маленькое ведерко. На мытье воды не хватало, и это было особенно унизительно. Тело становилось неприятным, чужим. Ничто так не раздражает человека, как отчуждение собственного тела.

Каждый день жители города — от старого до малого, включая и ортодоксальных евреев, не устававших проклинать сионистов за свалившиеся беды, — рыли траншеи, строили баррикады. Артобстрелы стали настолько привычными, что на них уже никто не обращал внимания. Город жил и сражался.

А вот штаб Хаганы в осажденном городе работал с досадными сбоями. Командующий иерусалимскими силами Давид Шалтиэль — человек сухой, педантичный, апологет порядка и здравого смысла, не вызывал у своих подчиненных положительных эмоций. Лучше всего он чувствовал себя за письменным столом. Писал Бен-Гуриону пространные, хорошо аргументированные отчеты и поэтому пользовался его полным доверием. Там, где больше всего нужны были прозорливость и интуиция, Шалтиэль пасовал. Так, например, он не оказал своевременной поддержки бойцам Узи Наркиса, прорвавшимся 19 мая в Старый город на помощь осажденному Еврейскому кварталу, что и определило его судьбу.

По-видимому, на основании отчетов Шалтиэля у Бен-Гуриона сложилось неверное представление о ситуации в районе

Иерусалима.

Бен-Гурион активно вмешался в работу военного штаба и потребовал немедленного наступления на Латрун, что привело к проведению самой спорной во всей войне операции. Напрасно Игаэль Ядин убеждал, что проводить такую операцию без тщательной подготовки — безумие. Напрасно спорил с вождем вызванный Ядином с Северного фронта Игаль Алон.

Всецело поглощенный национальной идеей, Бен-Гурион не ведал ни колебаний, ни сомнений. Его мощь и сила заключались в упорстве и непреклонности. Такие люди обычно считают осуществление своих представлений о жизни всеобщей святой обязанностью. Ни критики, ни возражений они не терпят даже со стороны ближайших соратников.

Впрочем, Ядину нечего было противопоставить настойчивости Бен-Гуриона. У него не было альтернативного плана. Он не знал, как избавить Иерусалим от уготованной ему страшной участи.

В субботу 22 мая Бен-Гурион приказал штурмовать Латрун силами 7-й бригады уже через 48 часов.

Ядин пришел в ужас. 7-я бригада, сформированная всего несколько дней назад, не имела никакого боевого опыта. Совсем недавно назначенный ее командиром Шломо Шамир — бывший майор британской армии — еще и в глаза не видел своих бойцов. Шамир, как и Ядин, считал, что наступать с этими новобранцами без тщательно разработанного оперативного плана совершенно невозможно.

Но Бен-Гурион стоял на своем. С трудом удалось уломать Старика, и он отсрочил наступление на 24 часа.

Получила 7-я бригада и пополнение. Батальон под командованием Цви Горовица состоял из репатриантов, прибывших в страну трое суток назад. Им тут же вручили винтовки, которыми многие вообще не умели пользоваться, и послали против закаленных легионеров Джона Глабба. На всех языках говорили бойцы этого «войска», кроме иврита.

Полученный Шамиром приказ был краток: взять Латрун и прорвать таким образом блокаду Иерусалима. Людей посадили в прибывшие из Тель-Авива автобусы. Автобусов было мало. Людей много. Теснота. Дикая жара. Фляг с водой ни у кого не было.

Шломо Шамир и начальник его оперативного штаба Хаим Герцог понимали, к чему все идет. Вновь они связались с Бен-Гурионом, вновь умоляли отложить наступление. И получили ответ: все должно идти по намеченному плану. Делать было нечего.

В два часа ночи вся шумная «кавалькада» двинулась из

Хульды на Латрун. Какой уж там фактор внезапности! Защищали Латрун отборные полки Арабского легиона, хорошо подготовившиеся к приему «гостей».

В Иудейских горах уже взошло солнце, а автобусы и грузовики все еще находились в дороге. И тут ожила арабская артиллерия. Заговорили минометы. Изнуренные жарой новобранцы ударились в бегство. Многие бросали оружие. Жажда жизни, овладевшая людьми, была сильней рассудка.

К счастью, поражение не привело к катастрофе. 32-й полк Хаима Ласкова, сохранивший и боеспособность, и присутствие духа среди всеобщего разброда, прикрыл отступление.

— Ну что ж, — сказал Бен-Гурион, ознакомившись с положением. — Начнем сначала.

Командующим Иерусалимским фронтом был назначен ветеран Второй мировой войны полковник Мики Маркус. Штаб Хаганы на сей раз детально разработал план нового наступления на Латрун. Медлить было нельзя, ибо Иерусалим по-прежнему находился в отчаянном положении. Отозванных новобранцев сменил свежий, прошедший обучение батальон, правда тоже состоящий из новых репатриантов.

Наступление на Латрун велось силами бригады Гивати под командованием Ласкова. Бой был отчаянным. Бойцы Ласкова, уже ворвавшиеся в Латрун, вынуждены были отступить, ибо в решающий момент батальон репатриантов не двинулся в эпицентр огня. У людей не выдержали нервы. Вновь неудача.

Мики Маркус послал после этого сражения телеграмму Ядину: «Я там был и все видел. План хорош. Артиллерия хороша. Броневики отличные. Пехота позорная».

С 25 по 31 мая, всего за неделю, израильские силы потеряли в боях за Латрун 137 человек убитыми.

И все же выход был найден. Раз старую дорогу взять не удалось, нужно было построить новую. Для строительства было решено использовать обходную тропу к югу от Латруна. Ею часто пользовались связные Хаганы, отправлявшиеся в Иерусалим.

Свыше тысячи жителей Иерусалима и Тель-Авива, яростно работая днем и ночью под арабским огнем, сделали, казалось бы, невозможное. Дорога, получившая название «Бирманской», была построена в кратчайший срок. Еврейский Иерусалим был спасен.

28 мая произошло знаменательное событие. Временное правительство издало приказ номер 4 о создании Армии обороны Израиля. Все другие воинские формирования на территории еврейского государства объявлялись вне закона. Исключение составлял лишь Иерусалим из-за его международного статуса. Там ревизионистские организации Эцел и Лехи сохранили пока

свои военные ячейки.

Ну а последней жертвой боев за Латрун стал полковник Маркус. Ночью, за считанные часы до вступления в силу прекращения огня, он был случайно убит одним из своих часовых.

Первый антракт
11 июня — 8 июля 1948

Начиная с 15 мая арабская печать трубила о победах арабов в Эрец-Исраэль. Во всем мире хоть и не без скептицизма относились к хвастливым реляциям арабов, но считали, что плохи еврейские дела. Не бывает ведь дыма без огня. Мало кто знал тогда, что у арабов дым — это одно, а огонь — нечто совсем другое. В Совете Безопасности ООН лишь жалостливые американцы требовали немедленного принятия резолюции о прекращении огня, чтобы спасти евреев. Но представитель Великобритании сэр Александр Каддоган был против. Арабы побеждали. Евреи получали по заслугам. Так к чему торопиться? Рафинированный английский джентльмен лишь морщился, когда ему говорили об этих «несчастных евреях». Сами, мол, виноваты.

Но постепенно сквозь дымовую завесу арабской пропаганды стали проступать контуры подлинного положения вещей в Эрец-Исраэль. Тут уж Каддоган заторопился. Надо было бросить арабам спасательный круг. По предложению английского представителя Совет Безопасности призвал 29 мая воюющие стороны заключить перемирие сроком на один месяц. Арабы дали свое согласие лишь тринадцать дней спустя, когда их армии оказались на грани полного истощения.

Соглашение о прекращении огня вступило в силу 11 июня. Совет Безопасности решил также направить в район конфликта графа Фольке Бернадотта в качестве посредника с весьма ограниченными полномочиями.

Бернадотт — член шведского королевского дома, спас в конце Второй мировой войны около десяти тысяч евреев от уготованной им нацистами участи. Считалось, что авторитет, которым он пользовался у евреев, будет содействовать успеху его миссии. Бернадотт был человеком серьезным, обстоятельным, но не обладавшим ни широтой кругозора, ни твердостью характера.

* * *

Прекращение военных действий позволило обеим сторонам перевести дыхание и заново осмыслить сложившуюся ситуацию. И

в еврейских, и в арабских штабах шла напряженная работа. Подводились предварительные итоги, обсуждались перспективы на будущее. Арабское командование понимало, что гордиться ему особенно нечем. План захвата Тель-Авива и Хайфы и разгрома евреев за две недели провалился.

Легион Глабба завяз в Иерусалиме, понеся невосполнимые потери.

Продвижение египетских войск было заблокировано у Ашдода.

Иракцы, добившиеся успеха в Дженине, потеряли столько бойцов, что боялись сдвинуться с места.

Ливанцы вообще ничего не добились.

Лишь сирийцам удалось захватить небольшой плацдарм на израильской территории.

Но и у еврейского руководства не было оснований для радости. Правда, армии вторжения были остановлены. Но египтяне контролировали большую часть Негева. Иракские войска находились всего в 16 километрах от Средиземноморского побережья. Угроза еврейскому Иерусалиму не миновала. Сирийцы, окопавшиеся на западном берегу Иордана, угрожали всей Восточной Галилее.

Еврейские потери были тяжелыми. За месяц боев погибло 1176 человек, из них — 876 бойцов первой линии. Измученные израильские силы остро нуждались в оружии и пополнении.

В соответствии с условиями перемирия ни одна из сторон не имела права использовать передышку для наращивания военной мощи. Но израильское руководство делало то, что было нужно для спасения государства. Все остальное просто не имело значения. Семь судов с грузом оружия и боеприпасов уже достигли берегов Израиля. Полным ходом шла реорганизация армии. Обучались новобранцы. Формировались новые полки.

Страна была поделена на три фронта. Фактическим верховным главнокомандующим был Давид Бен-Гурион. Его ум вникал во все. Его санкция требовалась для выполнения любых оперативных шагов. Даже переброску роты солдат с одного участка на другой нельзя было провести без его разрешения. Подобная практика сковывала инициативу командиров. К тому же ребром встал вопрос о назначении командующих фронтами. Бен-Гурион, изначально не выносивший в Хагане и Пальмахе «партизанщины» с ее вольным духом и отсутствием дисциплины, хотел назначить командующими бывших офицеров британской армии Мордехая Маклефа и Шломо Шамира. Они, мол, учились военному искусству. Старый вождь считал, что всему можно научиться: писать стихи, сочинять музыку, рисовать картины и,

разумеется, командовать войсками.

Начальник оперативного отдела генштаба Игаэль Ядин полагал, однако, что талант и интуиция даются от Бога. Если их нет, то никакая учеба не поможет. По его мнению, Игаль Алон, Ицхак Саде, Моше Кармел и Шимон Авидан, не служившие в британской армии, гораздо больше подходили для роли командующих фронтами, чем Маклеф и Шамир. Но Бен-Гурион стоял на своем. Ядин в качестве последнего аргумента подал в отставку. Началось нечто вроде первого правительственного кризиса. Была даже создана правительственная комиссия для внутренней разборки. Лишь с большим трудом согласился Бен-Гурион назначить командующим Игаля Алона. Ни разу ему не пришлось пожалеть об этом.

А тут еще произошел эпизод с «Альталеной» — судном с оружием, приобретенным Эцелем в Америке и причалившим к тель-авивскому берегу. К тому времени большая часть сил двух «раскольничьих» организаций Эцель и Лехи влилась в ряды Армии обороны Израиля. Независимые ячейки этих организаций сохранялись лишь в Иерусалиме. Вождь Эцеля Менахем Бегин настаивал на том, чтобы привезенное «Альталеной» оружие было роздано его людям.

Но для Бен-Гуриона «Альталена» стала сущим кошмаром. Считая, что «раскольники» готовят путч, он приказал береговым батареям открыть по судну огонь. На палубу «Альталены» обрушился огненный смерч. Погибли 15 человек. Бегин впал в ярость.

Но у этого человека была великая душа, и он не отдал приказа, который мог развязать в стране гражданскую войну.

* * *

27 мая был обнародован план мирного урегулирования, предложенный Бернадоттом и одобренный США и Англией. Согласно плану, Иордания получала Западный берег Иордана, включая Восточный Иерусалим. Арабам отходил весь Негев (кому именно, не уточнялось, что сразу вызвало конфликт между Иорданией и Египтом). Израиль получал в виде компенсации Западную Галилею, которая и так находилась в еврейских руках. Свобода еврейской иммиграции в Израиль дозволялась на два года, после чего должна была перейти под контроль ООН.

И арабы, и Израиль с ходу отвергли этот план. Израиль не мог согласиться на ущемление своего суверенитета и на потерю Негева. Арабские лидеры полагали, что евреи и Абдалла

получают слишком многое. Абдалла, кстати, понимал, что возобновление войны было бы непростительной авантюрой. Он говорил Джону Глаббу: «Если я пойду в пустыню и спрошу первого встречного пастуха, стоит ли мне воевать с моими врагами, он сразу спросит: „Сколько вас и сколько их?“ А мы имеем дело с учеными политиками, у них сплошь университетские степени. Но когда я говорю: „Евреи слишком сильны, нам их не победить“, они меня не понимают. Продолжают болтовню о правах, словно это имеет какое-то реальное значение».

Арабы попали в ловушку собственной пропаганды. Им было не до рассудительных пастухов. Слишком уж громко вопили они о своих мнимых победах и не могли теперь идти на попятный. В Египте, в Сирии, вообще всюду арабскому населению внушалось, что Совет Безопасности спас евреев, навязав арабам перемирие. Но война, мол, еще не закончена, и следующий ее этап приведет арабов к окончательной победе.

Все это вполне в духе арабских риторических традиций, описанных египетским социологом Халимом Баракатом: «Арабское общество склонно к велеречивости и патетике, ибо арабы не из тех людей, которые говорят, только когда это служит их целям и планам. Араб выражает свои взгляды и чувства, не задумываясь, пойдет это ему на пользу или во вред. На Западе же люди высказываются, только когда им это выгодно. Такая свободная непосредственность самовыражения в арабском обществе способствует, в частности, разрядке напряженности, являясь как бы катарсисом, очищающим дух. Она дает арабу ощущение, что он преодолел свое бессилие».

Когда 8 июля — еще до истечения срока перемирия — в Негеве возобновились бои, арабам грех было жаловаться. Они сами этого хотели.

Второй этап войны 8—18 июля 1948

У израильского командования были далеко идущие планы. На севере предполагалось вытеснить сирийцев за Иордан, после чего совершить бросок в сторону Назарета. В центре планировался захват Лода и Рамлы с последующим развернутым наступлением в сторону Иерусалима и Рамаллы. На юге намечено было сковать египетские силы сдерживающими боями. Египтяне должны были заплатить по счетам позднее.

Начало израильского наступления не было обнадеживающим. Атакой на окопавшихся в районе Мишмар а-Ярден сирийцев

командовал Моше Кармел. В теории все было учтено. Наступление на сирийские позиции велось по всем правилам военной науки. На практике же сразу пришлось столкнуться с сюрпризами. Сирийцев не удалось захватить врасплох. Они намертво вцепились в свои позиции. В их распоряжении были и артиллерия, и пулеметы. Их поддерживала авиация. Четверо суток провозился Кармел у сирийских укреплений, но взять их так и не сумел. Тогда в израильском штабе внесли коррективы в первоначальный план. Направление главного удара было изменено.

7-я бригада под командованием Хаима Ласкова, вторгшаяся в Нижнюю и Центральную Галилею, взяла Шефарам и Назарет без особого труда.

Войска Алона, начавшие поход 9 июля, кардинально изменили всю ситуацию на севере и в центре страны.

Бронетанковая часть Ицхака Саде, совершившая рейд по тылам противника, вышла к Бейт-Шемену, где соединилась с войсками бригады Ифтах.

Алон намеревался окружить гарнизон легиона в Латруне, но разгадавший его намерение Джон Глабб успел вовремя укрепить важнейший стратегический пункт Бейт-Набалла. Наступление на Латрун пришлось прервать, ибо легион угрожал теперь израильскому флангу.

Зато силами 82-го батальона бригады Ифтах 12 июля был взят Лод. 30 тысяч арабских жителей Лода бежали в Рамлу, внеся в этот город деморализацию и панику. На следующий день пала и Рамла. Теперь план Алона, получивший название операция «Дани», осуществлялся во всех направлениях. Узкий коридор в Иерусалим был расширен.

Но Латрун так и остался для израильтян костью в горле. Все свои наличные силы бросил Джон Глабб на защиту этого важнейшего стратегического участка. Абдалла, смирившийся с потерей Лода и Рамлы, решил удерживать Латрун любой ценой, ибо это был ключ ко всему Иерусалиму.

Жители Рамаллы плевали в легионеров, вопили «предатели» за то, что они бросили на произвол судьбы Лод и Рамлу. Но Латрун легион Джона Глабба все же удержал.

Тем временем командующий израильскими силами в Иерусалиме Давид Шалтиэль, отчеты которого так нравились Бен-Гуриону, воспрянул духом. Он обещал захватить за четыре дня весь Старый город. И Бен-Гурион, вместо того чтобы сместить бездарного командира, вновь ему поверил. Стоит ли удивляться, что наступление Шалтиэля, начавшееся за двадцать четыре часа до вступления в силу второго прекращения огня, с треском

провалилось.

Успехи израильтян серьезно обеспокоили Великобританию. По требованию все того же сэра Александра Каддогана Совет Безопасности принял резолюцию о немедленном прекращении военных действий.

18 июля наступил второй антракт. Срок перемирия на сей раз не был ограничен.

За 38 дней боевых действий Израиль захватил 14 арабских городов и 313 арабских деревень. Арабы же овладели 14 еврейскими поселениями, включая и еврейский квартал в Старом Иерусалиме. На территории еврейского государства враг удерживал лишь один кибуц Мишмар а-Ярден.

Правда, большая часть Негева все еще была отрезана египтянами от остальной территории Израиля.

От второго антракта до поражения Египта 18 июля 1948 — 7 января 1949

И арабы, и евреи понимали, что война не окончена. Израильское военное командование было уверено, что подлинный большой успех еще впереди. Так же считал и Бен-Гурион, не распростившийся со своей мечтой о целостном и неделимом Иерусалиме. В Израиль к тому же продолжало поступать вооружение в больших количествах. Армия крепла с каждым днем.

12 августа диверсанты Арабского легиона взорвали насосную станцию вблизи Латруна, что было грубым нарушением перемирия. План генерального наступления на иорданском фронте был уже разработан вплоть до второстепенных деталей. Войска ждали лишь приказа. Но Бен-Гурион медлил, повинуясь своей интуиции.

15 сентября в Иерусалиме был убит боевиками Лехи граф Бернадотт. Это было политическое убийство, не продиктованное необходимостью. Бернадотт вызвал ненависть еврейских максималистов своим предложением урезать территорию, выделенную ООН еврейскому государству.

Следует отметить, что, когда, уже после убийства, был опубликован последний отчет, отправленный Бернадоттом в ООН, многие в Израиле перестали жалеть о его гибели.

Бернадотт предлагал внести поправки в план раздела Эрец-Исраэль с учетом реалий, сложившихся в результате боев. Шведский дипломат считал целесообразным оставить Галилею евреям, а весь Негев отдать арабам. Бен-Гурион понял, что арабы и англичане хотят отнять у еврейского государства Негев. Этого

нельзя было допустить.

Наступление на иорданском фронте пришлось отложить до лучших времен. На повестке дня стоял вопрос о войне с Египтом и освобождении Негева. Каждый день передышки работал теперь на египтян, лихорадочно укреплявших свою линию обороны, простиравшуюся от Ашдода до Хевронских гор. Израильские кибуцы в Негеве по-прежнему находились в осаде. Вопреки условиям перемирия, египтяне не позволяли израильской стороне доставлять в них продовольствие. Защитникам кибуцев угрожал голод. Надо было спешить. Игаль Алон и Игаэль Ядин разработали план наступления в Негеве под кодовым названием «Десять казней египетских».

Бен-Гуриону такая патетика не понравилась, и план получил более скромное название «Йоав».

Египтяне же совсем распоясались и каждый день обстреливали израильские позиции из артиллерийских орудий. Но нужен был более весомый предлог для того, чтобы начать широкомасштабные военные действия.

Утром 15 октября израильский офицер связи сообщил в штаб наблюдателей ООН, что в соответствии с условиями перемирия Израиль намерен отправить в Негев транспортную колонну через дорожный узел Фалуджа. Штаб наблюдателей утвердил отправку колонны, и она двинулась в путь. Как и предполагалось, египтяне встретили ее плотным огнем.

Это и был ожидаемый Алоном сигнал. Операция «Йоав» началась.

Последующая ошеломляющая победа над египетской армией, прекрасно вооруженной, имевшей превосходство в бронемашинах и артиллерии, создавшей эшелонированную линию обороны с мощными узлами укреплений от Рафиаха до Ашдода, во многом заслуга Игаля Алона — первого израильского главнокомандующего. Этот тридцатилетний сабра оказался первоклассным полководцем, что поражало Бен-Гуриона, ибо Алон не учился в военной школе и не служил в британской армии.

Выяснилось, однако, что этот кибуцник как никто владеет искусством ведения боя.

Алон повел наступление по всему фронту, что оказалось для египтян полной неожиданностью. Лобовые атаки сочетались со стремительностью передвижения и с концентрацией ударной силы в кулак на нужных участках. Когда не удалось с ходу взять исключительно важный стратегический пункт Ирак эль-Маншие, Алон не стал тратить время на повторную попытку. Он тут же перенес место прорыва западнее, в направлении дорожного узла

Фалуджа. Необходимо было взять Хулейкат — главный опорный пункт египтян в этом районе. Алон сразу понял, что это стержень всей египетской обороны. Бойцы называли Хулейкат — с его пулеметными гнездами, семью рядами колючей проволоки, песчаными насыпями, надежно укрытыми артиллерийскими орудиями, — «Негевским чудовищем».

Штурм Хулейката в ночь на 19 октября и сегодня считается выдающимся военным достижением. Алону, руководившему боем от начала до конца, было чем гордиться. Исход сражения решили вовремя введенные в дело резервы.

Взятие Хулейката стало переломным моментом в ходе всей кампании. Четвертая египетская бригада со всем военным снаряжением оказалась в Фалуджийском котле. Из этой западни не было выхода. Через 12 часов после взятия Хулейката пала Беэр-Шева. С господством египтян в Негеве было покончено.

А вот наступление войск Алона в сторону Хевронских гор пришлось приостановить по соображениям политического характера. Абдалла успел своевременно выслать в Хеврон своих легионеров. Дальнейшее наступление израильтян привело бы к возобновлению военных действий по всему израильско-иорданскому фронту. Бен-Гурион не желал подобного риска после успехов в Негеве. К тому же Абдалла сообщил конфиденциально, что он готов приступить к переговорам о мире, если израильское наступление в районе Хевронских гор будет прекращено.

И Алону пришлось отказаться от марша на Хеврон и Бейт-Лехем.

22 октября вступило в силу очередное прекращение огня. Бои на Южном фронте стихли. Теперь израильское командование могло обратить внимание на север, где бесчинствовали банды из Арабской армии спасения Каукаджи. Они сжигали посевы, нападали на израильские хозяйства и даже осадили кибуц Менара. Так что предлог нарушить перемирие на севере был, и израильтяне им воспользовались.

Операция «Хирам», проведенная на севере тремя бригадами под общим командованием Моше Кармела, длилась всего 60 часов. За этот срок не только была очищена от арабских банд вся Верхняя Галилея, но израильские силы даже углубились на территорию Ливана.

Лишь после этого в Эрец-Исраэль на некоторое время воцарилась тишина.

* * *

Котел в Фалудже означал для Египта военную катастрофу. Но сражение за Фалуджу вписало славную страницу в египетскую военную историю. Окруженные египетские войска под командованием египетского генерала Тага-бея упорно держали круговую оборону, отбивая все атаки израильтян. Переговоры между Игалем Алоном и Тага-беем, в которых, кстати, принимал участие штабной офицер окруженной бригады майор Гамаль Абдель Насер, ни к чему не привели. Египтяне были полны угрюмой решимости сражаться до конца.

Король Абдалла, не испытывавший к египтянам ни малейшей симпатии, понимал, однако, что надо попытаться им хоть как-то помочь. Союзники все-таки. Командующий легионом Джон Глабб разработал план, получивший кодовое название «Дамаск». Согласно этому плану иракские и трансиорданские силы должны были нанести отвлекающий удар в районе Бейт-Гуврин, севернее Негева. Пока израильтяне будут отражать эту атаку, Тага-бей уничтожит свое тяжелое вооружение и выйдет со своими людьми из окружения по забытой тропе, известной майору Локкету, одному из офицеров легиона. Локкет даже пробрался по этой тропе в Фалуджу и изложил план «Дамаск» Тага-бею.

Египетский генерал счел его авантюрой, но все же телеграфно запросил указаний у верховного командующего в Газе Фуада Цадека. Ответ он получил по-солдатски четкий:

«Нельзя полагаться на план, инициатором которого является Глабб-паша. Пешая эвакуация солдат через контролируемую евреями территорию означает их преднамеренную гибель. Отклоните план и прогоните этого наемника Локкета. Защищайте свои позиции до последнего патрона и последнего солдата, как и подобает египетским воинам».

План Глабба лишь совсем испортил отношения между Египтом и Трансиорданией. Египтяне стали поговаривать о том, что Абдалла хотел погубить окруженную бригаду. Разгневанный Абдалла даже поклялся, что отныне он и пальцем не пошевелит, чтобы помочь египтянам.

Передышка подошла к концу после того, как Египет отклонил резолюцию Совета Безопасности от 14 ноября, призывавшую стороны к мирным переговорам. В Каире, видимо, поверили собственной пропаганде, утверждавшей, что доблестная четвертая бригада находится в Фалудже не потому, что окружена, а чтобы сковать там огромное сионистское войско.

А «сионистское войско» под командованием Игаля Алона начало 22 декабря операцию «Хорев» — последнюю в войне. План израильского командующего отличался зрелостью стратегического мышления. Все было учтено и продумано. Алон

не оставил египетскому командованию никаких шансов.

Отвлекающее наступление в сторону Газы заставило египетский штаб сосредоточить внимание на этом участке фронта. Главный же удар был направлен на узловой центр египетских коммуникационных линий в Эль-Удже. Разведчики из бригады га-Негев обнаружили заброшенную римскую дорогу, позволявшую обойти египетские укрепления. Внезапное появление израильских танков со стороны непроходимой пустыни и решило исход сражения.

27 декабря Эль-Уджа пала, и войска Алона устремились через Синайскую пустыню к морю, фактически отрезав весь тыл египетской армии. Деморализованные египетские солдаты сдавались в плен сотнями.

Развивая наступление, полки Алона продвигались в глубь Синайского полуострова. Вечером 29 декабря израильские силы вышли к главной военной базе египтян в Эль-Арише. Ну а после Эль-Ариша уже ничто не могло остановить победный марш израильтян к Суэцкому каналу.

Под Эль-Аришем и настиг Алона приказ генштаба в течение суток очистить весь Синайский полуостров. Таких ударов судьбы израильский командующий еще не испытывал. Передав командование Ицхаку Рабину, Алон вылетел в Тель-Авив уламывать Бен-Гуриона.

— Ничего нельзя сделать, — развел руками старый вождь. — Англичане вмешались…

Как оказалось, в разгар израильского наступления Каир обратился к своим арабским союзникам с отчаянным призывом о помощи. Злопамятный Абдалла не потрудился даже ответить. Остальные прислали королю Фаруку подбадривающие депеши. Спасение пришло с неожиданной стороны. Великобритания увидела в израильской угрозе удобный случай восстановить свое влияние в Египте и оживить денонсированный Каиром Договор о дружбе от 1936 года. Когда израильские силы были в Синае, Бен-Гурион получил в Тель-Авиве английский ультиматум, требовавший немедленного ухода израильтян с территории Египта.

Англичан Бен-Гурион, быть может, и не испугался бы. Но аналогичное требование пришло из Вашингтона. Против такого давления устоять было нельзя, и Бен-Гурион с тяжелым сердцем отдал приказ об отступлении.

Возвращаясь из Синая, израильские войска взяли Рафиах, отрезав египетские войска в Газе от метрополии. Но как раз в это время израильские ВВС сбили пять английских разведывательных самолетов, приняв их за египетские. Англичане реагировали

крайне резко. Угрожая войной, они потребовали ухода израильтян также и из Рафиаха. Война с Англией отнюдь не входила в планы Бен-Гуриона. И это английское требование было принято.

6 января египетское правительство сообщило о своей готовности начать с Израилем переговоры о перемирии на острове Родос, где находился штаб нового посредника ООН Ральфа Банча.

Война с Египтом закончилась.

Эпилог, ставший прологом

12 января на Родос прибыла официальная египетская делегация для ведения переговоров с Израилем. Переговоры шли без особых осложнений под председательством Ральфа Банча. Основная трудность заключалась в том, что египетский народ ничего не знал о военном поражении в Эрец-Исраэль.

Одурманенный пропагандой, этот народ продолжал праздновать мнимые победы египетского оружия. Король Фарук понимал, что, узнай каирская чернь правду, — его растерзают.

Скрывать же правду становилось все труднее. Королем овладел страх. Он даже обратился к ненавистным англичанам, и те привели в состояние боевой готовности свои войска в зоне Суэцкого канала на случай буйства черни.

В Родосе египтяне были на все готовы. Они лишь просили включить в текст соглашения о перемирии какую-нибудь фразу, подтверждающую египетское присутствие в Негеве. Например, о функциях египетского коменданта в… Беэр-Шеве. Увидев изумление на лицах израильтян, египтяне поторопились разъяснить, что на самом деле комендант будет находиться в Эль-Арише. Эта глупость, разумеется, была отвергнута. В качестве компромисса Банч предложил демилитаризовать Эль-Уджу, после чего соглашение было подписано 24 февраля 1949 года.

Вслед за Египтом охотно подписали соглашение Ливан — 23 марта и Сирия — 20 июля.

Не так просто обстояли дела с Трансиорданией.

На иорданском фронте Израилю удалось защитить еврейскую часть Иерусалима — но и только. Уродливый самарийский выступ не был ликвидирован. И Хеврон, и Бейт-Лехем остались в руках легиона.

После разгрома Египта израильский генштаб приступил к разработке плана войны с Трансиорданией, получившего кодовое название «Око за око». Было решено использовать всю армию, численность которой достигала к тому времени ста тысяч

человек, для захвата «треугольника» — всего центрального района Эрец-Исраэль до Иордана.

Приготовления шли полным ходом, но Бен-Гурион призадумался: следует ли вновь искушать судьбу, оказавшуюся столь благосклонной к израильтянам? И решил, что не стоит. К тому же Абдалла был реалистом. Он склонялся к идее мира и сотрудничества с евреями, и Бен-Гурион это учитывал.

Военные приготовления, однако, демонстративно продолжались с целью давления на Абдаллу. Израиль хотел получить ту территорию, которую оставляли иракцы, убиравшиеся восвояси. У короля были свои планы насчет этой небольшой, но стратегически важной территории.

Уловка тем не менее сработала. Абдалла решил лично договориться с евреями и пригласил к себе, тайно, разумеется, израильскую делегацию. На свидание с королем отправились Игаэль Ядин и Вальтер Эйтан.

Вот как описал Ядин встречу с королем:

«После обмена традиционными любезностями Абдалла преподнес нам подарок: великолепный, кованный в серебре, кинжал. Он и сейчас хранится в министерстве иностранных дел. Вальтер Эйтан позаботился о подарке для короля: старинное издание Танаха в переплете, сработанном мастерами художественной школы „Бецалель“. Раскрыв книгу, Абдалла потемнел от гнева: „Что это?!“

Оказалось, первая страница была украшена картой Эрец-Исраэль времен царя Соломона. „Что это?! — возмущался король. — Месопотамия, Египет!“

Мы с трудом вышли из положения, объяснив ему, что это карта времен царя Сулеймана.

Абдалла принимал нас в своих роскошных покоях. Справа от него сидел премьер-министр Туфик эль-Худа, слева — все члены кабинета. „Как поживает мой друг Шерток? — начал король. — Передайте ему привет.“ Потом спросил: „А как здоровье госпожи Голды Меирсон?“

Абдалла был в свое время слегка уязвлен тем, что ему пришлось вести политические переговоры с женщиной. Когда мы ответили, что госпожа Меирсон — теперь посол Израиля в Москве, он подмигнул и сказал: „Прекрасно, там ее и оставьте“.

Затем король встал и произнес напыщенную речь, которую закончил словами:

„Я бедуин, а у нас, у бедуинов, есть поучение: если ты сидишь на перегруженном осле, а враг близок, то у тебя две возможности: или попасть в плен со всем товаром, или попытаться бежать, сбрасывая по дороге тюк за тюком, дабы уменьшить вес. Вот я и

пригласил сюда израильтян, чтобы сбросить тюк!“

Окончив речь, король обратился к своему премьер-министру Туфику эль-Худе и предложил: „Теперь говорите вы!“

Эль Худа встал, откашлялся и сказал: „Я прошу прощения у вашего величества, но я нездоров!“

Абдалла сделал презрительный жест и, не стесняясь нашего присутствия, возвысил голос: „Раз так — вон отсюда!“

Эль-Худа молча вышел.

А потом был ужин, подававшийся на золотой и серебряной посуде. Я сидел рядом с Абдаллой, а он с гордостью указывал на каждый предмет: „Это я получил от короля Георга, это — от Рузвельта. Видите ту лампу наверху? Ее мне преподнес Пинхас Рутенберг“.

Мы вели светскую беседу, и внезапно король сказал: „Знаете, что мне услаждает часы досуга? Древняя арабская поэзия!“

Тут я вспомнил своего учителя профессора Бината, заставлявшего нас зубрить наизусть длинные тяжеловесные поэмы времен становления ислама, — как в свое время я его проклинал! В голове моей осталось только одно стихотворение, которое я и начал цитировать: „Вот мать, оплакивающая сына на поле брани: вскормила тебя, вспоила, взлелеяла“.

Король вдруг вскочил, обнял меня и закричал в восторге: „Клянусь Аллахом, это же мое любимейшее стихотворение! Скажите, откуда вы его знаете?“ Естественно, мои акции сразу поднялись, и атмосфера разрядилась».

Израильтяне своего добились, и соглашение о перемирии с Трансиорданией было подписано 3 апреля на острове Родос. После войны Абдалла возобновил тайные переговоры с Израилем, но мира с еврейским государством заключить не успел.

20 июля 1951 года король был убит на ступеньках мечети Эль-Акса в Старом Иерусалиме. Харам эш-Шариф, где расположена мечеть, раньше была территорией муфтия, и посланные муфтием люди убили короля.

В Израиле были уверены, что достигнутые с арабскими странами соглашения сменятся мирными договорами и добрососедскими отношениями. Никто не знал тогда, что они станут прологом к новым кровопролитным войнам.

Арабская национальная гордость была уязвлена и кровоточила. Арабы всегда презирали евреев. Теперь бремя презрения легло на них самих.

События 1948–1949 годов остались в арабском сознании под именем «эль-накба» — «бедствие».

Произошло то, чего так боялся египетский король Фарук. Узнавшая правду чернь взбунтовалась. Режимы в арабских

странах сменялись один за другим. К власти приходили радикальные, революционные, путчистские движения. И все они жаждали реванша. Все клялись смыть позор поражения, нанесенного арабам евреями.

Впереди Израиль ожидали новые испытания и новые войны.

Первый командующий

Дом на улице Зихрон Кдушим в Яффо. Вокруг него выстроились тополя, посаженные Ицхаком Саде полвека назад. Здесь он жил после Войны за независимость. Здесь умер в августе 1952 года.

На этой улице, рывком вырывающейся к морю из каменных тисков старого Яффо, много подобных домов старинной кладки с ветхими резными воротами. Но этот дом — особенный. Крайний в ряду, он возвышается подобно восклицательному знаку на одинокой скале, напоминающей корабельную рубку. На фоне убегающих к морю песков оазисом выделяется ухоженный сад. Его посадил Ицхак Саде в последние годы жизни, когда остался не у дел. Грубо обработанные базальтовые глыбы охраняют это зеленое великолепие. От дома к морю ведет дорожка, уложенная мелким гравием. Ее проложил Ицхак Саде для себя и друзей.

Уходя из дома, Саде всегда оставлял двери открытыми. Друзья приходили, спускались к морю, купались, возвращались, принимали душ, открывали бар и коротали время, дожидаясь хозяина. Саде появлялся поздно вечером и присоединялся к компании. К утру обычно опустошалось несколько бутылок.

За домом стоит вагон, обитый померкшим от времени железом. В нем находился командный пункт Ицхака Саде. Вагон, приваренный к джипу, долго помнили бойцы, сражавшиеся на Южном фронте. Потом музейный этот экспонат много лет служил складом Йораму, сыну Ицхака Саде.

Йорам и его жена Зива сохранили в неприкосновенности кабинет Старика.

Это своего рода маленький музей. В кабинете большой, грубо сколоченный стол, покрытый толстым стеклом с эмблемой Пальмаха. Два массивных кресла с плюшевой обивкой. Скамейка. Здесь Ицхак Саде любил беседовать с друзьями. На стол ставилась бутылка, и велись бесконечные разговоры о философии, войне и политике. И о женщинах, конечно. Он их любил, первый командующий, как любят произведения искусства. На стене кабинета неплохие репродукции картин Эль Греко и Рембрандта. Рядом с ними фотографии военных лет и коллекция оружия. Вдоль стены низкие пузатые застекленные шкафы с книгами. Библиотека свидетельствует, что ее хозяин увлекался военным делом, поэзией, историей и живописью.

Сегодня немногие приходят сюда, но все же приходят. Есть еще люди, которых интересует этот человек.

* * *

Ицхак Ландоберг (Саде) родился 19 августа 1890 года в польском городе Люблине. Детство его было омрачено бесконечными сварами между отцом и матерью.

Когда Ицхаку было пять лет, родители развелись, и мать забрала сына в русский город Ярославль, где почти не было евреев. Попав в эту цитадель православия, мальчик быстро ассимилировался. Рослый не по годам, он выделялся храбростью и вспыльчивостью. После нескольких драк сверстники постарались забыть о его еврейском происхождении.

В 17 лет Ицхак считал себя социалистом и верил, что еврейский вопрос найдет свое разрешение в очистительной буре надвигающейся революции.

С началом Первой мировой войны Ицхака мобилизовали в армию. Он был ранен, участвовал в Брусиловском прорыве. Грудь украсил Георгиевский крест. Его произвели в сержанты и хотели направить в офицерскую школу, но помешала революция.

В 1918 году Ицхак Саде — тогда еще Ландоберг — вступил в Красную армию, командовал ротой и приобрел опыт партизанской войны, позднее так пригодившийся ему в борьбе с арабскими террористическими формированиями в Эрец-Исраэль. Поняв, что большевики пытаются вылепить всемирный идеал из грязи и крови, Саде перешел к белым.

Культивируемая в Белой армии ненависть к евреям определила его окончательный выбор.

Он вдруг вспомнил о своих еврейских корнях.

Сэр Исайя Берлин, двоюродный племянник Ицхака Саде, один из самых утонченных умов минувшего столетия, любил этого родственника, сочетавшего разносторонние способности с богемным образом жизни. Позднее, уже в 50-е годы, часто с ним встречался, обычно в маленьком тель-авивском кафе, где за вечер Саде приканчивал бутылку водки в то время, как его рафинированный собеседник довольствовался лишь одной рюмкой вина.

После смерти Саде Исайя Берлин написал о нем воспоминания, заслуживающие наивысшей оценки, как и все, что делал этот человек. Для полноты картины уместно привести из них хотя бы несколько фрагментов.

Итак, Саде глазами Берлина:

«Когда я впервые увидел Саде, он был строен, элегантен и определенно гордился своей внешностью. Теперь он располнел, отрастил бороду, одежда его пообтрепалась, он явно не заботился о том, как выглядит, его совершенно не интересовали „прелести

жизни“.

Что он по-настоящему любил, так это действие, борьбу, он наслаждался существованием человека, за которым ведется охота. Он, несомненно, был счастлив, когда мы встретились в этом кафе, в нем не было ни малейшей нервозности, страха или подлинной тревоги за будущее. Каждый день приносил свои трудности, каждый день приносил свои удовольствия, он попросту переходил от одного приключения к другому с ненасытным аппетитом к жизни.

В 1948 году, после ухода англичан из Палестины, Саде стал командующим „летучими отрядами“, он захватывал египетские крепости, брал пленных. Метод Саде, как рассказывали люди, которыми он командовал, состоял в том, что он попросту несся на египетские аванпосты с гранатой в каждой руке и с громким криком, приказав своим бойцам делать то же самое. Египтянам ничего не оставалось, как бежать, бросая башмаки. Крови проливалось немного. Потом он забирал приглянувшееся ему оружие.

Собранные трофеи — ружья, кинжалы, ятаганы — впоследствии гордо украшали его дом в Яффо. Мы встретились с ним в этом доме после Войны за независимость. К тому времени Саде был чем-то вроде народного героя. Он показывал мне многочисленные фотографии, где был заснят в бою с египтянами или при взятии укрепленных позиций. Когда я сказал, что он, пожалуй, еврейский Гарибальди (прославленный герой Италии, сражавшейся в XIX веке против австрийцев), Ицхак Саде был в восторге. Оказалось, что он знает про Гарибальди все и всегда восхищался его жизнью и походами, а открытку, посланную мне вскоре после этой встречи, он подписал „Гарибальди“…

…Он особенно гордился дружбой со своими учениками — так он о них думал — Моше Даяном и Игалем Алоном, в которых души не чаял. Есть известная фотография (одно время она была в широкой продаже), где он обнимает за плечи двух этих воинов. Саде решительно не желал, чтобы его принимали совсем всерьез. Он обожал рассказывать про свои подвиги, как отставной мексиканский революционный генерал, но даже его тщеславие было исполнено такой простоты, так привлекательно, что ни у кого не возбуждало ревности.

К тому времени он уже был счастливо женат на известной партизанке, успев оставить много других женщин на своем победном пути. Он тепло расспрашивал о родственниках и потчевал меня рассказами о своем славном прошлом. В стране, исполненной трений, напряженности и серьезной целеустремленности, как и должно быть в любом обществе,

закладывающем свои основы, этот огромный ребенок вносил элемент предельной свободы, неистребимой веселости, легкости, очарования и естественного полубогемного-полуаристократического изящества, слишком большая доза которого уничтожила бы всякую возможность порядка, но частица которого должна непременно быть в любом обществе, если ему суждено остаться свободным и достойным выживания.

Он был в жизни солдатом нерегулярных войск, из тех, что великолепны на войне, но скучают мирным, упорядоченным существованием, где нет ничего захватывающего. Троцкий однажды сказал, что те, кто желал спокойной жизни, ошиблись, родившись в двадцатом веке. Ицхак Саде наверняка не желал спокойствия. Он от души наслаждался жизнью и передавал свое наслаждение другим, он вдохновлял людей, волновал их и радовал. Мне он нравился чрезвычайно».

* * *

И все же не встреча с Берлиным, а знакомство с Трумпельдором изменило всю жизнь Ицхака Саде. Он сразу попал под обаяние этой великой души. Когда Саде попытался заговорить с ним о своих социалистических убеждениях, то был остановлен движением руки.

— Как ты смеешь забывать о том, что ты еврей? — спросил его этот человек с печальным лицом, редко озарявшимся улыбкой. Благодаря Трумпельдору в душе Саде забрезжила смутная догадка о его истинном призвании. Он понял, что судьба еврейского народа будет решаться в Эрец-Исраэль.

Когда пришла весть о падении Тель-Хая и героической смерти Трумпельдора, Ицхак Саде стал собираться в дорогу. В своем дневнике он писал: «Весть о смерти Трумпельдора поразила нас, подобно молнии. Погиб наш командир и друг. Члены созданной Трумпельдором в Крыму сионистской организации Халуц стали обращаться ко мне со своими проблемами, и я неожиданно для себя оказался их руководителем. Нас ждала Палестина — Святая земля, орошенная кровью учителя. Я стал посылать туда людей. Потом понял, что и мне пора. И я двинулся в страну, о которой почти ничего не знал. Я даже не понимал до конца, зачем мне это нужно. Но чувство, двигавшее мной, было сильнее меня, и всем своим естеством я ощущал, что поступаю правильно».

Ицхак Саде прибыл в Эрец-Исраэль в середине 1920 года.

* * *

Боевой опыт, приобретенный Ицхаком Саде в России, был нужен как воздух еврейскому населению в Эрец-Исраэль, постоянно подвергавшемуся нападениям арабских банд. Руководство Хаганы поручило Саде командование отрядами самообороны в районе Иерусалима. Он ввел железную дисциплину, изнурял своих подопечных учениями, и в сжатые сроки превратил в солдат сугубо штатских людей. Тогда он сказал им: «Мало уметь воевать. Нужно научиться побеждать. Сегодня арабы нас не боятся. Но придет время, и они будут ужасаться звуку ивритской речи».

Саде совершил переворот в еврейском военном мышлении и впервые выдвинул принципы, на которых и сегодня во многом базируются стратегия и тактика израильской армии. «Мы не должны сидеть, как куры в курятнике, и ждать нападения врага, — учил Саде. — Перехваченная инициатива — залог победы. Мы должны первыми наносить им удары внезапные и точные — там, где они меньше всего этого ждут».

Саде создал мобильные отряды хорошо тренированных бойцов, овладевших тактикой ночного боя. Эти люди возникали из мрака ночи, наносили удар и исчезали. Они устраивали засады на дорогах, ведущих к еврейским поселениям, и громили арабские отряды, как только те выходили из своих баз. Коммуникационные линии противника перестали быть безопасными, и инициатива прочно перешла в еврейские руки.

Новая тактика, введенная Саде, получила название «Выход из-за ограды». Евреи больше не ждали по ночам незваных гостей. Они сами шли туда, откуда грозила опасность. Теперь уже арабские деревни не знали покоя. Ицхак Саде заставил арабов перейти от нападений к самообороне.

В 1937 году полевые роты Ицхака Саде насчитывали уже 600 человек.

В 1938 году арабы попытались захватить еврейское поселение Ханита, расположенное в чисто арабском густонаселенном районе. Саде со своими бойцами поспешил на выручку. Его отряд, совершивший изнурительный ночной переход, появился у Ханиты в самый критический момент и атаковал, используя фактор внезапности. Арабы дрогнули и, несмотря на численное превосходство, поспешно отступили, не пытаясь сохранить хотя бы видимость порядка.

В тот же день Саде писал своей дочери Изе: «Изале, привет из Ханиты. У нас была трудная ночь. Дома я расскажу, как мы воевали. До встречи. Отец».

Вспоминает Иза:

«Отец жил с нами, пока мне не исполнилось 17 лет. Когда я была маленькой, отец крайне редко бывал дома. Зато когда он появлялся, то это был лучший отец на свете. Я тогда не знала, что он необыкновенный человек, не подозревала, какую роль он играет в жизни ишува. Однажды к нам в гости пришел Авраам Яффе. Он был командиром молодежной организации а-Шомер а-цаир, членом которой я являлась. Я была ужасно горда такой честью и не понимала, почему Яффе так взволнован встречей с моим отцом. Лишь много лет спустя, уже взрослой, я поняла, кем был мой отец».

Ицхак Саде часто говорил: «Создать государство можно и без регулярной армии, но защитить его без нее нельзя». Но в 1939 году, из-за финансовых и организационных трудностей, созданные Ицхаком Саде полевые части были распущены. Бен-Гурион вызвал Саде для беседы.

Они принадлежали к одному поколению, их отличала та же сила ума, та же воля и энергия. Но Бен-Гурион был всецело поглощен национальной идеей, а Ицхак Саде, при всей своей занятости, не отказывал себе в маленьких человеческих удовольствиях. Они не любили друг друга.

— Ицхак, — сказал Бен-Гурион, нервно расхаживая по кабинету, — я знаю, ты прав, и нам еще придется формировать регулярную армию. Но время еще не пришло. Я хочу, чтобы ты создал специальный отряд для борьбы с арабскими бандами, и если понадобится, то и с мандатными властями. Мы не можем оставаться совсем уж беспомощными в военном отношении.

Ицхак Саде сам придирчиво отобрал около сотни людей и составил отряд. Ему уже стукнуло 50, но он не уступал своим бойцам ни в силе, ни в выносливости. Постепенно его, как и Бен-Гуриона, стали называть Стариком.

В мае 1941 года Саде создал Пальмах — ударные роты — динамичную силу Хаганы и костяк будущей регулярной армии. Он командовал Пальмахом до 1945 года. На этом посту в полной мере раскрылись способности Саде как военачальника. Все свои познания в военном деле он привел в логически-последовательную систему. Овладев искусством маневрирования, Саде основывал свою стратегию на теории подвижного боя с использованием преимуществ местности.

«Наши резервы ограниченны, — говорил он, — но мы можем крайним напряжением всех сил сосредоточить удар на главном участке сражения и добиться победы, невзирая на превосходство врага на второстепенных участках фронта». Саде разработал тактику ночного боя. «Ночью врагу кажется, что нас в десять раз

больше», — любил он повторять.

Первый командующий считал, что успех сражения определяют не роты и батальоны, а взводы. К командирам взводов он был особенно требователен.

— Вы мои генералы, — говорил он им. Каждому командиру взвода он назначил заместителя. «Гибель командира не должна влиять на успех сражения», — утверждал Саде, предопределяя развитие израильского военного мышления.

Саде волновали не только военные проблемы. У Пальмаха не было средств, что делало проблематичным его существование. Саде ездил из поселения в поселение, встречался с руководителями ишува, просил, требовал, умолял.

— Поймите, — заклинал он, — мы сражаемся не с арабами, а со временем.

И это сражение, может быть, самое важное из всех, выиграл Ицхак Саде. Он сумел получить финансовую помощь даже от англичан. Они раскошелились в 1942 году, когда африканский корпус Роммеля, перешедший в наступление, угрожал прорваться в Эрец-Исраэль.

На одной из встреч с руководителями ишува Ицхак Саде даже закричал срывающимся фальцетом: «Что будет с нашей обороной? Мне нужны сто тысяч человек. Где они?»

В конце концов Саде нашел решение. Каждая рота Пальмаха прикреплялась к какому-нибудь кибуцу. Пальмах стал сочетать работу с военным делом. К началу Войны за независимость силы Пальмаха увеличились в десять раз и составляли три дивизии общей численностью до шести тысяч бойцов.

Наступил 1945 год. Вторая мировая война закончилась. Силы ишува были теперь сконцентрированы на борьбе с мандатными властями. Ицхак Саде стал командующим всеми частями Хаганы. Командование Пальмахом было передано Игалу Алону.

Англичане назначили за голову Саде большую награду. Английская разведка всюду искала «большого Айзека». Саде же скрывался в кибуце Наан. Здесь он познакомился с Маргот и создал новую семью. В 1944 году у них родился сын Йорам. Втроем они переехали на конспиративную квартиру в Тель-Авиве.

На улицах города часто видели куда-то спешащего старика могучего сложения, с густой белой бородой, лысым черепом и массивной палкой в руке.

Летом 1947 года Бен-Гурион был переизбран главой Еврейского агентства и ответственным за безопасность ишува. Старик потребовал убрать другого Старика. Саде был вынужден передать командование Яакову Дрори.

— Будешь командовать бригадой Гивати, — сказали ему в

штабе Хаганы. Саде согласился беспрекословно. Но как раз в это время он опубликовал в еженедельнике Рабочей партии статью, критикующую новое руководство Еврейского агентства.

Этого Бен-Гурион вынести не мог. Он отменил назначение Саде и даже настаивал на его отчислении из армии.

«Я или он, — заявил Бен-Гурион руководству ишува. — Выбирайте».

С большим трудом удалось Исраэлю Галили добиться назначения лучшего военного стратега советником Бен-Гуриона по проблемам безопасности. Должность эта оказалась пустым звуком. Бен-Гурион не нуждался в советниках.

* * *

29 ноября 1947 года ООН приняла резолюцию о создании государства Израиль. Началась Война за независимость. Отбросив самолюбие, Саде явился к Бен-Гуриону и попросил у него хоть какую-нибудь должность. Старику было в тот момент не до личных счетов, и он назначил Саде командующим бронетанковыми силами, которых тогда не было и в помине.

Саде засел за книги, журналы, прочитал все, что можно было найти о войне в пустыне. На основе разрозненных скудных данных он создал чертежи, по которым на израильских кустарных фабриках сварганили первые броневики. Брали джип, ставили на него башню, сваренную из кусков листового железа, помещали внутри два пулемета — и готово. Позднее удалось приобрести несколько бронетранспортеров в Чехословакии и с десяток давно отслуживших свой век танков — во Франции.

Еще труднее было с командирами. Ни в английской, ни в американской армии евреи не служили в бронетанковых частях. Но из Советского Союза как раз в это время прибыли несколько танкистов, воевавших на фронтах Отечественной войны.

Одним из них был Рафаэль Батус. Выпускник Ленинградского бронетанкового училища, он в 28 лет был уже майором и командовал танковым батальоном в сражении под Курском. Саде сразу подключил его к созданию бронетанковых войск.

В своих воспоминаниях Батус писал: «Вскоре после моего приезда Ицхак Саде пригласил меня в одно из тель-авивских кафе. Мы с трудом разместились за небольшим круглым столиком: Ицхак Саде, Игал Алон, Дан Ланер и я. Сначала нам мешал языковой барьер. Но Саде говорил со мной по-русски и был очень сердечен. Это был сильный, упрямый, веселый человек.

— Феликс, — твердил он, — в современной войне не

обойтись без танков. К счастью, кое-что у нас уже есть. Ты в них влюбишься. Настоящие красавцы.

— Ицхак, я хочу их видеть.

— Тогда поехали.

Минут через десять мы были в тель-авивском порту. Саде открыл огромный замок, висящий на одном из ангаров.

Я и сейчас затрудняюсь описать то, что увидел. Все-таки я командовал „тридцатьчетверочками“, лучшими танками Второй мировой войны. Теперь же очутился в допотопном музее военной техники.

— Где же танки? — спросил я тихо.

— Да вот же они, — закричал Ицхак, взмахивая рукой с королевским величием. — Смотри. У нас есть танки!

Было в нем что-то детское. Наивное. Мне оставалось лишь скрыть свое разочарование, чтобы не огорчать его.

Потом я понял, что вера, воображение, фантазия и упорство этого человека творят чудеса. В моей жизни были два командира, которых я обожал. Один из них — советский генерал, второй — Ицхак Саде.

Он называл меня Феликсом. Лишь после его смерти я сменил имя на Рафаэль».

Бронетанковые силы были созданы. Вначале пять батальонов бронетранспортеров, броневиков и танков. Потом все танки были собраны в один бронированный кулак, получивший название «Восьмая танковая бригада». Командование над ней принял Ицхак Саде.

В 58 лет он получил звание генерал-майора армии обороны Израиля. Тогда и появился бронированный вагон, приваренный к джипу, передвижной штаб командующего бронетанковыми силами.

Старые, никуда не годные танки, вызывавшие смех специалистов, прошли славный путь до Эйлата и Абу-Агейлы на юге и до реки Литани на севере.

В ноябре 1948 года бойцы бригад Негев и Гивати семь раз пытались захватить укрепленный пункт иракской жандармерии в Негбе. Семь раз они были отбиты с тяжелыми потерями. Тогда на поле боя появился Ицхак Саде и одной-единственной танковой атакой, почти без потерь, выбил противника.

В ходе Войны за независимость старейший командир израильской армии Ицхак Саде командовал важнейшими операциями. Его танки разбили армию Каукаджи и проложили путь через Негев к Эйлату.

Вспоминает Батус:

«Он был генератором идей. Мог проснуться утром, подать

идею, а к вечеру она уже выполнялась. После взятия Беэр-Шевы мы должны были добраться до Удж-эль-Хафира. Наш штаб собрался в здании беэр-шевской полиции: Ицхак Саде, Игал Алон, Ицхак Рабин и я. Единственное шоссе, ведущее в глубь Негева, было надежно блокировано египетской моторизованной бригадой. Мы обсуждали варианты, спорили. Ицхак Саде молчал. Вдруг бросил:

— Пройдем через Халсу.

— Да ты что, Ицхак, — изумились мы, — туда нет дорог. Это же пустыня.

Саде усмехнулся:

— А как прошел Алленби?

— Алленби шел на гусеницах, а у нас колеса, — рассудительно сказал Игал Алон.

— Подумаешь, — пожал плечами Саде, — Феликс (т. е. я) воевал на снегу. Снег и песок почти то же самое. Феликс возьмет самолет и осмотрит дорогу.

Так и сделал. Сверху увидел, что дорога хоть и очень трудная, но, в принципе, проходимая.

Мы снова собрались. Я предложил перекрыть труднопроходимые места железными сетками.

— Молоток, Феликс, — восхитился Саде. — Башка у парня варит.

Мы прошли. И так было всегда. Саде подавал идею, а мы ее развивали и выполняли. Часто он говорил, что лучше литр пота, чем капля крови.

Мы все мыслили привычными стандартами, и лишь он ломал установившийся стереотип мышления. Выдвигал идеи, которые, несмотря на всю свою фантастичность, выдерживали проверку жизнью».

Ицхак Саде обожал поэзию, а Натана Альтермана ставил выше других поэтов. Альтерман тоже его любил, считал мистической личностью. Они часто встречались в кафе «Маор» на улице Алленби. Вместе обедали, выпивали. Иногда следовало продолжение, и они, не расставаясь до утра, приканчивали несколько бутылок. Саде часто брал Альтермана с собой в армию, но всегда заботился, чтобы во время сражений он находился в тылу.

— Национальный поэт, — заявил Саде, — не может протирать брюки в тель-авивских кафе, когда решается судьба его народа.

— Брось, Ицхак, — усмехнулся Альтерман, — ты держишь меня при себе, чтобы было с кем выпить и потрепаться после боя.

* * *

После войны Бен-Гурион поторопился удалить Саде из армии. Он был первым генералом, отправленным в отставку. Даже в запасе не получил никакой должности.

— В нашей армии не будет шестидесятилетних генералов, — сказал Бен-Гурион.

Саде, оторванный от любимой работы, затосковал, но, сильный по натуре, сумел с собой справиться. Кроме пенсии он получил от армии в подарок домик с садом на берегу моря в Яффо и поселился там с женой и сыном. Этот дом стал любимым пристанищем людей искусства, художников, поэтов и, конечно же, старых товарищей по оружию.

Ицхака Саде окружали люди, которые его любили. Они и водка скрашивали его внутреннее одиночество. Ему было трудно. Слишком много несправедливостей и обид выпало на его долю. Он создал Пальмах, а все лавры достались Игалу Алону. Потом Бен-Гурион сместил его с поста командующего армией. Наконец, сразу после войны, в которой он одержал самые громкие победы, с ним обошлись, как с хламом при уборке квартиры.

В молодости Ицхак Саде был прекрасно сложен, отличался остроумием и обаянием, вел богемный образ жизни, плевал на условности, пускался в загулы и обладал шармом, которому женщины не могли, да и не хотели противиться. Даже в старости у него были романы. Женат Саде был трижды.

Женя вышла за него замуж в 1912 году в России. Эта властная и гордая женщина страдала приступами тяжелой депрессии и была старше Ицхака на пятнадцать лет. Склонная к авантюрам, она без колебаний последовала за мужем в Палестину, представлявшуюся ей страной из сказок Шахерезады.

В 1926 году, когда у Саде начался бурный роман с Захавой, Женя с разбитым сердцем вернулась в Россию, и следы ее затерялись.

Ицхак и Захава поженились. У них родились дочери: Иза и Ривка.

Захава очень страдала из-за донжуанских наклонностей мужа, но домашние скандалы не помешали Саде завести любовницу в Тель-Авиве.

Эта связь, длившаяся полтора года, закончилась трагически. Молодая особа до безумия влюбилась в стареющего льва. Ицхак Саде, перегруженный военными заботами, не мог делить себя между двумя семьями и прекратил роман, самые интересные страницы которого были давно прочитаны. Покинутая женщина впала в депрессию и приняла яд.

В начале 40-х годов Саде встретил Маргот. Она была моложе его на 20 лет и увлекалась музыкой, живописью и фотографией. Очарованный и покоренный, Саде оставил Захаву и женился на Маргот. С ней он был уже до конца.

Маргот умерла в 1951 году, оставив Саде одного с семилетним сыном Йорамом. Тамар, сестра Маргот, поселилась с ними и помогала растить ребенка.

20 августа 1952 года первый командующий скончался от рака.

Вспоминает Иза:

«Похороны отца напоминали съезд ветеранов Пальмаха. Собравшиеся запели свой старый гимн. Бен-Гурион, воспринявший это как политическую демонстрацию, направленную лично против него, резко отвернулся от открытой могилы и ушел. Все генералы последовали за ним. На месте остался лишь Моше Даян».

Не хочу, чтобы он умирал…

Меир Хар-Цион.

По определению Даяна, «лучший солдат Израиля со времен Бар-Кохбы», ставший предметом почитания, как знамя, изрешеченное пулями, почерневшее от порохового дыма. К нему не подойдешь со стандартными мерками. У него все — не как у других. И детство было особенное, и воевал он вопреки установленным канонам, и дни его, складывающиеся в годы, проходили в ином измерении — вдали от человеческого муравейника и всего, что он когда-то любил.

* * *

Вот уже много лет во всех почти армиях мира проводятся психотесты, ведутся исследования с целью помочь «человеку в форме» решить его проблемы во всех экстремальных ситуациях — на суше и в воздухе, на земле и под водой.

Но, странное дело, никто не пытался получить исчерпывающий ответ на вопрос: кем были японские камикадзе, русские солдаты, бросавшиеся под танки со связкой гранат, американские парашютисты, сражавшиеся в джунглях Дальнего Востока? Почему армейские врачеватели тел и душ не пытались высветлить природу героизма, понять, что думают и чувствуют эти люди?

Уж не потому ли, что страшились узнать правду?

Меир Хар-Цион тоже не любил задумываться над этим вопросом, хотя подсознательно искал на него ответ всю жизнь. «Мне кажется, — сказал он однажды, — героизм — это когда боишься чего-то до жути и все же идешь этому чему-то навстречу».

Может, поэтому героизм Меира со временем перестал быть средством и превратился в самоцель. Для людей такого склада в этом и есть вкус к жизни: смертельно чего-то бояться и преодолевать страх. И повторять этот процесс вновь и вновь.

Лишь победа над собой дает ни с чем не сравнимое удовлетворение. Герои — это те, кто не могут обходиться без риска, как наркоманы без наркотиков.

Меир: «Оставьте меня в покое. Я умер тридцать пять лет назад. Пора покончить с этими бабушкиными сказками. Просто в мое время страна нуждалась в героях, и я чисто случайно занял свободную вакансию. Вот и все».

А началось с того, что в один из знойных дней 1952 года Моше Даян, увидев парящего орла, решил поохотиться. Генерал вскинул винтовку и прицелился. Чья-то рука легла на ствол и отвела его в сторону. Даян гневно повернул голову и встретил взгляд холодных голубых глаз.

— Не стреляй, — сказал молодой солдат. — Не так уж много орлов в нашей стране.

— Фамилия? — резко бросил генерал.

— Меир Хар-Цион.

— Ты прав, Меир.

О солдате, осадившем самого Даяна, сразу заговорили в армии.

* * *

1952 год. Время глухое и зябкое. Израилю всего около четырех лет. Распущены подпольные организации и полупартизанские воинские формирования, вырвавшие победу на фронтах Войны за независимость. Победители, принадлежавшие к уже стареющему поколению сорокалетних — фермеры и кибуцники, интеллектуалы и служащие, — разошлись кто куда и занялись устройством отвоеванного национального очага. Их сменила регулярная армия. Но что они могли, эти надевшие форму восемнадцатилетние мальчишки?

Не хватало квалифицированных командиров. Почти не осталось ветеранов. Еще не сложились воинские традиции. Армия еще не прошла закалку огнем, железом и кровью.

А границы уже пылали. Из Иордании и Газы почти каждую ночь прорывались банды федаинов и уходили обратно, оставляя за собой кровавый след. Они врывались в кибуцы и вырезали целые семьи. Сжигали дома и посевы, а столкнувшись с регулярными силами, принимали бой. Жители пограничных поселений потребовали от правительства положить конец этому разбою.

Бен-Гурион понимал, что необходимы ответные операции и превентивные удары. Знал, что врага нужно поразить в его логове. Но понимал он также и то, что армия не в состоянии пока справиться со стоящими перед ней задачами.

Доходило до того, что отряды, посланные с боевым заданием в Иорданию или в сектор Газы, потеряв ориентацию, всю ночь блуждали на территории противника и возвращались под утро, усталые и измученные, так и не обнаружив врага.

Тогда по личной инициативе Бен-Гуриона был создан сто

первый особый отряд. Со всей страны были собраны в него отчаянные «головорезы». Командовал этой разношерстной вольницей молодой майор Ариэль Шарон, прекрасно зарекомендовавший себя в Войну за независимость. Но живой душой отряда стал Меир Хар-Цион. Это он разработал тактику ведения боя, ставшую классической в израильской армии: командир идет впереди. Внезапность и мобильность — залог успеха. Удар наносится там, где противник его наименее ожидает. Раненых не оставляют, но помощь им оказывается уже после боя. И самое главное: нет и не может быть невыполненного задания.

Неукротимый, обладающий звериным чутьем, феноменальной реакцией и способностью мгновенно оценивать любую ситуацию, Меир Хар-Цион очень быстро стал эталоном доблести для всей армии. Всего четыре года продолжалась его военная карьера. Но за это время он совершил со своими людьми десятки операций в тылу врага. Многие из них вошли в анналы израильского военного искусства. А некоторые так и остались засекреченными, и их тайны до сих пор хранятся в архивах Министерства обороны.

* * *

Меир Хар-Цион родился в 1934 году на созданной его отцом ферме Рашпон в районе Тель-Авива. Потом появились на свет сестры Шошана и Рахель. Вскоре после бар-мицвы Меира родители разошлись. Отец, отличавшийся рыхлостью характера, но свысока взиравший на жизнь, ушел в кибуц Эйн-Харод. Мать, женщина энергичная и властная, поселилась с детьми в Бейт-Альфе, но там не было школы, и Меир был отправлен в отцовский кибуц. Элиягу Хар-Цион не понимал своего единственного сына. Меир хорошо учился, много читал. Сверстники по каким-то неписаным законам сразу признали его превосходство. Он верховодил. Но иногда на него накатывало. Становился зол и хмур. Его боялись.

Кибуцианский дух казарменного социализма не нравился Меиру. Ему претили коллективная учеба, коллективная работа и коллективные развлечения. Отцу жаловались на антисоциальность Меира.

— Что же я могу сделать? — отвечал он, разводя руками. И бормотал: — Волчонок, сущий волчонок.

Потом в кибуце начались странные кражи. Вор не оставлял никаких следов. Исчезли бочонок с медом, мешок сушеных

фруктов, сладости, припасенные для детей, финский нож, солдатские ботинки. Все это хранилось в устроенном Меиром тайнике.

Секретарь кибуца, старый польский еврей, вызвал Меира и сказал:

— Плохо начинаешь жизнь, мой мальчик. Прекрати это.

И Меир неожиданно для себя ответил:

— Хорошо.

Кражи прекратились так же внезапно, как и начались. А Меиром всецело овладела страсть к походам.

Вскоре не было в Израиле места, где бы он ни побывал. Он ориентировался в темноте, как кошка, и научился понимать ночные голоса, сменявшиеся нерушимым молчанием. Он любил встречать в походе рассвет, наблюдать, как звезды бледнеют и медленно отступают в глубь замерзающего бесконечного пространства.

Любимая сестра Шошана иногда сопровождала его, как верный Санчо Панса.

В декабре 1951 года Меир, рассматривая потрепанную свою карту, сказал Шошане: «Я хочу пройти к северу от Кинерета до истоков Иордана в Галилее. Вот здесь, — он провел ногтем резкую черту, отмечая опасное место, — мы пройдем по сирийской территории. Немного. Километров пять. Иначе нам придется делать огромный крюк».

— Рискнем, — сказала Шошана.

И они отправились. Уже начался период дождей. Воды Иордана, подергиваясь рябью, лениво пульсировали. Шли целую ночь. Когда они оказались на сирийской территории, поднялся и растаял пернатыми клочьями и без того неплотный туман. На много километров растянулась чужая, обработанная феллахами земля.

— Может, вернемся? — спросил Меир.

Шошана закусила губу и отрицательно покачала головой.

Они шли до тех пор, пока не наткнулись на сирийский патруль.

Их доставили в Кунейтру. Меира допрашивали и били. Задавали вопросы, на которые он не мог ответить, даже если бы хотел.

— Сколько тебе лет? — спросил похожий на феллаха сирийский капитан — из тех, которые не становятся майорами.

— Семнадцать.

— А ей?

— Пятнадцать.

— Так вот, если ты не будешь отвечать на вопросы, я отдам ее

взводу своих солдат.

Меир рванулся из-за стола:

— Тогда прежде убей меня. Потому что живой я тебя из-под земли достану.

Офицер долго молчал, глядя на пленника тяжелым взглядом. Потом произнес устало:

— А ты не трус. Впрочем, с вами разберутся в Дамаске.

И, уже поднимая телефонную трубку, сказал так тихо, что Меир едва расслышал:

— У меня тоже есть сестра.

Продержав месяц в дамасской тюрьме, их обменяли на трех лихих сирийских офицеров, влетевших на джипе в расположение израильских войск. Но с тех пор Меир открыл сирийский счет, а счета свои он закрывал — рано или поздно.

* * *

В шестидесятые годы в Израиле пользовалась особой популярностью песня «Красная скала».

Там за пустыней, за горой,
Есть место, как гласит молва,
Откуда не пришел еще живой,
Зовут то место Красная скала…

Песню эту запретили, чтобы не будоражила воображение. Она не звучала по радио. Не исполнялась на концертах. Бродягой шлялась по дорогам, появлялась на школьных вечеринках, надолго задерживалась в военных лагерях.

Красная скала — это Петра, легендарная столица Набатейского царства, просуществовавшего до начала второго века, когда наместник Сирии Корнелий Пальма по указу императора Траяна превратил «относящуюся к Петре Аравию» в римскую провинцию. Давно исчезли набатеи — номады семитского происхождения, не изменившие арамейской культуре и потому уничтоженные воинственными приверженцами пророка Мухаммеда.

Но остался высеченный в скалах удивительный город, избежавший тлетворного влияния времени, сохранивший дикое, первозданное очарование.

Сегодня Петра — почти единственная достопримечательность Иордании, потерявшей святые места мусульманства и христианства в Шестидневную войну.

Меиру было пятнадцать лет, когда кто-то из друзей подбил его на экскурсию в район знаменитых медных рудников Тимны. Броская красота Соломоновых столбов произвела впечатление, и Меир не мог оторвать от них глаз. Как вдруг он услышал голос экскурсовода: «То, что вы видите, — ничто по сравнению с Петрой».

Позднее Меир записал в своем дневнике: «Что-то дрогнуло во мне, когда я впервые услышал дразнящее, пленительное слово „Петра“. Но потом, постепенно, штрих к штриху, образ к образу, стала вырисовываться легенда, настолько призрачная и далекая, что навсегда должна была остаться дивной сказкой — и не более.

Прошло несколько лет. Изменились реалии. Невозможное стало возможным. Тогда и дала о себе знать, как старая рана, давняя мечта. Она ожила во мне, и я не знал покоя до тех пор, пока не решил: пойду, и будь, что будет. И мне сразу стало легче».

В Петру его сопровождала давняя приятельница Рахель Сабураи. Боготворившая Меира, она была готова идти за ним хоть на край света. Впрочем, как и многие другие.

Четыре ночи и три дня длился их отчаянный поход. И они добрались до цели. И шесть часов провели среди варварского великолепия древних дворцов, высеченных в скалах цвета крови, покрытых узорными надписями на мертвом языке.

И вернулись, чудом обойдя посты легионеров, избежав встречи с ненавидящими Израиль бедуинскими кочевниками.

Так Меир Хар-Цион положил начало рыцарской традиции, просуществовавшей в израильской армии многие годы.

Когда Данте проходил по улицам Вероны, жители города долго провожали его глазами. Им казалось, что они видят на его лице отблеск адского пламени. Приблизительно с таким же чувством смотрели бойцы на Хар-Циона.

Он побывал в Петре и вернулся живым…

И вот начались походы в Петру — сначала бойцов сто первого отряда, а затем — парашютистов. Это было похоже на повальное безумие, на попытку сумасшедшего художника расписать красками неистово пылающий закат.

Скала-молох требовала все новых и новых жертв. Бойцы — лучшие из лучших — погибали на пути в Петру или при возвращении. Легионеры, знавшие о странном ритуале израильских парашютистов, устраивали засады. Лишь немногим удавалось побывать ТАМ и вернуться. Но зато они сразу как бы вступали в замкнутый, почти кастовый «рыцарский орден». На них смотрели как на титанов, для которых не существует невозможного. Они стали легендой армии, создававшей

героический эпос, охвативший все годы существования Израиля.

Меир, терявший товарищей, не раз сожалел, что это он положил начало кровавой традиции.

По следам Хар-Циона, например, отправились двое его бойцов Дмитрий и Дрор. Им повезло, и они добрались до Петры. Провели в этом некрополе день и даже засняли целую фотопленку. Но на обратном пути попали в засаду — и приняли бой. Дрор был убит, а Дмитрий, раненный в ногу, прорвался к своим, оставив позади трупы нескольких легионеров. Ковыляя, опираясь на ручной пулемет, как на костыль, он пересек границу.

* * *

Военную карьеру Меир начал в молодежных армейских формированиях НАХАЛа, где солдатская служба сочеталась с земледельческим трудом. Это было совсем не то, к чему он стремился, но дети кибуцев шли в НАХАЛ. Пошел и Меир.

Он понимал, что армию лихорадит, что страна переживает трудный период. Воры хозяйничали в доме, а хозяева делали вид, что все в порядке.

В восемнадцать лет интеллектуальный уровень Меира был выше, чем у среднего израильтянина. Он много читал, хоть и бессистемно. Неплохо знал еврейскую историю. Разбирался в литературе. Сам писал стихи и регулярно вел дневник. Он хотел учиться, но уже тогда задумывался: какой путь выбрать?

Изучать деяния других или добиться, чтобы другие изучали его деяния?

Честолюбие предопределило решение.

Новобранцам тогда жилось трудно. Суровая дисциплина. Изнурительные учения. Сержант — король. Офицер — Бог.

Дан Бехер, начинавший вместе с Меиром военную службу, вспоминает: «Нашим инструктором был Мойшеле Стемпель, погибший в столкновении с террористами в Иудейской пустыне уже в семидесятые годы. Стемпель был крутого нрава мужик. Нянчиться с нами не собирался. Поднял всех на рассвете, нагрузил амуницией, как верблюдов, и побежал — сам налегке, даже без оружия, легко перебирая длинными ногами. Мы — гуськом за ним. Меир впереди. А Стемпель, сукин сын, в горы прет. Едкий пот заливает глаза. Сердце подступает к самому горлу. А тут еще это проклятое солнце. Но мы держимся. Стемпель бежит все быстрее. И тогда Меир кричит: „Стемпель, тебе нас не сломить“. Услышав это, Стемпель рванул, как породистая лошадь, оскорбленная плетью. Меир дышит ему в

затылок. И мы тоже не отстаем, хоть и злимся на Меира. Какого черта он его дразнит? Четыре часа длилась эта пытка. Меир выкрикивает свое кредо, а Стемпель наращивает темп. В какую-то секунду я понял, что — все. Баста. Вот сейчас разорвется судорожно впитывающая раскаленный воздух грудная клетка. Но тут я увидел перед собой упрямый затылок Меира.

Мы выдержали этот марафон. И лучшим из нас был Меир».

Потом Меир кончил сержантские курсы, стал командиром патруля, побывал в Петре. Он знал, что формируется сто первый отряд, но никуда не обращался. Ждал, когда его позовут. И настал день, когда он получил приказ явиться к майору Шарону.

* * *

Штаб сто первого полка расположился в здании полиции в Абу-Гоше. Арик Шарон и его заместитель Шломо Баум завтракали, когда в дверях появился солдат с деревянным чемоданчиком в руке. Худой. Подтянутый. Великолепная мужественность его не бросалась в глаза из-за почти неуловимого очарования юности.

«Это Меир», — сразу понял Шарон и жестом пригласил его к столу. Меир присоединился к завтраку не без смущения. В части, где он служил, строго соблюдалась субординация.

Шарон пододвинул к нему яичницу и усмехнулся.

— Сто первый отряд — это элита, — сказал он. — Здесь собраны люди, которым каждый день придется идти на смерть. И отношения между командирами и подчиненными здесь тоже особые.

Сегодня трудно поверить, что в сто первом отряде было всего тридцать пять бойцов. Но каждый из них стоил целой роты. Такие имена, как Слуцкий, Давиди, Борохов, Тель-Цур, Кача, Джибли, ничего не говорят нам сегодня. А когда-то их знала вся страна. Сто первый отряд состоял из людей с сумасшедшинкой, во всем мире признававших лишь авторитет своих командиров. Это было полупартизанское формирование, своеобразное «еврейское казачество».

Просуществовал отряд до начала 1954 года, когда Шарон, назначенный командиром полка парашютистов, взял с собой свою ватагу. Парашютистам очень не понравились похожие на поджарых волков пришельцы. Несколько офицеров даже оставили полк. Вместо них Шарон назначил командирами рот своих людей — Слуцкого, Баума и Хар-Циона.

Меир — старший сержант — отдавал приказы взводным

офицерам с оскорбительной снисходительностью. Его забавляла парадоксальность ситуации.

Парашютисты обратились к начальнику генштаба с требованием прекратить это не мыслимое ни в одной армии положение.

— Как? — изумился Даян. — Меир не офицер?! Я об этом как-то забыл.

И Даян присвоил Хар-Циону офицерское звание. Кто-то напомнил командующему, что Меир не был командирован на офицерские курсы. Даян изумился еще больше:

— Меир? Курсы? Чему там может научиться лучший солдат Израиля со времен Бар-Кохбы?

И Меир Хар-Цион остался единственным в истории израильской армии офицером, не прошедшим офицерских курсов.

* * *

Немногословный. Всегда спокойный. Твердый взгляд, холодная улыбка, сдержанные манеры, свидетельствующие об уме и сильной воле. Все, знавшие Меира, утверждали, что ему неведомы колебания и чувство страха.

Но вот что он сам записал в дневнике 14 октября 1953 года, за несколько часов до того, как сто первый отряд атаковал иорданскую деревню Кибия, где разместилась учебно-тренировочная база палестинских террористов.

«Вот и все. Сегодня ночью я впервые выхожу на самостоятельную операцию. Все мои мысли и чувства с сумасшедшей скоростью вращаются вокруг этого факта. Что-то безжалостно грызет меня изнутри. Не дает покоя. Я знаю, что это. Неуверенность в себе. Неверие в свои силы. Что будет? Как я справлюсь с поставленной передо мной задачей? Как поведу за собой людей, за которых отвечаю?

Я поднимаю глаза и встречаю напряженный взгляд рыжего. Он смотрит на меня с растерянной беспомощностью и надеждой. Рыжий — старый солдат. Он был сержантом-инструктором, еще когда я тянулся навытяжку перед каждым ефрейтором. А сегодня я его командир, и он пойдет, куда я его поведу. Но к черту сомнения. От них только хуже. Чему быть суждено, то и будет».

Операция «Кибия» открывает послужной список сто первого отряда и Меира Хар-Циона. Силами, атаковавшими Кибию, командовал Шломо Баум. У Меира была своя задача. Его взвод должен был блокировать деревню Шукба и отвлечь внимание

иорданского легиона от Кибии. В целом взвод выполнил задание, что и было отмечено в приказе командующего. Но сам Меир считал, что взвод чуть было не провалил всю операцию. Началось с того, что двое арабов, захваченных людьми Меира на пути к Шукбе, сумели освободиться от пут и попытались бежать. Прежде чем их тени растворились в темноте, «томмиган» Меира разорвал устоявшуюся тишину ночи.

Убиты оба, но фактор внезапности утрачен. Да и в самой Шукбе взвод действовал с лихорадочной нервозностью и отступил, не выполнив всего, что было намечено.

Дневник Меира:

«Надо уходить, — шепчет Йона. — Здесь больше нечего делать. Уходим? — Я не отвечаю. Да и что можно сказать? Я чувствую то же, что и они. И я хочу больше всего на свете оказаться сейчас далеко отсюда. И в моих ушах еще звучат выстрелы, разбудившие всю деревню.

Я молчу и продолжаю двигаться по направлению к Шукбе.

— Хар, не упрямься, мы обнаружены и надо уходить.

К черту этот шепот. Да заткнись же, наконец.

Я иду молча. Кача и Ури тоже молчат. Им тоже хочется быть сейчас совсем в другом месте. Но они молчат и делают, что надо. В таких вот стрессовых ситуациях и проявляется человек. Он или сдает экзамен, или проваливается».

И Меир подводит итог:

«Арик принял нас с просветленным лицом: „Хар, я снимаю шляпу. Вы блестяще выполнили задачу. Блокировали Шукбу и обеспечили силам Баума свободу действий“.

Я улыбаюсь ему. Да, с лицевой стороны у нас все в порядке. Формально нас не в чем упрекнуть…»

* * *

Все знают, что нападение — лучшая защита, но лишь Меир возвел в абсолют этот принцип. Когда Арик потребовал, чтобы патрульные рейсы вдоль границы совершались каждую ночь, Меир, усмехнувшись, поправил своего командира: «Не вдоль, а по ту сторону. Они должны знать, что мы всюду и нигде. Их надо держать за горло, не разжимая рук».

Одна из самых дерзких операций сто первого отряда была проведена в конце 1953 года. В холодную мглистую ночь Меир и четверо его бойцов дошли до Хеврона. Преодолели сорок два километра, убили пятерых арабов и взяли пистолет в качестве трофея. Как герои голливудского боевика, прошли по улицам

спящего города и остановились у входа в ночной бар.

— Зайдем, — сказал Меир. — Я угощаю.

Призраками возникли в зале.

— Сидеть, — приказал Кача по-арабски ошалевшим завсегдатаям этого злачного места. — Мы знаем, как вы рады гостям, но не обращайте на нас внимания и, главное, не двигайтесь.

Меир заказал кофе и небрежно бросил на прилавок несколько израильских монет.

Операция получила столь ценимый им шик, хотя риск, конечно, был не оправдан. Уходить пришлось с боем, но Меиру еще ни разу не изменила его звезда.

Зима 1954 года выдалась тяжелая. Весь январь шли проливные дожди, и вспенившийся Иордан уже ничем не напоминал обмелевшую речушку, которую овцы переходят вброд, не замочив шерсти. Патруль готовился к обычному рейду на той стороне. Меир спал сном праведника, ибо знал: все будет сделано, как надо. В полночь его разбудил командир патруля Меир Якоби, промокший до нитки и несчастный.

— Хар, — сказал он, — Иордан как взбесился. Его не перейти. Пять раз мы пробовали. Я чуть не утонул.

Меир знал, что на Якоби можно положиться. Раз он так говорит — значит, так и есть. Но, с другой стороны, разве можно допустить, чтобы Иордан, как бы он ни бесился, стал преградой для его бойцов? И Меир сказал:

— Попробуем еще раз.

На этот раз он сам повел патруль. На берегу привязал к поясу веревку и бросился в воду. Течение сразу подхватило его и понесло, ударяя о подводные камни. Ощущение было, словно кто-то гвоздил все тело железным кулаком. Он пробовал бороться, но, наглотавшись воды, потерял сознание. Его вытащили. Откачали. Он поднялся, шатаясь, как после нокдауна. Бойцы смотрели на него с тревогой. И со скрытым удовлетворением. Значит, и великому Хар-Циону не все удается. Меир понял, о чем они думают, и улыбнулся.

— Хорошо, что вы не отвязали веревку, — сказал он. — Попробуем еще раз.

Все остолбенели. Но они хорошо знали своего командира и молчали. Меир переплыл Иордан в другом месте. Патрульный рейд состоялся в ту ночь, как обычно.

* * *

«Хорошим командиром, — говорил Шарон, — может считаться лишь тот, кто воспитал других хороших командиров».

Меир Хар-Цион воспитал целое поколение бойцов. Многих из них давно нет в живых. Многие стали майорами и полковниками. Они прошли все, что можно пройти. Страна обязана им решительно всем. Точно так же, как они всем обязаны Меиру Хар-Циону.

Рассказывает Миха Капуста, полковник запаса, заместитель и друг Меира:

«Он терпеть не мог, когда кто-то хоть в чем-то превосходил его. Хотел быть — и был — лучшим из лучших. Когда сто первый отряд присоединился к парашютистам, Меир взял меня к себе. Полк наш охранял египетскую границу. Каждую ночь патруль совершал глубинные вылазки в сектор Газы, стараясь действовать без излишнего шума.

Меир мечтал сделать то, чего никому не удавалось. Проникнуть в египетский военный лагерь, взять документы и уйти незамеченным. Несколько раз пытался, но всегда в последний момент что-то мешало. И вот однажды не Меир, а я со своим патрулем проник в штаб египетского полка в районе Рафиаха. Просто нам в ту ночь до чертиков везло, и все удавалось. Ну, взяли мы какие-то документы — как оказалось, не Бог весть что — и вернулись. Рассказываю Меиру, а он потемнел. Задает вопросы. Чувствую, ищет, к чему бы придраться. И нашел.

— Вы где срали? — спрашивает.

— Ну, там, — говорю, — на месте.

— А чем подтирались? — продолжает интересоваться Меир.

— Газетами, — отвечаю наивно.

— И вы их там оставили?

— Да.

— Ну и мудаки. Египтяне знают теперь, что вы там были.

И Меир написал в рапорте Шарону, что мы крайне неудовлетворительно выполнили задание».

Меир не был «рыцарем без страха и упрека». Шел непроторенными путями. Действовал методом проб и ошибок — и не раз ошибался. И был жесток.

Жестокость обычно проистекает от скудости воображения. Палач не в состоянии представить себя на месте своей жертвы. Но Меир был жесток особой жестокостью — идущей от головы, а не от сердца.

Ловлю себя на том, что не хочется об этом писать. Но что поделаешь, если частичная ложь не становится правдой, а частичная правда превращается в ложь. И я хорошо понимаю, почему Меир всегда с таким ожесточением противился своей

канонизации.

Пусть об этом расскажет Гади Звулун, парашютист Меира, отличавшийся характером, не соответствовавшим жестким стандартам того времени. Гади любил Меира, восхищался им, следовал за ним «с завязанными глазами». И он же испытывал неодолимое отвращение к жестокости своего командира, для которого «убить араба было все равно, что прихлопнуть муху».

Гади Звулун: «Было это в Негеве. Наш моторизованный патруль задержал бедуина. Меир его допрашивал. Лицо пленника пожелтело от страха. Руки дрожали. Мне и сегодня хочется плакать, когда я вспоминаю эти руки. Бедуин утверждал, что старейшины племени послали его искать пропавших верблюдов.

Меир сказал ему:

— Не лги. Ты провел кого-то через границу. Кого? Не скажешь правды — пристрелю.

И Меир приставил дуло автомата к его голове.

Я спросил:

— Неужели ты его убьешь?

— Да, — ответил Меир.

— Почему?

— Потому,

И он спустил курок,

Я едва успел отбежать в сторону. Меня выворачивало. Я еще никогда не видел, как убивают.

Вечером Меир собрал нас всех.

— И мне претит убивать, — сказал он. — Но мы должны быть жестокими. Бедуины помогают террористам. Нужно, чтобы они нас боялись.

Я не принял его версии тогда. Не принимаю ее и сегодня.

Меир же решил меня воспитывать. Как-то ночью египетские бедуины перешли границу и увели верблюдов у бедуинов израильских. Решено было проучить „их бедуинов“, и мы совершили ночной налет на провинившееся племя. Но ведь для бедуинов пустыня — дом родной. Они каким-то образом проведали о нашем приближении и исчезли. Лишь трое не успели уйти: хромой старик, мальчик-идиот и калека неопределенного возраста.

— Их надо прикончить, — сказал Меир. — Мы остаемся здесь на ночь. Стрелять нельзя. Придется воспользоваться ножом.

Он помедлил и, взглянув на меня, добавил:

— Это сделает Гади.

— Нет, — сказал я.

— Докажи, что ты мужик, — настаивал Меир. — К тому же, если я когда-нибудь прикажу тебе бесшумно снять часового, что

ты будешь делать?

— Тогда выполню приказ, а сейчас в этом нет необходимости, — резко возразил я.

Меир шагнул ко мне, но тут вмешался наш новичок, искавший случая всем доказать, что он „мужик“.

— Да ладно, — небрежно бросил он, — я это сделаю.

И он это сделал. Отвел всех троих в сторону и…

Я слышал их хрипение и всю ночь не мог заснуть.

Не сомкнул глаз и „мужик“. До рассвета беспрерывно курил и маялся».

Таких случаев было много.

Были ли у Меира угрызения совести?

Никогда.

Он и сегодня убежден, что все делал правильно.

Однажды он сказал: «Пулей убить легко. Каждый дурак может. А за ножи берутся настоящие мужчины».

Интересно, сказал бы он это, если бы знал, что за ножи возьмутся боевики интифады?

* * *

Ни к кому Меир не был привязан так, как к сестре Шошане. Она была частью его души. Он говорил потом, что что-то навсегда умерло в нем с ее смертью. И много времени спустя, чудом вырвавшись из мира, в котором не было ни надежд, ни желаний, вложив остаток душевных и физических сил в создание ранчо в Нижней Галилее, он назвал его именем сестры.

Случилось это в феврале 1955 года. Шошана, уже получившая повестку о мобилизации на действительную службу, решила пойти со своим другом Одедом в небольшой поход. Ей хотелось пройти в Иерусалим через Эйн-Геди и Иудейскую пустыню.

Шошана не меньше Меира любила такие скитания.

— Это в последний раз, — сказала она матери.

Судьба придала страшный смысл ее словам.

Шошану и Одеда убили бедуины из племени Азазма.

Лишь через три месяца обнаружили их тела, брошенные в высохший колодец.

Потрясение оказалось чрезмерным даже для железных нервов Меира. Он плакал, но никто не видел его слез. Через несколько дней после трагического известия Меир, как всегда спокойный и подтянутый, явился к Шарону.

— Арик, — сказал он, — я требую ответной операции. Не только потому, что погибла моя сестра. Убиты двое израильтян.

Вспомни, сколько раз наш отряд реагировал в прошлом на подобные вещи.

— Да, — ответил Шарон, помедлив, — но сейчас не время. Ведется сложная политическая игра. Старик не разрешает нам действовать. Потерпи.

— Тогда я сделаю это сам, — произнес Меир.

Шарон обратился к начальнику генштаба. Выслушав его, Даян сказал:

— Разрешение на операцию дать не могу. Ты ко мне не обращался, а Хар-Цион не обращался к тебе. И передай Меиру, чтобы был осторожен. Я не хочу его потерять.

Шарон передал Меиру этот разговор без комментариев.

И Меир с тремя бойцами из кибуца Эйн-Харод, хорошо знавшими Шошану, отправился в Иудейскую пустыню.

Мстители ворвались в лагерь племени Азазма, захватили пятерых бедуинов и привели их к тому месту, где были найдены тела Шошаны и Одеда. Четверых убили, а пятому Меир сказал:

— Я освобождаю тебя, чтобы ты рассказал своему племени о том, как отомстил Хар-Цион за убийство своей сестры и ее друга.

Начался международный скандал. Комиссия по перемирию передала израильским властям протокол показаний оставшегося в живых бедуина и потребовала наказания виновных.

Бен-Гурион пришел в ярость. Он приказал арестовать Меира и вызвал к себе Шарона. Арик, предчувствуя грозу, позвонил Даяну и спросил:

— Что мне сказать Старику?

— Да говори, что хочешь, — ответил Даян, — но помни, что я не имею никакого отношения к этой истории.

Явившись к Старику, Шарон попытался вывести своего любимца из-под удара и даже утверждал, что Меир в тот день никуда из части не отлучался.

Это было уж слишком.

Голосом, не предвещавшим ничего хорошего, Бен-Гурион сказал:

— Арик, если бы я прислушивался к мнению твоих врагов, то тебя давно бы не было в армии. Я все могу простить, кроме лжи.

Досталось Шарону. Досталось и Даяну. Что касается Хар-Циона, то Старик потребовал отдать под суд «этого бандита». Но тут нашла коса на камень. «Суд над Меиром деморализует армию», — заявил Даян и даже пригрозил отставкой. Это подействовало. Дело Хар-Циона было спущено на тормозах.

* * *

Меир понимал, конечно, что непрерывная игра со смертью рано или поздно закончится проигрышем, но прекратить ее не мог. Он и распоряжался с такой легкостью чужими жизнями лишь потому, что без колебаний ставил на кон свою. Меир верил в свою звезду, и, главное, верили в нее его бойцы. И, поднимая своих людей в атаку, он никогда не оглядывался. Знал, что они поднимутся — все до единого. В армии даже поговаривали, что он заговорен от пуль. Было время, когда Меир и сам в это верил. Лишь после гибели Шошаны он стал чувствовать, что табу с него снято, что смерти надоело его щадить. Это привело лишь к тому, что храбрость его, и раньше вызывавшая изумление, граничила теперь с безрассудством.

Даян иногда говорил, что нужно поберечь Меира, что хорошо бы послать его за границу, в военную академию. Вот только пусть проведет еще одну операцию. И еще одну…

В декабре 1955 года в генеральном штабе было принято решение о широкомасштабной военной операции против укрепленных пунктов сирийской армии к северо-востоку от Кинерета. Сирийские провокации против израильских рыбаков, промышлявших в Кинерете, становились нетерпимыми. К тому же в генштабе давно хотели проверить в боевых условиях готовность армии к выполнению сложных стратегических задач на территории противника.

Меиру поручили самую трудную часть операции «Кинерет». Ему приказали взять штурмом пять укреплений сирийского военного комплекса Курси, используя фактор внезапности.

В 5.45 вечера Меир повел роту парашютистов по труднопроходимой горной местности. Лил сильный дождь, и казалось, что воздух состоит из сплошных брызг. Меир шел размашисто, все время наращивая темп, чтобы не выбиться из установленного графика. К цели прибыли точно в срок. Парашютисты ползком подобрались к проволочным заграждениям и проделали в них бреши. Совсем рядом прошел сирийский патруль, не заметив слившихся с темнотой израильтян.

И вдруг раздался шальной выстрел, выведший из сонного оцепенения Голанские высоты. Парашютист Мотке Мизрахи потом хвастался, что операция «Кинерет» началась выстрелом из его автомата. Меир уже хотел встать во весь рост, но особое чутье, похожее на звериный инстинкт, удержало его. Сирийцам и в голову не пришло, что израильтяне уже у ворот. Меир услышал сердитый голос сирийского офицера: «Кто стрелял, идиоты? Хотите получить от израильтян горячую порцию? Я вот с вами расправлюсь, с мерзавцами».

Меир усмехнулся и дал сигнал к атаке. Парашютисты рванулись вперед. Несколькими очередями сняли охрану. Действовали слаженно и точно. Меир первым очутился у штабного бункера. Заглянул внутрь. Трое офицеров, игравших в карты, настолько увлеклись, что даже на выстрелы не обратили внимания. «Шалом», — поприветствовал их Меир и швырнул гранату. Мертвые офицеры так и остались сидеть в своих креслах.

Операцией «Кинерет» Меир остался доволен вдвойне. Он закрыл наконец свой сирийский счет и получил знак отличия за доблесть.

* * *

Наступил роковой день 11 сентября 1956 года. 10 сентября террористы подорвали железнодорожное полотно Беэр-Шева — Тель-Авив. Это было утром. А в полдень с иорданской территории был атакован израильский патруль.

Семеро солдат были убиты. Двое ранены. В довершение всего, враги захватили тела погибших и надругались над ними.

Командование решило прореагировать немедленно. Без подготовки, без четкого оперативного плана. Парашютистам было приказано атаковать здание полиции в Ар-Рахва. Даже о топографии этой местности никто не имел ни малейшего представления. Шарон знал, что лишь Меиру по плечу эта задача.

И Меир повел бойцов, руководствуясь безошибочным своим инстинктом. К Ар-Рахве вышли без особого труда. Здание полиции — серый каземат с зияющими провалами бойниц в бетонных стенах — находилось в центральной части военного лагеря, обнесенного двумя рядами колючей проволоки. Но ворота были почему-то гостеприимно распахнуты. Пусто. Лишь возле конюшни двое жандармов холили своих лошадей.

Рота Меира по-пластунски подобралась к самым воротам. И вероятно, сыграл бы свою роль фактор внезапности, если бы не произошло то же, что тогда у Кинерета. Шальной выстрел вспорол тишину.

— Шкуру спущу с мудака! — крикнул Меир и бросился в ворота, стреляя из автомата. Из здания полиции парашютистов встретили плотным огнем.

— Капуста, жарь! — приказал Меир. — Я прикрою.

Люди Капусты атаковали здание гранатами. Меир, стоя, руководил боем.

Пуля пробила ему горло, и он медленно, словно нехотя, опустился на землю.

— Меир ранен! — крикнул кто-то.

Принявший командование Капуста прекратил сражение и приказал отходить. Парашютисты, отстреливаясь, вынесли с поля боя своего командира.

— Да он не дышит! — крикнул Капуста, глядя в посеревшее лицо Меира. — Врач! Где врач?

Капуста схватил врача за руку.

— Сделай что-нибудь. Не хочу, чтобы он умирал…

Полковой врач Янкелевич опустился на колени. Сунул кому-то фонарь и в его колеблющемся свете сделал на горле Меира глубокий надрез, открывая доступ воздуху. Все это время парашютисты держали круговую оборону, отбивая иорданскую контратаку.

— Донесем ли его живым? — пробормотал Янкелевич, закончив операцию.

Донесли.

* * *

Пуля, пробившая горло, застряла в затылке. Потребовалась сложная, крайне опасная операция. И потекли похожие друг на друга, как близнецы, дни.

Меир лежал парализованный, с клокочущим мозгом. Лишь глаза жили на неподвижном лице.

Исчезла точка опоры. Исчезли зрители и слава. Исчезли великий страх перед поражением и яростное желание одержать победу. Остались лишь серая пустота да ощущение, что жизнь кончена.

Он знает приговор врачей: 80 процентов инвалидности. Так зачем жить?

Приходят те, кто еще вчера видели в нем полубога.

Невыносимы их жалость, их сочувствие. «Это все, что осталось от Хара», — шепчутся за его спиной. Он же, к несчастью, не оглох.

Целый год провел Меир в больнице.

Постепенно вернулась речь.

Но разве это его голос? Скрипучий, невнятный. К тому же каждое произнесенное слово бередит незаживающее горло.

Вернулся контроль над телом, но левая рука так навсегда и останется полупарализованной.

Ему предлагают синекуру в Министерстве обороны. Он отказывается.

Прямо из больницы возвращается в свой кибуц Эйн-Харод. Но

и здесь его жалеют. Дают только легкую работу. Кибуц, гордящийся подвигами Меира, готов всячески ублажать его до конца дней.

Меир Хар-Цион превратился в живой памятник собственной славе. Его будущее отныне в его прошлом…

Он мечется, старается себя чем-то занять. Ходит в кино — подряд на все сеансы. Но по ночам задыхается от парализующей волю тоски.

К нему обращаются с заманчивыми предложениями различные партии. Они не прочь воспользоваться его именем. Но Меир знает, что необратимые дефекты речи не позволят ему сделать политическую карьеру.

Что же остается?

Неожиданно приходит решение — такое простое, что Меир удивляется, как это он не додумался до него раньше. Теперь он знает, что сделает то, о чем мечтал еще в детстве. Создаст ранчо где-нибудь подальше от мирской суеты и будет жить одиноко и независимо.

Но ведь у Меира нет ни копейки, а земля стоит дорого.

Вмешиваются Шарон и Даян. Они уламывают Бен-Гуриона, и Старик неохотно соглашается, что государство должно выплатить свой долг тому, кого он еще так недавно называл «бандитом».

Меир получил 6500 дунамов земли в Нижней Галилее.

За хозяйкой дело не стало. Рут, соседка Меира по кибуцу, влюбленная в него с детства, не отходила от его больничной койки. Однажды Меир сказал ей, как нечто само собой разумеющееся: «Мы поженимся и будем жить на ранчо».

Их свадьбу, на которой присутствовала вся военная элита, до сих пор помнят в армии.

И Меир (в который уже раз!) сделал невозможное. Этот калека не пользовался наемным трудом. Своими руками построил дом, создал образцовое хозяйство. У него появились сотни голов скота и тысячи проблем, как и у каждого фермера.

Потом подросли и стали помогать дети. Потом они создали свои семьи и ушли. Лишь тогда Меир, сильно сдавший с годами, стал нанимать работников.

В Шестидневную войну Меир не смог усидеть дома. Взял старый автомат, надел выцветшую, бережно хранимую форму и явился в штаб парашютистов. Командир полка подполковник Миха Капуста с нежностью обнял гостя — капитана в отставке, восьмидесятипроцентного инвалида.

— Меир, — сказал он, — прими командование. Я, как и в былые времена, буду твоим заместителем. Или хотя бы возьми половину моих людей.

— Спасибо, Миха, — произнес Меир таким голосом, словно горло вновь сдавила старая рана. — Я пойду рядовым.

Парашютистам Капусты выпала почетная задача освобождения Старого Иерусалима и величайшей национальной святыни.

Перед боем Капуста собрал бойцов. Меир сидел в стороне на позеленевшем от времени камне.

— Старый волк смотрит на вас, — сказал подполковник. — Докажите же ему, что и вы на что-то способны.

И парашютисты пошли на штурм с этими напутственными словами.

* * *

Живет пожилой человек на открытой всем ветрам горной вершине в Нижней Галилее.

Как трудолюбивые муравьи, ползут по серпантинам горной дороги машины. Политики и генералы — вершители наших судеб, — попадая в Галилею, сворачивают к Меиру.

Кажется, что этот человек все видит в истинном свете, что ни жизнь, ни смерть не скрывают больше от него своих тайн.

— Смотри, — сказал он однажды очередному гостю, указывая на спешащий по своим неотложным делам отряд муравьев. — Вся наша жизнь — это бег на месте. Они же сильнее и мудрее нас. Мы исчезнем, а они останутся. Они будут властителями земли, когда погибнет суетливое и жестокое людское племя. Отдадим же им должное.

На этом, пожалуй, можно закончить сагу о Меире Хар-Ционе.

Страницы из военной жизни Ариэля Шарона

Уже на второй день Войны Судного дня наш полк занял оборонительные позиции в Иудее. Мы перекрыли дороги, по которым могли двинуться иорданские танки, и ждали Хусейна, зарывшись в тяжелый, с золотистым отливом, песок Иудейских гор.

Но мудрый маленький король не спешил. Потом стало известно, что в критические минуты сражения на Голанах президент Сирии Хафез Асад дважды звонил Хусейну и заклинал его выступить.

— Ваше Величество, — говорил Асад не свойственным этому властному человеку просящим тоном, — мы потеряли фактор внезапности. Израиль уже мобилизовал резервистов, и его танки идут на Голаны. Вся сила Израиля брошена на юг и на север. Не медлите, Ваше Величество. Доблестная иорданская армия должна прорваться в логово сионистского врага и поразить его в самое сердце.

— Господин президент, — холодно отвечал Хусейн, — я выступлю без промедления, если вы обеспечите моим легионерам воздушное прикрытие.

Этого Асад сделать не мог. Хусейн не выступил.

Мы же тогда ждали его ежеминутно и каждый час слушали радио.

Все, что я видел тогда и пережил, запомнилось как разрозненные фрагменты грандиозного, неизвестно кем поставленного спектакля.

Вот два из них.

Холодная ночь с огромными гроздьями низко висящих звезд. Солдаты разожгли костер. Его искры, как трассирующие пули, вспыхивают и тут же исчезают во тьме. Наш командир стоит в отблесках пламени.

«Нас перебрасывают в Синай, и мы поступаем в распоряжение генерала Шарона, — говорит он. И добавляет: — Это большая честь для нас всех».

Наш батальон охраняет два моста через Суэцкий канал, по которым непрерывным потоком идут подкрепления на тот берег, в Африку, где полки Шарона ломают египтянам хребет. Батареи ракет типа «Сам», причинившие нам столько хлопот, уничтожены, и египетская авиация бездействует. Время от времени над нами с ревом проносятся «фантомы» и поворачивают на север. Там идет

наступление на шоссейную магистраль Исмаилия — Каир.

Справа от нас Китайская ферма, где, как допотопные чудища, застыли десятки сгоревших танков — наших и египетских. Здесь Давид Элазар нанес отвлекающий удар, когда Шарон форсировал канал, вбив клин в узкий проход между 2-й и 3-й армиями противника.

Полдень. В мутной ряби канала, покачиваясь, как большие ленивые рыбы, то и дело проплывают трупы египетских солдат.

— Смотри, — сказал товарищ и тронул меня за руку.

К переправе медленно двигались тупорылые «шерманы». Впереди ехал открытый джип, нелепо подпрыгивая на плохо утрамбованной дороге. В нем сидел грузный человек в расстегнутой гимнастерке, обнажившей бронзовую бычью шею. На фоне сиреневых гор четко вырисовывался его римский профиль. Он и был похож скорее на римского консула, чем на еврейского военачальника. Я взглянул на своих товарищей. Они стояли, побледнев, не сводя глаз с этого человека.

Один из «шерманов», лязгнув гусеницами, остановился. Вдоль его борта, чуть наискосок, вилась надпись, сделанная чьей-то торопливой рукой. Мой товарищ прочитал ее вслух: «Арик — царь Израиля».

* * *

Восторженные почитатели Шарона, а их очень много, утверждают, что он, как Маккавеи, создан из несокрушимого материала. Враги, а их тоже немало, считают его наглым, хвастливым, лживым и безответственным. Но и они никогда не ставили под сомнение его военные способности. Ариэль Шарон, пожалуй, самый талантливый военачальник, выдвинутый Израилем за его короткую, перенасыщенную войнами историю. Сражения, которыми руководил Шарон, изучаются в военных академиях. Почти все громкие победы Израиля связаны с его именем.

Но, созданный, чтобы повелевать, он не умеет повиноваться. Поэтому карьера Шарона не раз висела на волоске за четверть века его военной службы.

В интервью, опубликованном в свое время в газете «Маарив», Шарон так сформулировал свои принципы: «У меня три критерия оценки каждого приказа, который я получаю. Первый и самый главный — это благо государства. Второй — мой долг по отношению к моим солдатам. И наконец, третий критерий — это моя обязанность выполнять приказы главного командования».

Сразу ясно, что два первых критерия целиком зависят от личной воли Шарона.

«Человек, не умеющий повиноваться, не должен командовать», — сказала Голда Меир, и Шарон не получил высшего командного поста, которого так добивался.

Когда в 1974 году Ариэль Шарон навсегда покидал армию, он обратился к своим войскам с последним приказом, звучащим так, словно он написан под стальным римским небом консулом, спасшим империю и отозванным неблагодарным сенатом.

«Солдаты, — писал Шарон, — вы вырвали у врага победу вопреки фатальным просчетам и бездарности руководства, утратившего контроль над ситуацией».

Приказ этот так и хочется перевести на латынь…

* * *

Летом 1979 года в Александрии стояла жара, от которой плавились мозги. Но в самом фешенебельном ресторане города всегда прохладно. Из окна, занимающего полстены, видна ошеломляющая панорама александрийского порта. Трудно отвести глаза от этого варварского великолепия.

За столиком для почетных гостей собрались участники израильско-египетских переговоров об автономии, люди, которых всего шесть лет назад судьба свела в смертельной схватке.

Израильских гостей Эзера Вейцмана, Ариэля Шарона и Авраама Тамира угощал министр обороны Египта генерал Али. Меню выбрал начальник оперативного отдела египетского генштаба генерал Лабиб, заказавший шесть блюд, которым гости отдали должное.

Шарон пытался разъяснить хозяевам принципы израильской поселенческой политики, но не это их интересовало.

— Вы считаетесь у нас героем войны, лучшим израильским генералом, — обратился Али к Шарону. — Как вы расцениваете боеспособность нашего солдата и египетской армии в целом?

Шарон помолчал, обдумывая ответ.

— Когда египтяне сражались, они стояли насмерть. Особенно в последнюю войну, — сказал он после затянувшейся паузы.

Али улыбнулся. Ответ ему понравился.

Арик продолжал:

— Но я предпочитаю говорить не о прошлом, а о будущем. Вы, арабы, должны понять, что нет такой силы, которая могла бы заставить нас покинуть эту землю. Наше право на Эрец-Исраэль

не подлежит сомнению. Президент Садат первым понял, что все эти бессмысленные и жестокие войны ни к чему не приведут. И если вы дали нам мир, то и мы взамен дали вам мир. Не забывайте этого…

Египетские генералы не в восторге от слов Шарона, но от него они готовы выслушать что угодно. Для них он не политический деятель, не министр сельского хозяйства в правительстве Бегина.

— Вы, генерал Шарон, всегда желанный гость в Египте, — сказал Али. — Мы ценим вашу солдатскую прямоту и горды тем, что скрестили с вами оружие. Вы для нас олицетворяете воинскую доблесть.

Это не комплимент. Египтяне прекрасно знают Шарона. Когда в октябре 1973 года его полки, сметая все на своем пути, стремительным натиском форсировали канал, уничтожили египетские ракетные батареи и вышли на подступы к Каиру, то это означало не только перемену военного счастья. Именно тогда Шарон, подобно бульдозеру, расчистил путь к миру.

Президент Садат не сразу понял, что победа вырвана из его рук. Войска Шарона рвались вперед. В египетском штабе царила растерянность. Командующий египетскими силами генерал Шазли получил шок и был не в состоянии принимать решения. Садат в качестве верховного главнокомандующего все взял в свои руки и отчаянным усилием попытался переломить ход войны. Рядом с ним находился человек со стальными нервами — начальник оперативного отдела генштаба генерал Рани Гамаси. Они сочли, что не все еще потеряно. Садат лично связался по телефону с командующими Второй и Третьей армиями и кричал в трубку:

— Я приказываю уничтожить Шарона и его силы. Повторяю: уничтожить.

Но было уже поздно.

Вспомнив все это, Али взглянул на Шарона так, словно видел его впервые, и произнес, чеканя слова:

— Тот, кто форсировал канал всего лишь с семью танками, мог быть или блефующим игроком, или великим полководцем. К сожалению, мы ошиблись и поняли, с кем имеем дело, с роковым опозданием в несколько часов…

Президент Садат, впервые ступив на израильскую землю, сразу же стал искать кого-то глазами в толпе встречающих и наконец спросил:

— Здесь ли генерал Шарон?

Арик, стоявший в стороне, подошел. Садат пожал ему руку и сказал улыбаясь:

— Я хотел захватить тебя на берегу Канала.

— А я, господин президент, счастлив видеть вас здесь, — дипломатично ответил Шарон.

* * *

Военная карьера Шарона началась еще в период Войны за независимость. Двадцатилетний офицер прекрасно зарекомендовал себя на египетском фронте. После войны Израилю, если он хотел выжить, предстояло быстрыми темпами создать первоклассную армию. В 50-е годы до этого было еще далеко и положение складывалось не лучшим образом.

Террористические банды постоянно прорывались в Израиль из Газы и Иордании. Майору Ариэлю Шарону поручили сформировать спецотряд по борьбе с террором, которому суждено было стать впоследствии основой израильских парашютно-десантных войск.

Тогда и появился знаменитый 101-й полк. Начались ответные рейды, молниеносные и беспощадные. Сжигались целые арабские деревни, если из них выходили террористы. Каждый успех доставался им теперь дорогой ценой.

Были, конечно, и перегибы, вызывавшие крупные скандалы. У Шарона появилось много врагов. Особенно крупный скандал вспыхнул в 1953 году, когда люди Шарона убили в иорданской деревне Кибия 70 арабов.

Газеты неистовствовали. Совет Безопасности ООН принял антиизраильскую резолюцию. Последовал запрос в кнессете. Отставка Шарона казалась делом решенным, но его неожиданно для всех взял под защиту сам премьер-министр Давид Бен-Гурион. Он понимал, что Израилю сейчас нужны военные успехи, пусть даже самые незначительные. К тому же благодаря Шарону были сведены к минимуму набеги федаинов на израильские поселения.

Странные отношения сложились у старого вождя с молодым майором. Двери Бен-Гуриона были всегда открыты перед Шароном, и он часто приходил к Старику, чтобы излить душу после очередного конфликта с генералами. Бен-Гурион любил этого офицера, воплощавшего в его глазах облик нового Израиля. Он первым оценил военные способности Шарона, но углядел и специфические черты характера этого человека, которые со временем могли заблокировать его карьеру.

«Грубая солдатская прямолинейность, которой так гордится Арик, часто переходит в сварливость. Но больше всего печалит

меня его склонность ко лжи», — записал Старик в своем дневнике.

После расформирования 101-го полка Шарон стал командовать дивизией парашютистов.

В командных кругах у него сложилась репутация тяжелого, трудно выносимого человека. Многие генералы, которых Шарон нашел способ задеть или обидеть, его терпеть не могли. Арик умудрился поссориться с двумя начальниками генерального штаба: сначала с Хаимом Ласковым, затем с Моше Даяном. Давид Бен-Гурион был его единственной защитой, и Старик, хоть и не без колебаний, взял Шарона под покровительство.

— Ему надо дать шанс, — уговаривал Бен-Гурион Ласкова, а потом Даяна, — я знаю, что Арик работает над собой, и верю, что он избавится от своих недостатков.

В своем дневнике он пишет: «Только одно мешает Арику стать нашим выдающимся полководцем. Он сам».

Уже после смерти Бен-Гуриона Шарон признал: «Я несколько раз не то чтобы обманывал Старика, но не говорил ему всей правды. В свое оправдание могу сказать только то, что во всех этих случаях я не преследовал личных интересов, а спасал от тяжелого наказания нескольких своих солдат и офицеров, совершивших тяжкие проступки. Я их очень высоко ценил, несмотря ни на что. Бен-Гурион все понял и простил, хоть и сердился на меня из-за дела Меира Хар-Циона».

Общественное мнение было потрясено. Моше Шарет, занимавший в то время пост премьер-министра, записал в своем дневнике: «Этот Меир — гнусный злодей. Но не лучше и Шарон, берущий его под защиту. 101-й полк не что иное, как банда головорезов, считающих, что им все дозволено. Такое положение нетерпимо».

Бен-Гурион, ставший в кабинете Шарета министром обороны, лично допрашивал Шарона и вынес ему строгий выговор в присутствии всех офицеров генерального штаба.

Шарет был недоволен. Он писал:

«„На этот раз я не спустил Арику“, — сказал нам Старик с наивной гордостью. Мы с Голдой обменялись красноречивыми взглядами. Устный выговор… Теперь бедный Шарон не будет спать по ночам…»

* * *

Долгая военная карьера Шарона похожа на поединок, который он вел не только с врагами Израиля, но и с

израильскими генералами. На всей его, в целом безупречной, репутации было лишь одно пятно.

Оно преследовало Шарона годами, как наваждение. Подобно кошмару, не давало спать по ночам и исчезло только после Войны Судного дня. Пятно это возникло в результате операции по захвату перевала Митле в Синайскую кампанию 1956 года.

Получилось так, что полковник Шарон послал прямо в ловушку своих парашютистов. Они оказались в узком ущелье, где сверху на них обрушился шквал огня. Египтяне били из пулеметов и базук, швыряли гранаты. Парашютисты не могли поднять головы и вжимались в песок, а вокруг бушевал настоящий ад, продолжавшийся до тех пор, пока Шарон не ввел в бой резервы и не очистил от врага прилегавшие к ущелью возвышенности.

38 парашютистов погибли. 120 получили ранения.

И ничто не спасло бы Шарона, не помог бы ему Бен-Гурион, вылетел бы он из армии, как пробка, если бы не старый, везде и всегда чтимый принцип: победителей не судят.

Шарон — это Шарон. Он все-таки взял перевал и обеспечил кинжальный прорыв израильской армии в глубь Синайского полуострова.

— Как ты смел, вопреки моему приказу, бросить людей в пекло, не выслав сначала разведки? — кричал взбешенный Даян.

Шарон отвечал с чисто римским хладнокровием:

— Может, я и ошибся. Но мне на поле боя виднее, чем тебе в генеральном штабе. Я сделал то, что считал нужным в той ситуации.

Но в сражении при Митле произошло нечто иное, гораздо более страшное для репутации Шарона, чем его стратегическая ошибка. Он не принял личного участия в бою. Не повел за собой бойцов, как это делают израильские командиры. Шарон облюбовал надежную скалу, устроил под ней свой штаб и руководил боем, как Наполеон, рассылая адъютантов с приказами. Это привело к тому, что полковника обвинили в трусости его собственные офицеры: Мота Гур и Ицхак Хофи.

Слухи ширились, расползались, авторитет Шарона был поколеблен. Он не показывал вида, что уязвлен в самое сердце. Но с тех пор, в каких бы военных операциях ему ни доводилось участвовать, всегда лез в самое пекло.

Единственным человеком, с которым поделился Шарон своими горестями, был Давид Бен-Гурион.

* * *

В 1963 году премьер-министр Леви Эшколь назначил начальником генерального штаба Ицхака Рабина. Новый командующий знал, что его рекомендовал на этот пост Бен-Гурион перед своей отставкой, и поехал в Сдэ-Бокер, чтобы поблагодарить. Старик встретил его приветливо и в конце долгой беседы сказал:

— У меня к тебе просьба, Ицхак. Ты знаешь о моем особом отношении к Арику Шарону. Я считаю его одним из самых талантливых наших командиров. Если бы он всегда говорил правду! Тогда ему не было бы равных. Обещай мне, Ицхак, что ты будешь относиться к нему не так, как твои предшественники.

Рабин пообещал и сдержал слово. Не только потому, что любил Бен-Гуриона и был ему обязан. Он уже давно присматривался к Шарону и, зная его недостатки, ценил этого полковника больше, чем многих генералов.

«Я вызвал Арика, — вспоминал позднее Рабин, — и сказал ему: „Всем известно, что ты превосходный командир. Твоя проблема в том, что некоторые черты твоего характера невыносимы для окружающих. Я хочу продвинуть тебя на командные посты. Но сначала я должен убедиться, что прав ты, а не твои враги“».

Через год Рабин присвоил Шарону звание бригадного генерала. В этот радостный день Арик получил письмо из Сдэ-Бокера.

Бен-Гурион писал: «Я рад, что ты теперь генерал, хотя в моих глазах ты был им уже давно. Но больше всего меня радует, что ты сумел избавиться от своих недостатков. Я верил, что так будет. Ты не разочаровал меня, и за это я тебе благодарен. И я знаю, что тебя еще ждут большие свершения».

* * *

Наступила зрелость. В канун Шестидневной войны Шарон уже твердо стоял на ногах и знал себе цену. В период выжидания в мае 1967 года лишь три генерала требовали немедленного выступления. Одним из них был Шарон, предвидевший быструю ошеломляющую победу.

Но генеральный штаб и правительство колебались.

2 июня начальник генштаба принял своих генералов и разрешил им свободно высказать свою точку зрения в присутствии премьер-министра Леви Эшколя. «Ни армия, ни народ не могут больше ждать», — сказал Шарон на этом форуме.

В понедельник 5 июня войска Шарона уже штурмовали Абу-

Агейлу — узловой центр египетской стратегической обороны в Синае. Фортификационные укрепления Абу-Агейлы растянулись на три мили, ощетинившись многими рядами колючей проволоки, надежно прикрытые бетонными траншеями и минными полями. Абу-Агейла господствует над пересечением коммуникационных линий Эль-Ариша, Джебель-Ливне и Нусейбы. Гарнизон состоял из отборных механизированных частей египетской армии Взятие Абу-Агейлы — самая сложная операция, какую когда-либо выполняло израильское командование. Она считается классической и изучается в военных академиях.

Прорвав оборону противника в районе Абу-Агейлы, войска Шарона оказались в тылу главных египетских сил. Война фактически была выиграна.

В следующей своей «войне» Шарон потерпел поражение. Это была его личная «война» против линии Бар-Лева. Союзником Шарона был генерал Таль. Но если Таль предпочитал вести борьбу за кулисами, то Шарон не упускал ни одной возможности обрушить огонь язвительной критики на план Бар-Лева, предусматривающий строительство в зоне Суэцкого канала фортификационных укреплений для защиты Синайского полуострова от египетского вторжения.

Шарон, ненавидевший писанину, составлял доклады, рефераты, объяснительные записки, напоминал о судьбе линии Мажино во Франции, подчеркивал, что не в традициях Израиля вести оборонительную войну, доказывал свою правоту в долгих беседах с Голдой и Даяном.

В 1969 году Даян разрешил Шарону выступить в генеральном штабе с обоснованием своей точки зрения на линию Бар-Лева, строительство которой шло уже полным ходом. Миллиарды уже текли в карманы израильских подрядчиков.

Генералы не давали Шарону говорить, выкрикивали оскорбления, вели себя, как собаки, окружившие волка. Никто не попытался вникнуть в суть дела, обсудить конкретно план Шарона, предлагавшего оставить линию Бар-Лева и строить оборону Синая на стратегии динамичного маневрирования.

Увидев, что ему не с кем говорить, Шарон оборвал своих оппонентов.

— Здесь не военный трибунал, — сказал он и вышел, хлопнув дверью. Но поскольку и в самых верхах были сомнения в эффективности линии Бар-Лева, Даян именно Шарона назначил командующим Южным военным округом.

Шарон на своих плечах вынес всю тяжесть Войны на истощение и пытался, насколько это было возможно, уменьшить ущерб, наносимый линией Бар-Лева, которую должен был теперь

защищать.

* * *

В конце 1970 года, когда на канале установилось относительное спокойствие, Шарон занялся проблемой террора в Газе. Ни Даян, ни Мота Гур, назначенный военным комендантом Газы, не смогли ее решить.

Ячейки террористов, подобно сыпи, усеяли весь сектор Газы. Это была настоящая подпольная армия. Каждый день газеты сообщали о новых диверсиях и убийствах. Министр обороны Моше Даян, ставший мишенью для критических стрел, почувствовал себя неловко. Он вызвал командующего Южным округом и приказал искоренить террор в Газе в кратчайший срок.

— Считай Газу своей провинцией, — сказал с кривой своей усмешкой Даян. — Делай там, что хочешь, но чтобы был порядок.

Шарон действовал жестокими методами. Коллективные наказания, высылки, экономическое давление — все это, в сочетании с чисто шароновским упорством, привело к долгожданным результатам.

Грузный постаревший генерал с мальчишеской легкостью носился в открытом джипе из одного лагеря беженцев в другой. У него была черная записная книжка со списком всех разыскиваемых террористов. Каждый день Шарон вычеркивал из нее несколько имен.

Прошло всего полтора месяца — и он спрятал эту книжечку в сейф, где хранились ненужные документы.

В январе 1973 года начальник генерального штаба Давид Элазар сообщил генералу Шарону, что через два месяца заканчивается срок его командования Южным округом.

— К сожалению, я не вижу для тебя никакой должности ни в регулярной армии, ни в запасе, — сказал Элазар.

«Наконец-то мы избавились от тебя, голубчик», — прочитал Шарон в его глазах — и молча вышел.

С огромным трудом, нажав на все рычаги, удалось Шарону добиться назначения командующим корпусом резервистов. Приказ об этом, подписанный министром обороны, возможно, самая большая заслуга Даяна перед Израилем.

Дороги, которые он выбирает

Он так и не стал премьер-министром, старый мушкетер, совершивший переход Хаджи-Мурата в стан идеологических противников, дважды изменивший в стране политические реалии, человек, не возглавлявший правительства, а создававший их.

Зато он стал седьмым президентом Израиля.

Полководец без армии, политический лидер без партии занял все же высший пост в государстве. Но в том-то и заключалась ирония судьбы, что пост этот имеет чисто символическое значение.

Он сам создал свой образ, получивший законченную форму много лет назад и с тех пор воспринимавшийся всей страной как нечто само собой разумеющееся. Все знали его как светского льва, сохранившего элегантность даже в старости. Длинное тонкое лицо его с коротко подстриженными усиками напоминало знаменитого капитана мушкетеров.

Журналисты обожали брать у него интервью из-за язвительных и точных реплик, подобных ударам шпаги. Его остроумие, своей утонченной изысканностью напоминавшее восточную кухню, не каждому приходилось по вкусу. Люди, привыкшие ждать от него какой-нибудь хохмы, не воспринимали его серьезно, даже когда он говорил о проблемах исключительной важности. И никто не задумывался над тем, что этот кажущийся легкомысленным человек почти сорок лет был на первых ролях в военной и политической жизни государства.

Существовал совсем другой Вейцман, почти неизвестный широкой публике.

Командир и политик, организатор и лидер, не боящийся ответственности, обладающий аналитическим складом ума и редкой интуицией.

Долгая военная карьера Вейцмана была безупречной. В ней было все, кроме той самой капельки счастья, которая, по словам Наполеона, превращает генералов в маршалов.

Восемь лет командовал Вейцман израильскими ВВС. Это он разработал концепцию о решающей роли авиации в грядущих войнах. Это он добился выделения необходимых средств и превратил военную авиацию еврейского государства в одну из лучших в мире. Весь свет узнал об этом после Шестидневной войны. Тогда же о проделанной им огромной работе были осведомлены лишь немногие. Ицхак Рабин был одним из них.

Став начальником Генерального штаба, Рабин предложил Вейцману пост своего заместителя. Вейцман обрадовался. Это

была та самая капелька счастья…

— Хорошо, — сказал он, — я в течение двух недель передам все дела Моти Ходу и перейду к тебе.

— Постой, — нахмурился Рабин. — Кто сказал, что Ход станет командующим ВВС? Этот пост я уже обещал другому.

— Кому? — удивился Вейцман.

Рабин назвал фамилию. Вейцман вспылил:

— Я не передам ВВС в чужие руки.

— Не ты ведаешь назначениями в армии, — оборвал Рабин.

— Если так, то я остаюсь на своей должности. Меня ты снять не можешь…

— Да кто будет тебя снимать, — поморщился от такой несуразицы Рабин. — Только помни: не выполнив моего условия, ты не станешь моим преемником.

— Плевать, — ответил Вейцман. И покривил душой…

Вейцман настоял на своем. Он перешел в генштаб, лишь добившись назначения Моти Хода на свое место. Произошло это за пять месяцев до Шестидневной войны, и Вейцман, военный летчик, получивший сухопутную должность, еще не успел освоиться, спустившись с небес на землю.

В канун Шестидневной войны произошло событие, прочно заблокировавшее впоследствии армейскую карьеру Вейцмана. Стране, превратившейся в военный лагерь, предстояла война на трех фронтах. Начальник генштаба Ицхак Рабин готовил армию к решающим сражениям. Вейцман был рядом, и оба работали по двадцать часов в сутки.

Рабин, эмоциональный, впечатлительный, выкуривал ежедневно по три пачки сигарет, и в какой-то момент произошел нервный срыв. В конце мая заснувшего в своем кабинете Вейцмана разбудил телефонный звонок.

— Эзер, — сказал Рабин, — приезжай немедленно.

Голос начальника генштаба звучал странно. Через десять минут Вейцман был у него. Рабин, нахохлившись, сидел в кресле с лицом, опухшим от никотина и бессонницы. На столе ежилась окурками мраморная пепельница. Вейцман сразу все понял.

— Эзер, — произнес Рабин глухим голосом, — ты видишь, в каком я состоянии. Прими командование.

В глазах Вейцмана мелькнул и сразу исчез хищный блеск.

— Нет, — сказал он, помедлив. — Отдохни пару дней. Приди в себя. И ни о чем не беспокойся. Я все сделаю.

Вернувшись в генштаб, Вейцман собрал совещание старших офицеров.

— Командующий будет отсутствовать некоторое время по делам государственной важности, — сухо сообщил он. — Я его

заменяю.

Через сутки Рабин, бледный, осунувшийся, но решительный, вернулся к исполнению своих обязанностей. И он не простил человеку, ставшему свидетелем его слабости и унижения…

Начался израильский блицкриг. Рабин отстранил своего заместителя от руководства сухопутными сражениями. В действия ВВС, которыми командовал его друг и воспитанник, Вейцман не вмешивался. И фактически остался не у дел в решающие дни. Ему было тяжело. С горя он взял автомат и присоединился к войскам, победным маршем шедшим к Шарм-аш-Шейху. Там он узнал, что пропустил величайшие события: взятие Старого Иерусалима и освобождение Стены Плача. Годами Вейцман твердил, что мы должны вернуть себе наши национальные святыни, и даже получил за это выговор от Бен-Гуриона. Когда же наконец произошло то, о чем он мечтал, его и близко не было.

* * *

Эзер Вейцман родился в 1924 году в Хайфе. Его отец Ехиэль, младший брат доктора Хаима Вейцмана, первого президента Израиля, был агрономом, занимавшимся лесонасаждениями в Галилее.

Эзеру было 15 лет, когда началась Вторая мировая война. Однажды, когда он работал в поле, мощный рев прорезал упругий воздух. Эзер поднял голову. В родниковом небе на бреющем полете неслись два английских истребителя.

«Вот это жизнь, — подумал Эзер, — они летают, а я ползаю…»

В 16 лет Эзер закончил летные курсы в Тель-Авиве и подал заявление в английское летное училище.

«Палестинцам незачем летать», — сказали ему. Тогда он изменил тактику: поступил шофером в штат обслуживающего персонала английских ВВС и очутился в Африке, где подвозил боеприпасы войскам Монтгомери, атаковавшим под Эль-Аламейном корпус Роммеля. Отважный парень с насмешливыми глазами нравился английским офицерам, и кто-то из них поддержал одну из его бесчисленных просьб о зачислении в летную школу.

В 1942 году Эзер Вейцман закончил летное училище в Родезии и стал боевым летчиком. Его часть отправили в Индию, где он и пробыл до конца войны, пилотируя истребители F-47.

После войны Вейцман остался в Англии и продолжал летать

на легких самолетах частных клубов.

В 1947 году, выступая в Базеле на Всемирном сионистском конгрессе, он потребовал создания еврейской военной авиации.

— Зачем? — спросил кто-то из делегатов.

— Чтобы экспортировать в Европу цветы из Палестины, — усмехнулся Вейцман.

Шокированные делегаты проигнорировали его предложение.

Незадолго до знаменитой резолюции ООН о разделе Палестины Вейцман вернулся в Эрец-Исраэль и стал одним из девяти летчиков Хаганы, имевшей несколько «примусов» — так назывались легкие учебно-тренировочные самолеты. Все пилоты, которыми тогда располагала страна, направляясь на летное поле, размещались в двух машинах.

В первый боевой вылет Вейцман долго разглядывал раскрашенные мягкой акварелью домики и деревья, похожие на игрушки, аккуратно расставленные в витрине. Трудно было привыкнуть к мысли, что это его страна…

Борьба за эту скудную землю велась уже с предельным ожесточением. Боевые формирования палестинских арабов, мобильные, многочисленные, не испытывавшие недостатка в вооружении, объединялись в целые воинские соединения, устраивали засады на дорогах, атаковали поселения и города. Еврейские транспортные колонны все чаще подвергались нападениям. Потери росли.

Иерусалим охватило кольцо блокады. Арабы стремились прервать связь между еврейскими районами, ибо знали, что лишь этот путь ведет к победе. Им удалось отрезать Негев, Западную Галилею. Огромные усилия тратили арабские вожди на блокировку ключевой магистрали Иерусалим — Тель-Авив. Для еврейского Иерусалима это была артерия жизни. Война за независимость стала, по сути, войной за выживание.

Тогда это понимал лишь один человек: Давид Бен-Гурион. Чтобы выжить, необходимо оружие. И Бен-Гурион слал эмиссаров в Европу. Одного за другим. Все они получали лишь один наказ: добыть оружие. Любой ценой.

* * *

15 марта 1948 года в красное здание на улице Яркой в Тель-Авиве вошел невысокого роста крепыш в спортивной куртке и в солдатских ботинках. Часовой с чешской винтовкой знал его в лицо, но все же проверил документы. Миша Керен, начальник единственного еврейского аэродрома, улыбнулся ему и поднялся

на второй этаж, в штаб Хаганы. К тому времени почти все его хозяйство состояло из нескольких безнадежно устаревших невооруженных «пайперов».

Его встретил Игаэль Ядин, начальник штаба Хаганы. Утиный нос придавал ему сходство с печальной птицей. Он горбился, что выдавало привычку много времени проводить за письменным столом. Вид он имел сугубо штатский. Ядин сразу приступил к делу:

— Сколько у тебя самолетов, готовых к выполнению оперативных заданий?

— Четыре.

— Не густо. — Ядин усмехнулся.

— Еще пять нуждаются в основательном ремонте. Я давно прошу запчасти, — поспешно сказал Миша.

— Знаю. Мы послали заказ в Европу, но я не для того тебя вызвал, чтобы обсуждать плачевное состояние нашей авиации. Ты и так для меня как живой укор.

В словах Ядина чувствовалась ирония. Миша хотел было обидеться, но передумал.

— Бен-Гурион крайне озабочен положением дел в районе Гуш-Эцион. Пока все наши поселения, подвергшиеся атакам арабских банд, выстояли, но оснований для оптимизма нет. Ты помнишь, что произошло в январе?

Миша кивнул. Два месяца назад феллахи устроили в Хевронских горах засаду и атаковали взвод Хаганы, состоявший из тридцати пяти бойцов, в основном студентов Иерусалимского университета. Взвод спешил на помощь осажденному кибуцу Кфар-Эцион. Все бойцы погибли. Эта трагедия потрясла тогда всех. В Эрец-Исраэль не было еврея, который не знал бы хоть одну из осиротевших семей. Знал и Миша нескольких парней, погибших в Хевронских горах…

Ядин продолжал:

— Гуш-Эцион отрезан, а значит обречен. И страшнее всего то, что мы бессильны им помочь… Нужны оружие и люди. Ни того, ни другого у нас нет. Нам удалось закупить крупную партию вооружения в Чехословакии, но потребуется несколько недель, чтобы доставить его сюда. Да и людские ресурсы у нас крайне ограничены. А Старик не устает повторять, что вскоре нам предстоит война с регулярными армиями всех арабских стран.

— Продержится ли Гуш-Эцион те несколько недель, о которых ты говоришь? — задал Миша тревоживший его вопрос.

— Не знаю, — просто ответил Ядин. — Я и вызвал тебя для того, чтобы ты совершил несколько патрульных полетов над этим районом и доложил нам обстановку. Сведения оттуда поступают

неутешительные. Раньше в районе Хеврона действовали банды неорганизованные, как броуновское движение.

Миша улыбнулся: Ядин любил щегольнуть образованностью.

— Теперь все изменилось. У арабов появился вождь. Энергичный, целеустремленный. Племянник иерусалимского муфтия.

— Абд эль-Кадер эль-Хусейни?

— Да. Он поклялся смести с лица земли все еврейские поселения. И можно не сомневаться, что это не пустая угроза. Слушай, Миша, — оживился Ядин, — мы кое-что знаем о привычках этого человека. Эль-Хусейни — щеголь. Одевается по-европейски. И, что самое главное, всегда ездит в джипе с белым капотом. Если ты вдруг увидишь такой джип…

— Я прыгну на него. Все мое оружие — старый «парабеллум» с двумя обоймами. Дай мне пулемет или хоть несколько гранат.

— Нету, — сказал Ядин и усмехнулся. Мишу раздражала и восхищала манера этого человека смеяться над тем, что у него ничего нет.

Миша вернулся на аэродром.

— Шмуэль, — позвал он механика, копавшегося во внутренностях небольшого «тейлор-крафта». Грузный человек лет пятидесяти поднял перепачканное маслом лицо. — Что с двухместным «пайпером»?

— Готов к полету.

Миша зашел в свой барак и взял «парабеллум». Вбил в него обойму. Запасную сунул в карман.

— Миша, — окликнул его знакомый голос.

На пороге стоял худой мускулистый парень с тонкими чертами лица. Миша ценил этого человека, восхищался им. Оба они считались лучшими летчиками в Эрец-Исраэль, но не особенно этим гордились — летчиков было тогда так мало…

— Куда ты собрался с этой пушкой? Не на дуэль ли? Тогда возьми меня в секунданты.

— Лечу в район Гуш-Эцион. А что касается дуэли, то, может, она и состоится. Слышал про белый джип Эль-Хусейни?

— Я лечу с тобой, — решительно сказал Вейцман.

— Вдвоем веселее.

«Пайпер» легко оторвался от земли. Побывав в руках Шмуэля, старый самолет обрел вторую молодость. Эзер пилотировал. Миша держал на коленях свой «парабеллум». Почему-то он был уверен, что именно сегодня они встретят Абда эль-Кадера эль-Хусейни.

А вот и Гуш-Эцион. Сверху видны белые домики всех четырех еврейских поселений, похожие на сбившихся в кучу овец. На всех

дорогах и тропинках, ведущих в Гуш-Эцион, пенилось белыми барашками людское море. Арабы шли нескончаемым потоком с ружьями и ножами в руках. Кое-где черными пятнами бросались в глаза грузовики и телеги. Миша подумал о немногочисленных защитниках Гуш-Эциона — и у него сжалось сердце…

Арабы, услышав гудение самолета, подняли головы. Раздалось несколько одиночных выстрелов.

— Стрелки, мать их… — засмеялся Вейцман, но сразу же его голос прервался: — Смотри, Миша, смотри. Вот он, белый джип. Эль-Хусейни!

И Миша увидел джип с белым капотом, подпрыгивающий на ухабах петлистой боковой дороги, то исчезающий, то вновь появляющийся среди нависающих с обеих сторон скальных выступов. Кое-где виднелись болезненно изломанные, черные, похожие на тарантулов «Иудины» деревья.

Вейцман перешел на бреющий. Самолет несся над джипом, почти касаясь его капота своими шасси. Джип увеличил скорость. Видно, водитель понял, что происходит. Миша поднял колпак кабины. Высунул руку с «парабеллумом», стараясь найти упор, чтобы она не дрожала.

— Левее, Эзер, левее, — попросил он чужим голосом. Ведомый опытной рукой, самолет держался рядом с джипом, как на привязи.

Миша разрядил «парабеллум». Несколько фонтанчиков пыли взметнулись у дороги.

— Мимо! — простонал Миша.

— Дай мне, — сказал Вейцман.

Миша перехватил управление. Вейцман взял у него с колен пистолет и запасную обойму. Миша спикировал прямо на белый капот. Вейцман, наполовину высунувшись из кабины, протянул длинную руку и, почти касаясь дулом брезента, выпустил всю обойму. Как раз в это мгновение джип вильнул в сторону — и застыл.

— Попал?! — крикнул Миша.

Вейцман пожал плечами. Они сделали еще один разворот, глядя на джип с любопытством, смешанным с ненавистью. Патронов больше не было. Со всех сторон, что-то крича, бежали арабы. Поднялась беспорядочная стрельба. Кончался бензин. С унизительной беспомощностью увидели они, как джип медленно тронулся с места и исчез за поворотом…

Выслушав их рассказ, Ядин схватился за голову.

— Упустили, — почти простонал он.

— Нам бы хоть одну гранату, — сказал Миша.

Вейцман произнес:

— Странно, но мне казалось, что Эль-Хусейни умрет. Я видел смерть, витавшую над этим джипом…

Чутье не подвело Вейцмана. Спустя несколько недель, в самый разгар битвы за Иерусалим, Эль-Хусейни был убит.

…Арабы понимали, что пока евреи удерживают Кастель, крепость на вершине горы, по которой целых пять километров вьется серпантином единственное ведущее в Иерусалим шоссе, им не овладеть городом.

Иерусалимский муфтий приказал племяннику взять Кастель любой ценой.

По призыву Эль-Хусейни к нему отовсюду стали стекаться толпы арабов. Ночью он сам повел их на штурм еврейской твердыни. Арабы упрямо ползли вверх, прячась за валунами. Бойцы Пальмаха встретили их пулеметным огнем и гранатами. Атака захлебнулась. Лишь трое арабов прорвались на территорию Кастеля. Часовой заметил их уже у самого штаба — и открыл огонь. Одному из нападавших пуля пробила сердце. Двое других скрылись в темноте.

Утром пальмаховцы обыскали тело погибшего. И обнаружили документы на имя Абда эль-Кадера эль-Хусейни.

Погиб один из наиболее опасных врагов возрождающегося Израиля.

* * *

В мае, уже после провозглашения независимости, Моти Алон, Эзер Вейцман и еще несколько пилотов отправились в Чехословакию, чтобы доставить в страну приобретенные там «мессершмитты». В целях конспирации их называли «ножи».

Когда «ножи» находились уже на пути к тель-авивскому аэродрому, Алон передал по рации: «Внимание! Внизу моторизованная колонна противника».

Колонна эта, включающая танки и бронетранспортеры, змееобразно растянулась на шоссе вблизи Ашдода. Египтяне открыли заградительный огонь. «Мессершмитт» Вейцмана встряхнуло взрывной волной, несколько осколков впились в борт, как в человеческое тело. Вейцман ввел самолет в пике, поливая разбегающихся египтян пулеметным огнем. Он видел, как «мессершмитт», ведомый его товарищем Эли Коэном, падучей звездой устремился вниз…

Это была первая воздушная атака евреев за всю историю авиации.

В конце войны Вейцман участвовал в воздушном бою над

Синаем, в котором четыре еврейских самолета сбили пять «спитфайеров».

В апреле 1949 года погиб Моти Алон, и Вейцман стал командиром единственной эскадрильи израильских ВВС. С течением времени под командование Вейцмана стали поступать летчики уже «израильского производства».

Их командир знал все о каждом из них. «Мы — одна семья», — говорил он, и его подчиненные знали, что это не пустые слова.

— Умирать следует лишь за то, ради чего стоит жить, — учил их Вейцман. — Но помните, что в любом случае ваши шансы выжить зависят от степени вашего профессионализма…

* * *

Шли годы. Вейцман женился на Реуме Шварц — дочери иерусалимского адвоката, сестре Рут Даян. Реума, женщина не только обаятельная, но и одаренная, в пятидесятые годы выиграла конкурс газеты «Маарив» на лучший очерк. Ей предложили штатное место в газете, но Реума отказалась от личной карьеры.

— Я всего лишь жена пилота, — сказала она редактору «Маарива», — и все мои амбиции направлены только на то, чтобы быть хорошей женой.

Кстати, очерк ее так и назывался: «Жена пилота». Сам пилот как-то признался, что с браком ему повезло даже больше, чем с карьерой.

Впрочем, воздавая жене должное, Вейцман себя идеальным мужем отнюдь не считал, хотя как семьянин выгодно отличался от своего нового родственника — Моше Даяна с его донжуанской репутацией.

В 1951 году Вейцман был командирован на учебу в английскую Королевскую военно-воздушную академию. С ним вместе учился капитан египетских ВВС, красивый человек, которому очень шла форма. Вейцман часто ощущал на себе его внимательный взгляд, но старался держаться подальше, не желая навязывать свое общество человеку, которому это может быть неприятно.

Однажды после лекции египетский летчик сам подошел к нему.

— Гамаль Афифи, — представился он. — В последнюю войну я семь раз совершал налеты на ваши базы.

— Мне тоже есть чем похвастаться, — усмехнулся Вейцман.

Афифи предложил отметить знакомство. Уже в баре Вейцман поинтересовался, не повредит ли этот контакт репутации египетского офицера.

— Я скажу, что пытался завербовать вас, — ответил Афифи и засмеялся.

После Синайской кампании Вейцман попросил египетского летчика, возвращавшегося из плена на родину:

— Передайте мой привет полковнику Афифи и скажите ему, что египетский следователь пытал нашего пленного пилота. Я уверен, что полковник не осведомлен об этом…

Спустя полгода один из западных дипломатов, прибывший в Израиль из Египта, не без удивления сказал Вейцману:

— Некий полковник Афифи просил передать вам всего одну фразу: «Мерзавец наказан».

Во время Синайской кампании бригадный генерал Вейцман был начальником центральной базы ВВС. Его обязанности заключались в том, чтобы из кабинета координировать действия своих летчиков. Но каждое утро он исчезал на час-полтора, оставляя инструкции укоризненно покачивавшему головой заместителю.

Вейцман поднимал в воздух свой «ураган» и направлял его в сторону Синая. Одинокий флибустьер искал добычу.

31 октября 1956 года Вейцман с высоты в полторы тысячи метров обнаружил под Эль-Аришем беглецов разбитой египетской армии — и разметал их пулеметным огнем.

Он любил ощущение мощи, возникающее в кабине истребителя, когда человек, слитый в единое целое с великолепной машиной, превращается как бы в живую молнию.

В середине 1958 года Вейцман стал третьим командующим израильских ВВС.

Вскоре нового хозяина боевой авиации принял Бен-Гурион.

— Эзер, — сказал Старик, — я прочитал твой рапорт. Потрудись более подробно изложить свои соображения.

— Господин премьер-министр, — начал Вейцман, — следующая война будет молниеносной. Израилю потребуются считанные часы для того, чтобы добиться решающего стратегического перевеса, уничтожив ВВС противника еще на земле.

Бен-Гурион сидел, полузакрыв глаза. Казалось, он дремлет. Но Вейцман знал, что Старик внимательно слушает.

Вейцман продолжал:

— Чтобы достичь этого, наши ВВС нанесут превентивный удар, а затем обеспечат оперативный простор армии благодаря превосходству в воздухе. Эти задачи могут быть достигнуты лишь

в том случае, если наши пилоты будут профессионалами высшего класса. За это я ручаюсь.

Но есть и второе условие, выполнить которое, на мой взгляд, труднее. Как лучшие музыканты играют на скрипках Страдивари, так и мы должны добиться, чтобы наши асы летали на лучших самолетах. Об этом необходимо заботиться постоянно, потому что технология все время развивается.

— Ну и какие же самолеты ты хотел бы приобрести для нашей авиации? — подытожил Бен-Гурион.

— «Миражи», — не задумываясь, ответил Вейцман.

Уже в начале 1959 года Израиль получил первую партию этих великолепных машин.

Целых восемь лет пробыл Вейцман на посту командующего ВВС, и за это время они стали неузнаваемыми. В 1966 году Вейцман сказал, передавая командование своему ученику Мордехаю Ходу:

— Я относился к своим обязанностям, как садовник. Возможно, мне и приходилось иногда вместе с сорняками вырывать хорошие цветы, но в целом думаю, что могу гордиться результатами.

* * *

После Шестидневной войны Вейцман прослужил на посту начальника оперативного отдела генштаба еще два с половиной года, а потом, поняв, что ему все равно не получить «маршальский жезл», подал в отставку. И тут он удивил многих, присоединившись не к правящей партии, а к той, которая находилась в оппозиции уже более двадцати лет.

В Херуте Вейцмана встретили с распростертыми объятиями. С места в карьер он был введен в существовавшее еще с Шестидневной войны правительство национального единства. Вейцман получил портфель министра транспорта.

По проложенной им тропе и другие отставные генералы потянулись в Херут.

— Да они становятся милитаристами, — сказал Шимон Перес о своих политических противниках. — Если Херут когда-нибудь придет к власти, то у нас будет хунта.

Тем временем началась Война на истощение, принесшая горе в дом Вейцманов.

В июле 1970 года Вейцману позвонил начальник генштаба Хаим Бар-Лев.

— Эзер, — сказал он и замолчал. У Вейцмана потемнело в

глазах.

— Шауль убит? — спросил он тихо.

— Нет, нет, — поспешно произнес Бар-Лев. — Шауль ранен. Врачи ручаются за его жизнь…

Шауль получил осколочное ранение в голову. Очень тяжелое. Несколько операций, сделанных лучшими нейрохирургами, спасли ему жизнь, но не вернули здоровья. Шауля изводили жесточайшие приступы головных болей и черной меланхолии. Отметившая его смерть маячила где-то поблизости, и через несколько лет он погиб в автомобильной катастрофе.

После ранения сына Вейцман сдал, постарел. А тут еще Бегин, которому не понравились условия прекращения огня с Египтом, вышел из коалиционного кабинета.

Вейцману пришлось последовать за вождем. Наступило утро, когда он сказал жене:

— Реума, мне всегда не хватало часов в сутках. А сегодня некуда спешить. Нечего делать. Да и телефон не звонит. Это так странно…

Правда, одна должность у Вейцмана осталась. Он был избран председателем правления Херута и с присущей ему энергией взялся за работу.

Но в каком же непривычном для себя мире он вдруг оказался! Раньше Вейцман распоряжался чужими жизнями и бюджетом в сотни миллионов. Его окружали преданные боевые товарищи, которых он любил, как собственную семью.

Теперь же ему пришлось заниматься партийными дрязгами, утверждать бюджет в 7 тысяч шекелей для филиала Херута в Димоне, а вокруг него толпились люди с такими куцыми интересами, что Вейцман просто диву давался.

Он попробовал влить свежую кровь в партийные жилы, но потерпел неудачу из-за сопротивления партийного аппарата, не желавшего никаких перемен.

Вейцман прекратил расчистку авгиевых партийных конюшен и занялся импортом в страну японских автомобилей. Бизнес шел неплохо, но он чувствовал смутную неудовлетворенность.

Теперь Вейцман «работал» Кассандрой. Предупреждал и предсказывал. Все сбывалось. Но ему никто не верил. Вейцман не только предсказал Войну Судного дня, но и предвидел ее ход. Когда же война вспыхнула, испытал унизительное чувство беспомощности. У него не было должности в резервных войсках, и он остался не у дел. С огромным трудом добился Вейцман поста советника при начальнике генерального штаба. Он находился рядом с Давидом Элазаром на Голанах и в Синае в дни решающих сражений. Принимал участие в оперативных летучках генштаба.

Но к его мнению прислушивались редко и неохотно. Старшее поколение его уже забыло, а младшее не знало.

Вейцман был разочарован своим более чем скромным вкладом в победу.

— Ты знаешь, кем я был на фронте? — спросил он жену.

— Советником главнокомандующего, — ответила Реума.

— Ошибаешься. Его пепельницей.

Вейцману даже не потрудились вручить знак участника войны. Прислали по почте…

* * *

Отношения Вейцмана с Бегином изначально носили весьма специфический характер. Вейцман называл Бегина своим командиром, потому что еще в 1946 году вступил в его организацию. Но вскоре Вейцман уехал в Англию, а вернувшись, предпочел Хагану.

Не будучи особым поклонником Жаботинского, Вейцман тем не менее в 50-е годы считался самым правым из всех перспективных израильских офицеров. Он ратовал за целостный и неделимый Израиль, за освобождение национальных святынь.

В 1969 году, едва успев снять мундир, Вейцман вступил в Херут, где сразу же оказался на первых ролях. Бегин морщился от столь нездорового ажиотажа, но и его захватил энтузиазм, с которым лидеры партии встретили популярного генерала. Начался короткий «медовый месяц» в их отношениях. При встречах они обнимались и таяли в комплиментах.

— Командир! — вытягивался Вейцман по стойке «смирно».

— Мой генерал, — расплывался в радостной улыбке Бегин. Он даже сказал однажды, что счастлив народ, порождающий столь доблестных мужей, как Вейцман.

Подобная идиллия не могла продолжаться долго. Вейцман, обожавший противоречия, излучавший то тепло, то холод, темпераментный, подвижный, как ртутный шарик, азартный и расчетливый, нарушавший правила любой игры в своем стремлении к предельной независимости, не мог не шокировать вождя, привыкшего к абсолютному повиновению.

Вейцман голосовал против предложений Бегина в правительстве, открыто вступал с ним в дискуссии, а в 1970 году, когда правительство национального единства распалось, с энтузиазмом взялся за обновление партийного аппарата.

— Да он нас всех отправит на мусорную свалку, — ужасался Бегин.

Вейцман же, наткнувшись в своем реформаторском рвении на сопротивление партийных «священных коров», не скрывал раздражения.

Однажды он встретил в туалете кнессета Игаля Алона.

— Ну, как дела в твоей партии? — поинтересовался Алон.

Вейцман широким жестом показал на писсуары:

— Вот моя партия!

Алон расхохотался.

Об этом курьезном случае он рассказал Пинхасу Сапиру и Исраэлю Галили.

Сапир, бывший тогда министром финансов, обожал интриги. В тот же день его полированная лысина замелькала по всем коридорам кнессета. Он искал Бегина — и нашел.

— Господин Бегин, — зашептал Сапир, щурясь от удовольствия. — Эзер такое о вас сказал…

— Что именно? — холодно поинтересовался Бегин, ценивший Сапира как финансиста, но не очень уважавший его как человека.

— Господин Бегин, я слишком вас уважаю, чтобы повторить вслух эту гадость. Спросите у Галили…

И Бегин, узнав эту историю от Галили, разобиделся, как ребенок.

— Эзер отзывается о нас всех казарменным языком, — пожаловался он своему секретарю Кадишаю.

Отношения между вождем и строптивым мушкетером совсем охладились. Вейцман сложил с себя полномочия председателя Херута и отошел от партийных дел.

Но в канун выборов 1977 года Бегин вновь призвал опального строптивца.

— Что случилось с моим генералом? — спросил он ласково.

— Я не хочу прийти к власти в семьдесят лет, — ответил Вейцман.

— Что ж, — усмехнулся Бегин, — от тебя будет многое зависеть. Ведь именно ты будешь руководить нашей предвыборной кампанией.

— Значит, я стану министром обороны в пятьдесят три года, — весело закончил Вейцман.

Искусно дирижируя предвыборной борьбой, он обеспечил победу правого лагеря. Бегин взошел на вершину власти после почти тридцатилетнего прозябания в оппозиции.

Осенью 1977 года Вейцман получил портфель министра обороны, как он и предвидел, в 53 года и стал одним из архитекторов Кэмп-Дэвидских соглашений.

В течение всего периода переговоров с Египтом Вейцман вместе с Даяном уговаривал, подбадривал, убеждал Бегина. И

Бегин этого не простил.

Ему казалось, что, если бы не Даян и не Вейцман, он не пошел бы в Кэмп-Дэвиде на столь болезненные для национального самолюбия уступки.

Вейцман же делал все для того, чтобы мир с Египтом превратился в подлинный мир. Он установил прочные личные связи с египетскими лидерами, регулярно посещал Каир и Александрию.

— Как жаль, что вы не египтянин, — сказал ему Садат с грустной улыбкой. — Когда меня убьют, приезжайте на мои похороны…

— Господь не допустит этого, — ответил Вейцман.

И ошибся.

Творцы великих перемен обычно быстро сходят с политической сцены. Им не прощают ломки, казалось бы, незыблемых устоев…

Недоброжелателей раздражала странная дружба Вейцмана с египетским президентом. Утверждали даже, что Садат видел в Вейцмане слабое звено в израильском руководстве и старался использовать его для давления на Бегина. Вейцман реагировал на эти обвинения непечатными словами.

За несколько дней до своего ухода он сказал на заседании партийного центра: «До чего мы докатились! Вместо того чтобы использовать мир с Египтом как мощный мотор, мы превратили его чуть ли не в национальную трагедию».

Кончилось тем, что Вейцман вернул Бегину портфель министра обороны.

Бегин не сожалел об этом.

Осенью 1989[1] года Вейцман был исключен из партии за резкую критику вождя и отошел от политической жизни.

С тех пор Вейцман и Бегин встретились лицом к лицу только один раз.

Произошло это на церемонии обрезания сына Моше Кацава — того самого, который со временем сменил Вейцмана на посту президента государства.

Опоздавший Бегин, увидев Вейцмана, с интересом наблюдавшего за ритуалом, подошел к нему. Они обменялись рукопожатием и несколькими банальными фразами.

— Ага! — смекнул заметивший это журналист. И тиснул статейку о том, что Вейцман, дескать, беседовал с Бегином о своем возвращении в Херут.

— Правда ли это, господин Вейцман? — разлетелись журналисты.

Шельмовская улыбка появилась на его губах.

— Я не вернусь в эту партию ни через обрезанную пипиську сына Моше Кацава, ни каким-либо другим более приличным способом, — оборвал он кривотолки.

* * *

Покинув большую политику, Вейцман делил свое время между роскошным офисом в Тель-Авиве и виллой в Кейсарии, где написал книгу «Битва за мир».

Ему предлагали кафедру в университете — он отклонил лестное предложение. Его уговаривали совершить лекционное турне по Соединенным Штатам — он отказался. «Да ты что, — изумлялись друзья, — как можно отказываться от пяти тысяч долларов за лекцию?»

— Нет, — твердо отвечал Вейцман. — Я не поеду разъяснять политику этого правительства. Ругать его в Америке мне не пристало, а хвалить — не могу.

Ему и без Америки приходилось много разъезжать. И по делам бизнеса, и чтобы рекламировать свою книгу, содержащую описание событий, предопределивших установление мира с Египтом.

Но все-таки бывший министр обороны, человек, привыкший к совсем иному ритму жизни, старый политический дуэлянт, не мог не чувствовать внутренней пустоты, утратив привычное поле деятельности.

То ли чувство какой-то внутренней неловкости, то ли смутная, не осознанная им самим надежда на возвращение в партию, которой он все же отдал часть души, долго удерживали Вейцмана, не позволяли ему обнажить шпагу против вчерашних соратников.

* * *

Час Вейцмана настал осенью 1984 года. Созданное им движение Яхад, крошечное суденышко, утлое, но управляемое твердой рукой, вышло в бурное море большой политики. Яхад — это Вейцман. Нельзя же всерьез называть движением нескольких мушкетеров, обнаживших шпаги и сомкнувшихся вокруг своего капитана.

И произошло чудо. Имя Вейцмана возымело магическое действие. Вопреки всем прогнозам, Яхад получил целых три мандата. Когда же выяснилось, что Ликуд и Маарах

финишировали, что называется, голова к голове, все козыри оказались на руках у Вейцмана.

И тогда на виллу Вейцмана в Кейсарии нагрянул Ариэль Шарон.

Вейцман иногда морщился от его грубоватой прямолинейности, но ему импонировали стратегические способности и непоколебимое упорство этого человека. В молодости они были друзьями.

— Чему я обязан такой честью? — спросил Вейцман нежданного гостя.

— Разве я не могу просто так навестить старого товарища? — ответил Арик, целуя руку Реумы.

— Этому ты научился у Бегина? — засмеялся Вейцман.

Когда они остались наедине, Шарон сразу стал серьезным.

— Эзер, — сказал он, — меня прислал Шамир. Твое место с нами, в Ликуде. Бегина уже нет, а с Шамиром ты всегда ладил.

— Что он просил передать? — Задавая этот вопрос, Вейцман уже знал ответ.

— Шамир сказал, что если мы с твоей помощью заблокируем левый блок, то можешь рассчитывать на любой министерский портфель. Более того, Шамир согласен, чтобы ты стал его заместителем и в правительстве, и в партии. Это твой шанс, Эзер. Ну, что скажешь? Вспомни, что Ликуд — это ведь твой дом.

Вейцман долго молчал. Потом поднял глаза.

— Значит, Шамир ждет возвращения блудного сына? Скажи ему, что я подумаю, — произнес он и перевел разговор на другую тему.

«Этот интриган, кажется, недоволен, — подумал Шарон, уходя. — Перес ведь не предложит ему большего. Так чего же он хочет, черт возьми?»

Когда Арик ушел, Вейцман сказал жене:

— Эти люди ведут себя, как дети, у которых отбирают любимую игрушку. Они не понимают, что внутриполитические распри губительны для страны.

Перес нетерпеливо ждал звонка Вейцмана. Изнуренный событиями последних дней, как-то сразу потускневший, он думал о несправедливости судьбы. Он так верил в победу. Так ждал ее. И вот она ускользнула в самый последний момент. Перес понимал, что лишь с помощью Вейцмана он сможет добиться сформирования кабинета национального единства.

А если Эзер поладит с Шамиром?

Об этой возможности Пересу даже думать не хотелось.

Раздался долгожданный звонок. Перес бросился к телефонной трубке.

— Шимон, — сказал Вейцман, — я решил идти с тобой и хочу, чтобы все формальности закончились как можно быстрее.

На следующий день, когда они встретились для обсуждения коалиционного соглашения, Перес с тревогой сказал: «Эзер, ты будешь играть важную роль в моем узком кабинете, но у меня нет для тебя министерского портфеля. Конечно, если ты будешь настаивать, мы что-нибудь придумаем…»

Перес, по-видимому, ожидал, что Вейцман начнет торговаться, ставить условия.

— Шимон, — засмеялся Вейцман, — если бы я гнался за портфелями, то в Ликуде получил бы целых три.

В правительстве национального единства Эзер Вейцман стал министром без портфеля…

* * *

Вейцман — единственный влиятельный израильский политик, открыто выступавший за переговоры с ООП. Он говорил о неизбежности этого еще в те времена, когда не только Шамиру, но даже Рабину с Пересом подобная мысль и в голову не могла прийти.

Шамир не понимал столь не похожего на него человека, вызывавшего раздражение и беспокойство, и терялся в догадках, пытаясь разгадать мотивы его действий.

Все знали, что у Вейцмана свои налаженные каналы связи с палестинцами еще с тех пор, когда он вел с ними переговоры об автономии.

Разумеется, Шамир не считал Вейцмана способным на предательство. Но слишком уж велик был соблазн рассчитаться с человеком, впрягшим Ликуд в одну упряжку с ненавистным социалистическим блоком…

Ни облачка не было на политическом небосклоне, когда правительство собралось на свое последнее заседание в уходящем 1989 году. Как обычно, премьер-министр выступал первым. Шамир встал и монотонным голосом начал зачитывать заранее заготовленное заявление.

Побледнел Перес, единственный, кто знал, какая бомба сейчас взорвется.

Растеряно переглянулись министры. А Шамир читал:

«Я располагаю неопровержимыми доказательствами, свидетельствующими о том, что министр Эзер Вейцман вступал в прямые и косвенные контакты с ООП на самом высоком уровне, как путем личных встреч с руководящими деятелями этой

организации в европейских столицах, так и посредством посланий, которые он отправлял им при каждом удобном случае. Поскольку действия Вейцмана представляют собой прямое нарушение закона и идут вразрез с официальной политикой правительства, у меня нет иного выхода, кроме увольнения министра, не считающегося ни с законом, ни с решениями кабинета, членом которого он является».

Взгляды всех обратились в сторону Вейцмана.

Лишь беспомощное движение руки, поправившей галстук, выдало его волнение.

Вейцман спокойно сказал: «Все, что я делал и делаю, направлено на благо государства».

На следующий день министры от левого блока собрались на экстренное совещание. На горизонте замаячил правительственный кризис. Поднялся министр обороны Ицхак Рабин. Все знали, что сейчас в его руках находится политическая судьба Вейцмана и будущее кабинета национального единства.

Несколько секунд Рабин пристально смотрел на человека, которого ценил и ненавидел.

— Какого черта ты прешь на рожон? — сказал он наконец. — У Шамира на руках все козыри. Ты нарушил закон, и он вправе тебя уволить. Так что же, из-за тебя мы преподнесем народу такой новогодний подарок, как правительственный кризис?

Рабин сделал эффектную паузу и произнес заготовленную фразу:

— Твое счастье, что мы не оставляем раненых на поле боя.

Вейцман улыбнулся с видимым облегчением. Он не любил Рабина, но с течением времени научился отдавать ему должное.

Рабин пошел к Шамиру, а Рабину обычно не отказывали, если он чего-нибудь просил. Рабин вообще крайне редко выступал в роли просителя. И Шамир уступил. Вейцман сохранил министерский портфель. Впрочем, вскоре он и вовсе отошел от политической деятельности.

— Спасибо, Ицхак, — сказал он Рабину. — Я вижу, что ты научился наконец не руководствоваться эмоциями в своих поступках.

Триумф и трагедия Менахема Бегина

28 августа 1983 года рабочий день в канцелярии Бегина начался, как обычно, ровно в восемь. Еще рано, но мостовые уже дышат зноем, и все уже на своих местах. Педантичный премьер-министр не выносит расхлябанности. Ровно в восемь у ворот застывает правительственный автомобиль. Телохранитель распахивает дверцу, и премьер-министр, поздоровавшись с охранником у входа, идет в свой кабинет, тяжело прихрамывая. Секретарь Бегина Ехиэль Кадишай уже ждет босса, просматривая бумаги.

— Добрый день, — говорит он с улыбкой.

Бегин хмуро кивает и садится в кресло, осторожно вытягивая больную ногу.

— Сегодня у нас на повестке дня… — начинает Кадишай, но Бегин жестом прерывает его.

— Ехиэль, — говорит он хриплым голосом, и Кадишай застывает, как охотничий пес, почуявший дичь, — я больше не могу… Сегодня я намерен довести это до всеобщего сведения.

Кадишай, сдерживая слезы, смотрит на премьер-министра. Сказанное им не явилось для него неожиданностью. Вот уже несколько месяцев Кадишай знает, как тяжело дается Бегину каждый прожитый день. На его глазах тает это тощее тело. И Кадишай молчит.

Молчит и Бегин. Впавшие щеки еще больше обострили черты его лица, а желтая кожа, изборожденная морщинами, напоминает пергамент с надписями на непонятном языке. Кадишай и не пытается отговаривать премьер-министра. Он понимает, что это бесполезно.

Заседание кабинета назначено на девять, и директор канцелярии премьер-министра Мати Шмилевич спешит в зал. Бегин не любит опозданий. В коридоре он сталкивается с Кадишаем. «Это будет еще один длинный и нудный экономический марафон», — говорит Шмилевич.

Кадишай грустно улыбается: «Нет, Мати, заседание будет коротким».

В зале уже собрались все министры. Бегин сидит на своем месте, поджав губы, сурово поблескивая стеклами очков. Еще угрюмее стало его лицо, он как бы совсем ушел в себя, но никто из министров не догадывается, что творится в его душе. Бегин терпеливо ждет, пока будет исчерпана повестка дня.

Значит, так: вывод израильских войск из Ливана задерживается из-за разногласий между министром обороны

Моше Аренсом и его предшественником Ариэлем Шароном. Министры высказывают свои соображения по этому поводу. Министр иностранных дел докладывает о визите президента Либерии и о последних новостях из Вашингтона. Остается обсудить экономические проблемы.

Но тут Бегин нарушает молчание.

— Господа, — говорит он и поднимается. — Позвольте мне сделать личное заявление.

Голос Бегина спокоен, но министры шестым чувством понимают, что сейчас произойдет нечто ужасное, может быть, непоправимое.

Бегин продолжает:

— Мне бы очень хотелось, чтобы вы меня поняли и простили. Коллеги и друзья, я специально пришел сегодня сюда, чтобы сообщить вам о своем решении уйти из политической жизни.

Сдавленный стон пронесся по залу, и Бегин, предупреждая спонтанный взрыв протеста, возвышает голос:

— Друзья мои, поймите меня. Я больше не в силах нести это бремя.

Начинается столпотворение. Члены кабинета окружают Бегина. Они просят, требуют, умоляют, предупреждают. Давид Леви петушком наскакивает на Бегина, ловит его за руку.

— Господин премьер-министр, — кричит он, — пройдись по городам и поселениям. Загляни даже в социалистические кибуцы. Всюду любят тебя. Не оставляй нас. Тебя чтит весь Израиль. Ты его надежда.

Ицхака Шамира душат слезы. В его прерывающемся голосе чувствуется подлинное отчаяние.

— Господин премьер-министр, — говорит он, — здесь собрались люди, готовые жизнь отдать за тебя. Они шли за тобой в огонь и в воду. Это с ними ты прошел долгий, славный и трудный путь. Окажись от своего намерения ради них…

Но Бегин непреклонен. Эпоха, продолжавшаяся сорок лет, кончилась.

* * *

Сорок лет Бегин был доминирующей личностью — сначала в подполье, потом в своей партии, в государстве, в кнессете, в правительстве. Он обладал непререкаемым авторитетом. В своем движении он был первым и единственным. Бен-Гуриону и не снилось такое преклонение в Рабочей партии, каким Бегин пользовался в Херуте. Ни Бен-Гурион, ни Бегин не позаботились о

наследниках. Но если у Бен-Гуриона были соратники, то Бегин был обречен на одинокое стояние. И от крупности. И потому, что индивидуальные качества вождя сказывались на окружении.

Лишь последователи были у него. На некоторых из них Бегин задерживал задумчивый взгляд. Выделял их, относился к ним с благожелательной и тиранической снисходительностью. Так скульптор взирает на мраморную глыбу, скрывающую прекрасную статую, которую еще предстоит извлечь. Но вот этого-то и не удавалось. И тогда Бегин безжалостно разбивал мрамор и выбрасывал обломки.

Такая судьба постигала каждого потенциального лидера, могущего со временем заменить бессменного капитана. Ари Жаботинский, Эзер Вейцман, Шмуэль Тамир — этот список можно и продолжить.

Уходя Бегин знал, что его наследником станет или Давид Леви, или Ицхак Шамир. Он все же дал понять, что предпочитает Шамира. Но это был выбор между Сциллой и Харибдой.

* * *

6 июня 1977 года. Резиденция президента. «Я поручаю формирование правительства члену кнессета Менахему Бегину», — объявил президент государства Эфраим Кацир. Бегин поблагодарил президента и, галантно склонившись, поцеловал руку г-же Кацир.

О его джентльменстве рассказывали легенды. Даже в несусветную жару он являлся в кнессет в элегантном костюме и в галстуке.

В день, когда кнессет распускался на летние каникулы и избранники нации с жеребячьим топотом спешили к своим машинам, лишь Бегин не торопился. Он шел поблагодарить персонал буфета за услуги, которыми пользовался в течение парламентской сессии. Одна из официанток вспоминает: «Когда он наклонялся, чтобы поцеловать мне руку, я чувствовала себя королевой».

И в этот счастливый для него день, пришедший после тридцатилетнего ожидания, Бегин не собирался менять своих привычек.

— Домой, — сказал он водителю, устало откидываясь на сиденье автомобиля. Машина остановилась в центре Тель-Авива, у старого дома с когда-то белыми, но давно уже пожелтевшими, как зубы заядлого курильщика, стенами. Здесь в небольшой двухкомнатной квартире почти 30 лет прожил Бегин с семьей:

женой Ализой, сыном и дочерью. Ализа встретила мужа на улице. Не одна, к сожалению. Вокруг толпились журналисты. Сверкали блицы фотокамер. Бегин едва успевал отвечать на вопросы. Этот триумфальный день оказался крайне утомительным. Бегин устал. Но разве мог он отправить ни с чем людей, собравшихся здесь ради него?

Ализа, улучив момент, сказала заботливо:

— Ты ведь еще не завтракал.

Бегин секунду смотрел на нее, словно не понимая, о чем речь. Потом спросил, указывая театральным жестом на двух своих телохранителей:

— А для них ты приготовила завтрак?

Ализа молча кивнула. Один из журналистов, не симпатизировавший, по-видимому, ни Бегину, ни его партии, громко произнес:

— Показуха.

Бегин, пропустив вперед телохранителей, вошел в дом.

Это не показуха. Подобное отношение к людям у Бегина в крови. Он усвоил его в раннем детстве, в доме своего отца в Брест-Литовске.

В интервью, опубликованном вскоре после прихода к власти в журнале «Ба-махане», Бегин рассказал: «Всем лучшим, что есть во мне, я обязан отцу и матери. Родился и вырос я в Брест-Литовске. Отец Зеэв-Дов Бегин был секретарем местной еврейской общины. Зарплата у отца была мизерная, семья остро нуждалась, и мы, дети, помогали родителям, как могли. Ни я, ни брат Герцль, ни сестра Рахель не гнушались любой работой.

Жили мы в антисемитском окружении, и гонений на нас было немало. Но чем сильнее теснила евреев ненависть, тем теплее и сердечней становилась их домашняя жизнь. Душой нашего очага была, конечно, мать Хася. Тонкая, деликатная, обладавшая врожденной интеллигентностью, она каждый вечер читала нам прелестные сказки. Мать всю душу отдавала детям.

Об отце разговор особый. Он весь был поглощен общественными делами, и его дом был всегда открыт для каждого еврея: зябнущий находил у нас тепло, голодный — накрытый стол. Мужество отца было просто поразительным. За всю мою жизнь не довелось мне встретить человека храбрее. А ведь судьба моя сложилась так, что смелые люди всегда окружали меня».

Однажды, когда Бегину было девять лет, в Брест-Литовск приехал маршал Юзеф Пилсудский. Надо быть поляком, чтобы понять, что значил в те времена для Польши этот человек, возродивший польскую государственность, разбивший орды большевиков под Варшавой, вернувший нации чувство

собственного достоинства.

Маршал недолюбливал евреев, но считал, что, как глава государства, он не имеет права руководствоваться личными эмоциями. В Брест-Литовске Пилсудский возжелал побеседовать с евреями, и достойнейшие из них, в том числе Зеэв-Дов Бегин, предстали перед «отцом отечества». Маршал был не в духе и, расхаживая по залу, раздраженно посматривал на своих бородатых подданных, составлявших тогда в Польше чуть ли не двадцать процентов населения.

Его короткая сухая речь свелась к тому, что евреи не должны заниматься гешефтами в ущерб государственной казне. «Я жду от вас лояльности и требую, чтобы вы сами выдавали властям спекулянтов и валютчиков из вашей среды. Мы раздавим червей, подтачивающих организм возрожденного польского государства», — закончил маршал.

Ему ответил Зеэв-Дов Бегин: «Мы не полицейские ищейки и не доносчики, и не нам заниматься такими делами. Вы не по адресу обратились, господин маршал».

Разозлившийся Пилсудский хотел что-то сказать, но, взглянув на этого невозмутимого еврея, осекся и махнул рукой.

В первые же месяцы войны немецкие войска заняли Брест-Литовск.

Хасю Бегин нацисты вытащили из больницы и убили на улице. Оставшиеся в Брест-Литовске евреи, в том числе отец и брат Бегина, были утоплены в Немане. Зеэв-Дов вселил в них мужество и повел на смерть. Он первым двинулся в Неман, рассекая волны подобно корпусу большого корабля, и шел до тех пор, пока вода не сомкнулась над его головой.

Бегин узнал о гибели семьи лишь через несколько лет, когда он, командир подпольной организации Эцель, скрывался в Эрец-Исраэль от английских сыщиков.

* * *

В Брест-Литовске Бегин закончил ивритскую гимназию, стал членом основанного Жаботинским движения Бейтар.

Жаботинский дал униженной и забитой еврейской молодежи Восточной Европы веру в то, что судьба нации находится в ее руках. Великий идеал поставил Жаботинский перед юношами и девушками из провинциальных еврейских местечек. Молодежь вступала в Бейтар десятками тысяч. Девизом Бейтара стали слова Жаботинского: «Одно знамя, одна цель, одно стремление и один идеал».

Жаботинский оставил систему политического анализа, которой и сегодня пользуются его ученики. «Бейтар, — вспоминал Бегин, — заключал в себе идею универсального сионизма. Я сразу понял, что это движение прокладывает путь к еврейскому государству. Благодаря Бейтару мы в рабстве стали свободными и вернулись на древнюю родину свободными людьми».

Друг юности Жаботинского Корней Чуковский на закате долгой своей жизни, когда он уже ничего не боялся, переписывался с жительницей Иерусалима Рахель Марголиной, присылавшей ему редкие книги и фотографии. В одном из писем Чуковский набросал портрет-характеристику молодого Жаботинского: «От всей личности Владимира Жаботинского шла какая-то духовная радиация, в нем было что-то от пушкинского Моцарта да, пожалуй, и от самого Пушкина. Рядом с ним я чувствовал себя невежей, бездарностью, меня восхищало в нем все: и его голос, и его смех, и его густые черные-черные волосы, свисавшие чубом над высоким лбом, и подбородок, выдававшийся вперед, что придавало ему вид задиры, бойца, драчуна… Я думаю, что даже враги его должны признать, что он всегда был светел душой, что он был грандиозно талантлив».

Чуковский и Бегин принадлежали к полярным мирам. Все разделяло их: культура, воспитание, мировоззрение. Но на Жаботинского они смотрели одними глазами.

Осенью 1930 года Жаботинский, человек Ренессанса, дарованный еврейскому народу в канун трагического перелома национальной судьбы, приехал в Брест-Литовск. Бегин, сопровождавший Жаботинского в лекционной поездке по Польше, ловил каждое слово учителя, но в ответ встречал лишь холодную сдержанность. Жаботинский сразу подметил основной недостаток Бегина — страсть к риторике.

— Твои слова — бенгальский огонь, — говорил он своему оруженосцу. — Избавляйся от красивостей.

В 1935 году Бегин закончил юридический факультет Варшавского университета. Заниматься юридической практикой ему не довелось, но приобретенные знания пригодились потом, когда пришлось разрабатывать формулировки Кэмп-Дэвидских соглашений.

В 1938 году, когда тень катастрофы уже надвигалась на европейское еврейство, Жаботинский созвал в Варшаве третий и последний всемирный съезд Бейтара, где Бегин и его единомышленники из Эрец-Исраэль — Ури Цви Гринберг, Аба Ахимеир и Авраам (Яир) Штерн — неожиданно выступили против вождя…

Жаботинский сидит в президиуме, спокойный,

невозмутимый, и слушает ораторов. Вот она, созданная им молодежь, которой он может гордиться. Почему же так горько?

Со всех сторон стекаются мрачные вести. Он знает, что вражеские полчища хотят уничтожить его народ. Он это предвидел. Разве не предупреждал он, что если еврейство не ликвидирует диаспору, то диаспора ликвидирует еврейство? Он по-прежнему верит, что еврейское государство будет создано еще при жизни нынешнего поколения, но произойдет это лишь после победы над нацизмом. Разве время сейчас всаживать нож в спину Британской империи?

А эти волчата жаждут крови. Они не видят леса за деревьями и хотят лишь одного: вцепиться в горло англичанам.

На трибуну поднимается Бегин.

«Этот молодой человек чрезвычайно самоуверен, — думает Жаботинский. — Цветовая гамма его мира ограничена. И эта страсть бряцать фразами…»

А Бегин уже говорит, обращаясь непосредственно к Жаботинскому:

— Мы уже сейчас должны освободить Эрец-Исраэль силой оружия. Я предлагаю внести этот пункт в устав организации.

Жаботинский тяжело поднимается и берет слово. Назвав выступление Бегина скрипом несмазанной двери, Жаботинский произносит:

— Мир, в котором мы живем, еще, слава Богу, не принадлежит разбойникам. Есть еще справедливость и закон. У мира еще есть совесть.

Бегин кричит, прерывая вождя:

— Как можно верить в совесть мира после Мюнхена?

В зале воцаряется тишина. Жаботинский понимает, что это вызов, и не медлит с ответным ударом. «Если ты не веришь в совесть мира, то пойди и утопись в Висле», — говорит он своему ученику.

На этом съезде молодые ревизионисты одержали победу над старым вождем, которому оставалось около двух лет жизни.

В начале 1939 года Жаботинский пригласил к себе Бегина и назначил его руководителем польского Бейтара, насчитывавшего свыше 70 тысяч членов.

Бегин сразу же начал создавать внутри Бейтара ячейки боевой организации Эцель, принявшие потом на себя тяжесть борьбы с англичанами в Эрец-Исраэль.

* * *

1 сентября 1939 года нацистские бронетанковые дивизии вторглись в Польшу. В день они проходили по 50–60 километров. «Блицкриг» в действии.

Бегин пытался что-то предпринять. Бейтаровцы ждали его распоряжений, но что он мог сделать? В последнюю минуту Бегин, Ализа, Исраэль Эльдад и Натан Елин-Мор покинули уже осажденную Варшаву и нашли убежище в Вильнюсе, принадлежавшем тогда Польше, но вскоре переданном советскими оккупантами в подарок независимой тогда еще Литве.

В Вильнюсе Бегин получил письмо бейтаровцев из Эрец-Исраэль, содержащее упреки за то, что он бежал из Варшавы, бросив на растерзание своих людей. «Капитан последним покидает тонущий корабль», — говорилось в этом письме, уязвившем Бегина в самое сердце.

Бегин созвал бейтаровцев, находившихся в Вильнюсе, и сообщил, что он немедленно возвращается назад в Варшаву.

— Да ты в своем ли уме? — спросил Натан Елин-Мор командира. — Тебя ведь пристрелят на границе. К тому же скажи мне, чем твоя гибель поможет оставшимся в Варшаве нашим людям?

В Варшаву Бегин не вернулся. Но это фатальное обстоятельство всю жизнь грузом лежало на его душе…

Прошло несколько месяцев, и советские танки раздавили независимость Литвы.

— Они не лучше Гитлера, — пробормотал Бегин, — как теперь добраться до Эрец-Исраэль?

Однажды, когда Бегин обедал в общественной столовой, к нему подбежал потрясенный бейтаровец.

— Менахем, — сказал он отдышавшись, — я всюду ищу тебя. Сегодня утром я слушал Би-би-си. В Нью-Йорке умер Жаботинский…

Бегин поехал в Каунас, где еще действовала синагога, и прочитал заупокойную молитву в память учителя.

Всего лишь год назад Бегин женился на Ализе. Это была печальная свадьба, омраченная предчувствием грядущих бед. Агенты НКВД глаз не сводили с «буржуазного националиста» и его окружения. Разве скроешься от недреманного ока? Бегин получил повестку с приказом явиться в 9 часов утра в комнату номер 23 вильнюсского горсовета. Поняв, что это ловушка, Бегин никуда не пошел. О дальнейших событиях рассказывает Исраэль Эльдад:

«Мы с Бегином играли в шахматы. Много лет спустя я спросил его: „Менахем, ты помнишь позицию? Слона ведь я должен был выиграть“. Стук в дверь оторвал нас от партии.

Вошли трое милиционеров. Один сказал: „Мы — наряд из прокуратуры. Это привод. Почему вы, гражданин Бегин, не явились по вызову?“

— Чушь все это, — усмехнулся „гражданин Бегин“. — В вильнюсском горсовете нет двадцать третьей комнаты. Вы ведь пришли меня арестовать, господа?

„Господа“ молчат…

— Ну хорошо, — продолжил Бегин, — я сейчас соберусь, а вы, будьте любезны, присаживайтесь к столу, выпейте чаю.

Бегин почистил ботинки, надел свой лучший костюм, повязал галстук.

— Я готов, — сказал он.

Милиционеры повели его к двери. Бегин остановил их.

— Проходите сначала вы, господа. Вы — мои гости, и я не могу позволить, чтобы вы вышли последними.

Дверь закрылась. Ализа сдержала слезы, а моя жена разрыдалась».

Бегин был обвинен в содействии антикоммунистическим силам (статья 58/8 УК РСФСР) и приговорен к восьми годам заключения. Его отправили в концентрационный лагерь на севере, на речке Печора. Этот период своей жизни Бегин описал сам в книге «Белые ночи». Освобожден он был в 1941 году в результате соглашения Сталина с польским эмигрантским правительством генерала Сикорского. Вступив в сформированную в России армию Андерса, Бегин вместе с ней благополучно прибыл в Эрец-Исраэль в начале 1943 года.

На конспиративной квартире в Иерусалиме его встретили Ализа и Эльдад.

«Тысячи евреев прибыли в страну с армией Андерса, — вспоминает Исраэль Эльдад. — Все они сбросили польскую форму и влились в ряды нашего национального движения.

— Менахем, — сказал я Бегину, — сбрось скорее свое хаки, а то тебя, чего доброго, еще угонят в Италию.

Последовал типично бегиновский ответ.

— Исраэль, — произнес он смущенно, — я ведь дал присягу. Я не могу дезертировать.

— Еще как можешь, — засмеялся я. — У тебя иная судьба. Ты будешь командиром Эцеля…»

* * *

Первого февраля 1944 года штаб подпольной Национальной военной организации Эцель выпустил обращение к еврейскому

народу в Эрец-Исраэль, призывающее к войне до конца против английского колониального режима. Перемирия, на котором так настаивал Жаботинский, больше не существовало. Восстание против англичан началось.

Эцель последовательно осуществлял план борьбы, разработанный Бегином. За его голову была назначена награда в 10 тысяч лир (фунтов) — сумма по тем временам весьма значительная. Немногие из врагов британской империи удостаивались такой чести. Английские сыщики и их еврейские осведомители (что греха таить, были и такие) с ног сбились, разыскивая командира подполья, но того словно поглотила земля.

Бегин же, получив фальшивые документы на имя адвоката Гальперина, жил с женой и детьми в небольшой квартире в Петах-Тикве. Элегантный, со вкусом одетый и, по-видимому, богатый джентльмен не вызывал никаких подозрений. Так продолжалось до тех пор, пока охраняющие командира люди-невидимки не обнаружили слежку за домом Гальперина.

Преуспевающий адвокат исчез. Вместо него в доме номер пять на улице Иегошуа Бен-Нун в Тель-Авиве появился скромный раввин Исраэль Сосовер, рассеянный молодой человек, всецело поглощенный изучением Торы.

Сотни операций против англичан и арабов провели бойцы Эцеля, влившиеся после провозглашения государства в ряды израильской армии.

Рядом сражались боевики из подпольной организации Лехи, отколовшейся от Эцеля еще в 1939 году.

Эцель была в первую очередь политической организацией, а Лехи — террористической. Но ни англичане, ни лидеры еврейского рабочего движения не видели никакого принципиального различия между ними.

6 ноября 1944 года боевики Лехи застрелили в Каире британского министра по делам колоний лорда Мойна. Бен-Гурион решил, что этот теракт — неплохой предлог для расправы с политическими соперниками. Начался так называемый «Сезон», период охоты членов бен-гурионовских организаций Хагана и Пальмах на бойцов Эцеля и Лехи. Они арестовывались, допрашивались, преследовались с такой яростью, словно были злейшими врагами еврейского народа.

15 членов штаба Эцеля, среди них Меридор и Ланкин, были выданы английской полиции. Ей же Еврейское агентство передало список 700 боевиков Лехи и Эцеля.

В самом начале «Сезона» к «раввину Сосоверу» пришел человек. Он был загримирован, и командир Эцеля не сразу узнал

его.

— Менахем, — сказал гость, — мы ждем твоего приказа. Видит Бог, они первыми подняли меч, и пусть их кровь падет на их головы.

— Нет, — ответил Бегин. — Мы не обратим оружия против евреев, и будь что будет.

Второй раз такое же нелегкое решение Бегину пришлось принимать уже после провозглашения государства, когда произошел эпизод с «Альталеной» — судном, приобретенным Эцелем в Соединенных Штатах и прибывшим к берегам Израиля с грузом оружия. Эцель к тому времени вышел из подполья. Его отряды влились в ряды созданной уже израильской армии на автономных началах. Единственные независимые формирования Эцеля сохранялись лишь в Иерусалиме.

На борту «Альталены» находилось 900 бойцов из ячеек этой организации в диаспоре, призванных Бегином на защиту государства. Бегин требовал одного: передачи части привезенного оружия бойцам Эцеля — в армии и в Иерусалиме.

Считая, что Бегин готовит путч с целью захвата власти, Старик в ультимативной форме потребовал немедленно сдать оружие Временному правительству. Бегин настолько возмутился, что даже потерял дар речи. Он взошел на борт корабля, мирно покачивавшегося на волнах, и направил его в тель-авивский порт.

Получив отрицательный ответ на свой демарш, Бен-Гурион велел открыть пальбу. Палуба судна была разбита, искромсана, опустошена, охвачена пламенем. Корабль мог взорваться в любую минуту. Бегин приказал приступить к эвакуации. Сам же остался на мостике до конца.

Вспомнил ли он фразу из полученного в Вильнюсе письма: «Капитан последним покидает тонущий корабль»?

На сей раз он был последним.

* * *

Годы шли, то стремительно, то лениво сменяя друг друга, а Бегин по-прежнему оставался бессменным лидером оппозиции. Его время стало измеряться парламентскими сессиями. Сотни раз он поднимался на трибуну кнессета, чтобы обрушить на находившихся у власти противников жар своего красноречия. Давид Бен-Гурион, Леви Эшколь, Голда Меир, Ицхак Рабин испытали на себе остроту его сарказма и язвительной иронии.

Бегин выработал свой стиль. Он говорил спокойно, негромко, монотонным голосом, делая паузы в эффектных местах, что

позволяло держать аудиторию в напряжении. Мастерством формулировок и искусством логического построения он овладел полностью. Теперь Жаботинский, пожалуй, не назвал бы его демагогом. Но учителя давно не было в живых.

Бегину пятьдесят лет. Пятьдесят пять. Шестьдесят. Дочь вышла замуж. Сын, Бени, давно закончил учебу, стал доктором геологии.

Бегин устал от бесконечного ожидания. Облысел. Начал горбиться. Черты его лица обострились. Он напоминал теперь печальную птицу, ковыляющую по жизни с подбитым крылом.

Смежил глаза его грозный политический противник Давид Бен-Гурион, и Бегин на миг почувствовал пустоту, которая обычно появляется, когда теряют близких людей.

Годами Бен-Гурион пытался сокрушить этого человека, вновь и вновь появляющегося перед ним подобно призраку летучего голландца, предвещающему несчастье, сеющему сомнение в правильности избранного пути. Даже внешне они были антиподами: где бы ни сошлись вода с огнем, стихия гневно шипит на стихию. Бен-Гурион даже имени Бегина не мог произнести и в кнессете обычно называл его «Человек, сидящий рядом с депутатом Бадером». Но именно Бегин, вошедший в канун Шестидневной войны в правительство национального единства, явился к Эшколю и потребовал передать в грозный для страны час всю полноту власти затворнику из Сдэ-Бокера.

Поля Бен-Гурион не разделяла отношения своего мужа к лидеру оппозиции. Ей нравился этот джентльмен, всегда приветствовавший ее при встречах с чисто польской галантной обходительностью. Не раз она, прерывая гневные тирады Бен-Гуриона, тихо, но упрямо говорила: «А все же Бегин — человек благородный».

С годами и ненависть Бен-Гуриона стала таять, как шапка ледника в лучах летнего солнца, что и нашло выражение в письме, посланном им своему давнему противнику в феврале 1969 года:

«Моя Поля была Вашей поклонницей. Я же всегда выступал — иногда очень жестко — против выбранного Вами пути. Я не сожалею об этом, потому что считал и считаю, что правда была на моей стороне. (Каждый человек может ошибаться, иногда даже не чувствуя этого.) Но личной неприязни я к Вам никогда не испытывал. В последние же годы, узнав вас ближе, я стал все больше ценить Вас к радости моей Поли. С уважением и признательностью. Давид Бен-Гурион».

29 лет в оппозиции. 29 лет… Бегин уже сам перестал верить, что его час когда-нибудь придет. Даже после Войны Судного дня,

до основания потрясшей все израильское общество, блок рабочих партий сумел удержаться у власти.

Его час пробил в июле 1977 года.

* * *

Летом 1977 года, вскоре после переворота, приведшего оппозиционный блок Ликуд к власти, лидер австрийских социалистов Бруно Крайский устроил в своем особняке ужин в излюбленном им стиле. Сидя во главе ломящегося от яств стола, Крайский, щурясь, как добродушный кот, неторопливо беседовал со своими гостями. Их было двое: член правления ООП Исам Сиртауи и один из левых израильских деятелей Арие Элиав. Израильтянин не скрывал своей озабоченности.

«Что теперь будет? — бормотал он, глядя перед собой остановившимся взором. — Бегин — это война, разруха. Конец всем нашим надеждам…» — «Успокойся, — мягко сказал Крайский. — Знаю я этих правых демагогов, рвущихся к власти, размахивая шовинистскими лозунгами. Но, оказавшись у руля, эти люди очень быстро приспосабливаются к реальной действительности и становятся прагматиками. Если кому-то и суждено заключить мир с арабами, так это Бегину».

«Венскому лису» не откажешь в проницательности.

История любит парадоксы. Этот давно уже ставший банальностью афоризм не раз подтверждался политическими реалиями.

Десятилетиями находившаяся у власти Рабочая партия, постоянно декларировавшая готовность к миру, вынуждена была вести кровопролитные войны. Мир же с самым влиятельным и сильным арабским государством суждено было заключить партии, окопавшейся на правом фланге политического истеблишмента, выступавшей за целостный и неделимый Израиль, известной своей граничащей с фанатизмом холодной и жесткой неуступчивостью.

Кто бы мог поверить, что Бегину удастся сделать то, что не удалось Бен-Гуриону?

На самом же деле, когда пробил исторический час, Бегин занимал идеальные позиции, позволившие ему с легкостью сделать шаг, какой и присниться не мог его предшественникам. Заключив мир с Египтом, Бегин выполнил программу своих идеологических противников, обезоружив тем самым всю левую оппозицию. Правые же, хоть и следили с тревогой за возросшим радикализмом Бегина, не могли выступить против своего вождя…

Это было удивительное мгновение. Оппозиция, как слева, так и справа, прекратила существование, развязав руки премьер-министру.

Когда Бегин, приветствуя в Иерусалиме президента Египта Анвара Садата, сказал в микрофон: «Нам не воевать больше. Кончилась эпоха кровопролитий», — он верил, что так и будет, что начался период великого примирения с арабским миром, в котором одиноким маленьким островом возвышается Израиль. Обнимая гостя, Бегин не знал, что еще очень долго никто из арабских лидеров не последует примеру Садата, что Египет не только не станет мостом между Израилем и другими арабскими странами, но и на длительный срок окажется на Ближнем Востоке в почти такой же изоляции, как и еврейское государство.

Мирный договор с Египтом выдержал, правда, испытание Ливанской войной, но стал для Каира обузой, надолго лишившей его лидирующего положения в арабском мире.

Бегин был вождем не им созданного движения и мог действовать лишь в рамках разработанной Жаботинским идеологической системы. В Кэмп-Дэвиде Бегин отказался от Синая, Ямита, синайской нефти, но он не хотел и не мог пожертвовать Иудеей и Самарией.

Синай не входил в идеологическую доктрину Жаботинского, и Бегин мог решать его судьбу, руководствуясь собственными взглядами, убеждениями и интуицией. Но он помнил завет учителя: «Никто не смеет посягнуть на наше право на Эрец-Исраэль, и, самое главное, да не посмеет еврейская рука коснуться его — оно свято и никто не вправе от него отречься».

Усвоив в юности идеологическое учение Жаботинского, Бегин был не в состоянии что-либо в нем изменить, не мог приспособить его к требованиям, продиктованным принципиально новыми политическими реалиями. Скрепя сердце согласился он на тот пункт в Кэмп-Дэвидских соглашениях, в котором говорилось о предоставлении автономии арабскому населению контролируемых территорий.

На самом же деле премьер-министр решил воспользоваться миром с Египтом, чтобы все силы бросить на борьбу за Иудею и Самарию.

Ливанская война замаячила на горизонте еще за три года и три месяца до того, как началась. Она стала неизбежной в тот день, когда за тысячи миль от израильской северной границы на зеленой лужайке перед Белым домом Бегин и Садат взошли на помост, украшенный национальными флагами двух государств. Только что они подписали соглашение о мире и обнялись, как братья, встретившиеся после долгой разлуки. На фоне маячила

физиономия Джимми Картера со знаменитой его улыбкой, к которой никто так и не смог привыкнуть.

Настал час триумфа Менахема Бегина. Мог ли он знать, что в подписанном им мире укрыт зародыш злосчастной войны, которая приведет к печальному концу его политическую карьеру? Многие израильтяне придавали подписанию мирного договора с Египтом почти такое же значение, что и провозглашению Давидом Бен-Гурионом еврейской государственной независимости.

Два человека сохранили самообладание среди массового энтузиазма и не поддались всеобщей эйфории: Моше Даян и Эзер Вейцман.

Они знали цену церемониям и декларациям и понимали, какую огромную работу предстоит совершить, прежде чем то, что написано на бумаге, станет необратимой реальностью. Они сразу поняли, что это будет далеко не легким делом.

Даян с тревогой следил, как у него постепенно отнимают все полномочия по устройству автономии. А ведь только в ней Даян видел прочную основу мира. Он полагал, что автономию нужно вводить без промедления, поскольку лишь она дает какую-то надежду на всеобъемлющее урегулирование. Даян считал, что Бегин намерен дать населению территорий совсем не ту автономию, о которой идет речь в Кэмп-Дэвидских соглашениях.

В прошлом Даян всегда отзывался о Бегине уважительно и корректно. Но, убедившись, что проблема автономии находится в тупике и что премьер-министр — последний, кто сожалеет об этом, Даян дал волю своему раздражению, правда, не открыто, а в конфиденциальных беседах.

Одному из своих друзей он сказал: «Бегину нельзя отказать в понимании истории. И вместе с тем я не могу считать его серьезным и глубоким государственным деятелем. Он находится в плену концепции, с которой ничто не сдвинет его ни на пядь. Даже реальность».

Острым своим глазом Даян разглядел то, что было скрыто тогда и от ближайшего окружения Бегина. Он понял, что премьер-министр намерен использовать мир с Египтом для достижения целей, прямо противоречащих тем, которые были провозглашены в Кэмп-Дэвиде.

Даян предпочел отставку. Несколько месяцев спустя и Эзер Вейцман почувствовал всю серьезность положения. В отличие от Даяна, оставшегося чужим в Ликуде, Вейцман находился в самой гуще партийной жизни, держал руку на пульсе движения. Он стал понимать, какая опасность грозит от совмещения несовместимого — Менахема Бегина и палестинского пункта Кэмп-Дэвидских

соглашений. Из всех государственных деятелей Израиля именно Бегину довелось подписать исторический документ, признающий не только существование палестинской нации, но и ее права. Зная, что Бегин никак не сможет совместить свои идеологические убеждения с тем, что ему пришлось поставить свою подпись под таким документом, Вейцман опасался взрыва. Более того, он его предвидел и предсказал с точностью, которой позавидовал бы и Нострадамус.

Почувствовав, куда клонится дело, Эзер Вейцман подал в отставку и сосредоточил свои усилия на импорте японских автомобилей. Внешне он предпочитал хранить молчание и не выступал против того, с кем прошел долгий отрезок пути.

Однажды, приблизительно за год до начала Ливанской войны, Вейцман засиделся в своем кабинете, являвшемся одновременно и баром, и гостиной. Постаревший мушкетер потягивал виски со льдом, со снисходительной усмешкой прислушиваясь к тирадам собеседника.

— Ты понимаешь, Эзер, чего я боюсь, — говорил гость, — Бегин начнет проводить на территориях политику широких репрессий. Это заведет нас в такие дебри, что…

— Ерунда, — лениво прервал Вейцман. — Знаю я эту братию. Они пальцем не пошевелят в Иудее и Самарии, пока не двинутся в ливанский поход, чтобы уничтожить ООП. Помяни мое слово, они дойдут до ворот Бейрута, чтобы добиться своего. Когда это произойдет? Думаю, через год. Шарону нужно время для подготовки, а там они ухватятся за первый попавшийся предлог.

Вейцман мог бы работать Кассандрой. План Ливанской кампании разработал новый министр обороны Ариэль Шарон, а начальник генштаба Рафаэль Эйтан (кстати, назначенный на этот пост Вейцманом) охотно взялся его выполнить.

Бегина уверяли, что ливанская операция будет молниеносной, что большая цель будет достигнута малой кровью. Мало что смысливший в военных делах, Бегин слепо доверился Арику и Рафулю. Ведь это были легендарные командиры, сабры с глубокими корнями в стране, воплощавшие в его глазах новое поколение, о котором мечтал Жаботинский.

…4 июня 1982 года в семь утра на столе Бегина зазвонил телефон. На проводе находился начальник Мосада. Он доложил премьер-министру, что в Лондоне совершено покушение на израильского посла в Великобритании Шломо Аргова.

— Кто это сделал? — спросил Бегин.

— Люди Абу-Нидаля, — последовал ответ. Но для Бегина не существовало теперь разницы между Ясером Арафатом и его злейшим врагом. Повод для войны был найден. В девять утра

собрался кабинет. Правительство возложило вину за покушение на ООП.

6 июня израильские войска перешли ливанскую границу. Через несколько дней, когда сражения в Ливане были в разгаре, Бегин выступил в кнессете. «Настало время великих свершений», — сказал он с гордостью.

Ему казалось, что круг замкнулся. Сначала мир с Египтом, потом уничтожение палестинского политического и военного потенциала, а затем населению Иудеи и Самарии можно будет предоставить автономию. Но какую хочет он, Бегин.

Прошло совсем немного времени, и триумф Бегина обернулся трагедией.

* * *

Недели сменялись неделями. Все чаще появлялись в израильских газетах траурные рамки. Израильская армия прочно завязла в ливанском болоте. Ставка на христианские фаланги оказалась битой с гибелью их лидера Башира Джумайля. Израильское общество переживало раскол. Брожение проникло даже в армию.

Ничто так не раздражало руководителей Ликуда, как напоминания о гибнувшей в Ливане израильской молодежи. «Мы провели в оппозиции почти тридцать лет, — говорили они, — но никогда не использовали погибших для политических выгод».

Но Бегин не мог делать вид, что в Ливане все идет, как надо. Он знал, какую цену приходилось платить за каждый день пребывания на ливанской земле. Имя каждого погибшего уколом вонзалось в его сердце. После целого ряда террористических акций на ливанском побережье, когда солдаты гибли почти каждый день, премьер-министр оказался на грани нервного истощения.

И как раз в это время ужасное несчастье обрушилось на него. Умерла Ализа. 44 года прожили они вместе и были близки, насколько это вообще возможно между людьми. Ализа ждала мужа, когда он находился в советском концлагере. Она единственная была рядом, когда он скрывался в подполье. Она находилась возле него все долгие 29 лет его борьбы в оппозиции. Она с легкостью переносила все горести и невзгоды. Лишь она умела его утешить, подбодрить и поддержать. Она была его единственным другом. По всей вероятности, других женщин никогда не было в его жизни.

Все чаще им овладевало отчаяние. Душа болела почти

физически. И не было ему утешения. Однажды к нему пришла женщина, сын которой без вести пропал в Ливане. Она билась в истерике, и Бегин не отходил от нее, хотя у него была назначена на это время встреча с важным лицом из Вашингтона. Напрасно члены кнессета и министры говорили ему, что займутся этой женщиной и отвезут ее домой.

— Я не уйду, — упрямо говорил Бегин, — пока она не придет в себя.

Окружающий его мир медленно колебался и исчезал. Он уже не мог сосредоточиться, не мог работать. Это больше, чем одиночество, страшнее, чем отчаяние. Это душевная болезнь. Три месяца страна фактически не имела премьер-министра, но об этом почти никто не знал. Окружение Бегина делало всю его работу, пыталось любой ценой скрыть его состояние. Близкие ему люди до конца надеялись, что это временный кризис, что Бегин придет в себя. Но он-то знал, что это не так. Собрав все оставшиеся силы, Бегин сделал решающий шаг. Ушел, чтобы обрести свою нирвану…

И хотя еще целых девять лет было отпущено ему, никто не знает, как он их прожил. Он ничего не писал и ни с кем не встречался.

Власть без славы

Единичный успех — случайность, ничто, но, повторяясь, он превращается в закономерность. Кто помнит сегодня, как ликовали израильские левые, когда в канун выборов 1984 года в кресло Бегина — «короля площадей» — уселся Ицхак Шамир? Лидеры левой оппозиции знали, что против идеологического наследника Жаботинского у них нет шансов на успех. Но Шамир?! Кто вообще принимал его всерьез? Не только в левом, но и в правом лагере считали, что Шамир — фигура случайная. Человек, явившийся из мрака подполья, живой анахронизм, аскет и фанатик, давний противник Бегина, которому лишь снисходительность вождя открыла путь к ключевым постам в созданном Жаботинским движении. Разве можно сравнить его с Ариком Шароном, героем всех войн, которые вел Израиль, или с Давидом Леви, идолом сефардских евреев?

Но произошло чудо. Выборы 1984 года закончились вничью. Шамир и Перес поделили власть. Это было огромным достижением преемника Бегина, но оно бледнеет перед ошеломляющим успехом через четыре года, кода возглавляемое Шамиром движение добилось уже бесспорной победы. Результаты выборов показали, что Шамиру удалось взять ту крепость, которую столько лет безуспешно штурмовал Бегин.

Впервые израильские интеллектуалы, пусть с извиняющимися улыбками и с чувством неловкости, поддержали Ликуд. Движение «рынков и площадей» наконец-то сумело завоевать симпатии интеллектуальных кругов, традиционно занимавших позиции на левом фланге израильского политического истеблишмента. Наконец-то правая когорта сумела захватить плацдарм в лагере своих исконных противников.

О Шамире стали говорить с уважением. Ведь ни одна партия, даже тоталитарная, не любит править без поддержки интеллектуальной элиты. Даже популисты, апеллирующие к самым темным инстинктам народных масс, — и те жаждут одобрения профессоров и писателей.

Шамир умело воспользовался плодами одержанной победы. Он не пошел на создание кабинета на узкой коалиционной основе, не стал пленником религиозных партий, не пригласил к государственному пирогу правых максималистов, таких, как Рехавам Зеэви (Ганди), выступавший за трансфер палестинцев.

Кто не вздохнул с облегчением, убедившись, что Шамир не позволил нарушить религиозный статус-кво и ни на йоту не сдвинулся с центристских позиций? Мало этого, Шамир покорил

сердца интеллектуалов, пообещав выступить с программой, которая сдвинет с мертвой точки процесс израильско-палестинского урегулирования.

И выступил, доказав тем самым, что у него слово не расходится с делом. Иной вопрос, что находилось в красивой шамировской упаковке. Лучше всего характеризует шамировскую программу то, чего в ней не было. А не было в ней ни одного конструктивного предложения, ни одного жеста доброй воли. Ни знамени, ни гимна, ни права чеканки собственной монеты не должны были получить палестинцы. И даже та куцая, выхолощенная автономия, которую он, насилуя себя, все же предлагал, должна была, по его замыслу, распространяться лишь на арабское население Иудеи и Самарии, не на территорию.

— Палестинцы этой программы никогда не примут, — осторожно намекали премьер-министру.

— Тем хуже для них, — отвечал Шамир. — Моя программа — это максимум, на что они могут рассчитывать.

Интифада не смущала Шамира. Ничего иного он от палестинцев и не ожидал. И отмечал при каждой возможности, что их движение носит не национальный, а националистический характер. В чем разница? А в том, что национальное движение отражает все лучшее, что есть в народе, а националистическое — все худшее. По мнению Шамира, вульгарный национализм палестинцев культивирует самые низменные инстинкты и черпает силы из ненависти, ни в чем не уступающей расовой.

Свой план израильско-палестинского урегулирования Шамир привез в Вашингтон и представил американскому президенту. Буш — ярко выраженный прагматик — с изумлением смотрел на человека, законсервировавшего свои взгляды и убеждения. Шамир ему явно не понравился.

Израильский лидер, не смущаясь холодностью приема, изложил свое кредо. Трижды прозвучало железное «нет» в кабинете американского президента.

Нет — ООП. Нет — палестинскому государству. Нет — территориальному компромиссу.

И с этой позиции никто не сумел сдвинуть Шамира ни на шаг вплоть до окончания пятнадцатилетнего периода ликудовского правления…

Как бы ни относиться к Ицхаку Шамиру, нельзя не признать, что он создан из прочнейшего материала. Ничто не могло посеять в его душе семена сомнения в правильности избранного пути, ибо в его восприятии время застыло, и до самого конца своей карьеры мыслил он категориями вождя компактной подпольной организации.

Сам Шамир считал эту свою особенность скорее достоинством, чем недостатком. Он был глубоко убежден, что война за выживание, которую приходится вести Израилю, будет продолжаться еще очень долго. А на войне воля полководца решает все. С этой точки зрения модель подполья казалась Шамиру идеальной для государства, находящегося в экстремальной ситуации. И Шамир следовал ей, насколько это вообще возможно в условиях демократической формы правления. Все важнейшие решения он принимал сам, а потом уже на заседаниях узкого кабинета требовал их одобрения, страдая от того, что приходилось что-то объяснять и доказывать. Из своего прошлого черпал Шамир силы, чтобы не согнуться под тяжким бременем, лежавшим на плечах этого старого уже человека.

* * *

Невольно приходишь в изумление, следя за слаломными виражами его удивительной карьеры, Человек без нервов, лишенный эмоций, обладавший высокоразвитым даром мимикрии, он исчезал, растворялся в окружающей среде и возникал внезапно, как обретший плоть призрак, — в нужное время и в нужном месте. Он не добивался ответственных должностей, не шел к ним напролом. Все приходило к нему само из-за какого-то фатального стечения обстоятельств.

Боевую организацию Лехи он возглавил после гибели Яира Штерна. Пост премьер-министра получил после драматического ухода Бегина. Соперники не замечали его, не понимали, чем занимается этот человек, хотя он находился рядом с ними. А он вдруг возникал из-за их спин и финишировал первым.

Умение скрывать свои истинные возможности всегда было его самой сильной чертой. Шамир — это сгусток воли, но спокойной, организованной, железной. Воли, лишенной темперамента. Он так и не овладел ни пером, ни ораторским искусством и всегда терялся перед широкой аудиторией. Зато бывал весьма убедительным в конфиденциальных беседах. Уходя с политической арены, Бегин сам указал на Шамира как на своего преемника. Решение вождя оказалось неожиданным даже для его ближайших соратников.

Чтобы понять, почему так случилось, необходимо иметь представление об удивительной жизни и личных качествах Ицхака Шамира, бывшего руководителя боевой организации Лехи.

Бегин, долго считавшийся супертеррористом, на самом деле

никогда им не был. Этот хрестоматийный вождь и идеолог никогда не держал в руках оружия и не принимал личного участия в боевых операциях.

Не Бегин, а Шамир был «террористом номер один» в подмандатной Палестине.

Прекрасно владевший оружием, отличавшийся необычайным хладнокровием, Михаэль — такова была его подпольная кличка — не только разрабатывал террористические акции, но и осуществлял их непосредственно.

И судьей, и палачом приходилось ему бывать. Стремительный взлет Шамира в возглавлявшемся Бегином движении объясняется тем, что его былые тактические разногласия с вождем никогда не приобретали идеологической окраски.

Бегину, которому временами недоставало волевых качеств, импонировала сила воли Шамира. К тому же Бегин понимал, что Шамир, прямой, вернее, прямолинейный, ни разу не выдвинувший ни одной самостоятельной политической идеи, будет до конца следовать по пути, предначертанному чужой волей.

Бегин не ошибся, полагая, что судьбу идеологической доктрины Жаботинского он оставляет в надежных руках.

Шамир был не крупномасштабным государственным деятелем, а крупномасштабным исполнителем. В этом был источник и его силы, и его слабости.

* * *

Ицхак Шамир (Езерницкий) принадлежит к тому же поколению «польской гвардии», что и Бегин. И у Шамира, и у Бегина родители и почти все близкие погибли в Катастрофе.

«Отца и мать убили соседи. Люди, с которыми они десятилетиями жили душа в душу», — вспоминал Шамир, уже будучи премьер-министром.

«Я знаю, — добавлял он, — что среди палестинцев есть люди, с которыми можно жить в мире и дружбе. Но я знаю также, что если обстоятельства изменятся, они попытаются убить меня, как убили отца и мать».

Первые двадцать лет своей жизни Шамир провел в Польше. Окончил ивритскую гимназию. Вступил в Бейтар.

В 1935 году Шамир стал студентом Еврейского университета на горе Скопус в Иерусалиме. Как раз в это время всплеск арабского национализма в Эрец-Исраэль нашел выражение в еврейских погромах. Верховный арабский комитет во главе с

иерусалимским муфтием Хадж Амином эль-Хусейни повел против евреев настоящую войну. Арабские националисты швыряли бомбы в автобусы, взрывали мины в еврейских кварталах, жгли сады, уничтожали посевы, устраивали засады.

Ицхак Езерницкий бросил учебу, вступил в Эцель и благодаря своим личным качествам быстро стал одним из лучших боевиков.

4 августа 1940 года в лагере Бейтара под Нью-Йорком умер Жаботинский — вождь и основатель ревизионистского течения в сионизме. Вероятно, трагические события в Эрец-Исраэль ускорили его кончину.

К тому времени почти вся Европа стала коричневой. Польша — раздавлена. Франция — разгромлена. Сталин не без злорадства наблюдал за тем, как Гитлер драконит западных союзников. Америка все еще хранила нейтралитет. И лишь Великобритания — одна — продолжала борьбу со всей неукротимостью англосаксонской расы.

Ясно уже, что нацизм посягает на само существование еврейского народа. Все еврейское население Эрец-Исраэль было готово сражаться вместе с англичанами против общего врага.

Мандатные власти не желали, однако, отказываться от политики Белой книги, запрещавшей въезд евреев в Эрец-Исраэль. Они прибегали к насильственной депортации нелегальных иммигрантов, вновь запретили продажу земли евреям и обрушились с репрессиями на участников еврейского национального движения.

Все это привело к расколу в Эцеле. Из него вышла группа Авраама (Яира) Штерна, создавшая собственную боевую организацию Лехи (Борцы за свободу Израиля). Причиной раскола было лишь одно принципиальное расхождение. Руководители Эцеля выступали за прекращение борьбы с англичанами до тех пор, пока Британская империя сражается против гитлеровского рейха.

Штерн требовал продолжения военных операций против англичан, несмотря ни на что.

Более того, Яир не исключал возможности сотрудничества с нацистами в борьбе с «общим врагом». Ненависть к англичанам стала основным стимулом его существования и отодвинула на задний план даже трагедию европейского еврейства.

Штерн несколько раз посылал своих людей в Европу, чтобы выяснить, существует ли какая-либо возможность использовать нацистскую военную машину в борьбе против британского империализма.

Уже после войны в одном из немецких архивов был обнаружен любопытный документ. Его автор, офицер немецкой

разведки Вернер фон Гантинг, рекомендовал руководству рейха поддержать еврейское подполье в Палестине, чтобы подорвать британские интересы на Ближнем Востоке.

Эта рекомендация не была принята из-за зоологического антисемитизма Гитлера, исключавшего любую возможность сотрудничества с евреями.

Как бы то ни было, с августа 1940 года лишь боевики Лехи проводили военные операции против англичан в Эрец-Исраэль. Англичане быстро почувствовали в Лехи своего главного врага. За членами этой конспиративной группировки началась форменная охота. Их травили, как диких зверей, убивали при каждой возможности, преследовали с неутолимой яростью. Руководители Лехи арестовывались один за другим, выслеженные шпиками или выданные евреями, частью — по идейным соображениям, а иногда — из желания получить высокую денежную награду.

Яиру уже не с кем было работать. Конспиративные квартиры «сгорали». Его последнее убежище у Тувы Сабораи не могло считаться надежным, но другого не было. Муж Тувы, Моше, член Лехи, уже был арестован, и за домом следили.

О последних минутах жизни Яира мы знаем из рассказа Тувы:

«12 февраля 1942 года стояла холодная для нашего климата погода. Яир сидел в кресле, обняв колени худыми руками. Какая-то просветленность чувствовалась в нем в этот последний вечер.

— Конец уже близок, — сказал он и улыбнулся.

В полдесятого раздался стук в дверь. Яир, как обычно, укрылся в большом шкафу.

Стук повторился, тихий, осторожный, не похожий на стук полиции. Я открыла. На пороге стоял хорошо мне известный детектив Вилкинс с двумя полицейскими. Вилкинс арестовывал моего мужа. Со мной он был преувеличенно любезен, и, когда смотрел на меня, в глазах его вспыхивали зеленоватые искорки.

Поздоровавшись с вкрадчивой вежливостью, Вилкинс приказал полицейским приступить к обыску. Сам же расположился в кресле, всем своим видом показывая, что ему некуда спешить. Полицейские медленно перелистывали книги, просматривали бумаги. Но вот один из них открыл шкаф — и словно игла вонзилась в мое сердце.

В шкафу никого не было… Полицейский не поленился и стал шарить внизу. Наткнувшись на тело, выхватил пистолет. Я мгновенно очутилась между ним и Яиром. Сказала: „Прежде, чем стрелять в него, убей меня“.

Медленно, вразвалку подошел Вилкинс и указал Яиру на диван.

Яир сел, спокойный, как всегда. Я подумала, что спасла Яиру

жизнь. Мне казалось, что теперь, когда в комнате столько людей, а входили все новые лица и в военной форме, и в штатском, англичане не посмеют убить его…

И вдруг в комнате появился еще один человек. Это был еврей с водянистыми глазами, вызывавшими чувство гадливости. Пристально посмотрел он в лицо Яиру, как бы удостоверяя его личность, кивнул головой и вышел, не сказав ни слова.

Принесли веревки и связали Яиру руки. Вилкинс с улыбкой, которую никогда не забыть, велел мне спуститься вниз, где уже ждала полицейская машина. Когда я подошла к ней в сопровождении рослого сержанта, в доме один за другим раздались три выстрела. Я закричала…»

* * *

Ицхак Шамир оказался в Лехи, потому что слепо верил Яиру и готов был следовать за ним куда угодно и до конца. К тому же ему нравилась организация, спаянная железной дисциплиной, напоминавшая по своей иерархии религиозный орден.

В декабре 1941 года Шамир, к тому времени уже «Михаэль», был арестован на квартире Иегошуа Залтера — одного из легендарных боевиков Лехи. Михаэль был выдан каким-то евреем, соблазнившимся высокой наградой, обещанной за его голову.

В концентрационном лагере Мезра вблизи Акко он встретился с Натаном Елиным-Мором (подпольная кличка «Тара»), заместителем и правой рукой Яира. Елин-Мор так описывает эту встречу в автобиографической книге «Борцы за свободу Израиля»:

«Михаэль был малого роста, широкоплечий, с непропорционально большой головой, с тяжелой челюстью — признаком волевого характера, с непомерно густыми бровями, оттенявшими блеск живых глаз. Быстрота мышления, волевая целеустремленность, способность реально оценивать любую ситуацию в сочетании с незаурядным личным мужеством — все эти качества обеспечивали Михаэлю ведущую роль в организации.

В Мезре Тара и Михаэль получили последнее письмо Яира. В нем говорилось о гибели многих бойцов, о том, что вражеское кольцо сужается, о тяжелейших условиях, в которых ему приходится действовать.

„Я приказываю вам бежать из заключения и вернуться в боевые ряды“, — закончил Яир.

После его гибели этот приказ приобрел силу завещания,

которое следовало выполнить во что бы то ни стало».

* * *

31 августа 1942 года Ицхак Шамир и его близкий друг Элиягу Гилади (Шауль) совершили дерзкий побег из Мезры. К тому времени уже было разгромлено все руководство Лехи. Англичанам не удалось арестовать лишь Иегошуа Когена, который, избегая явочных квартир, скрывался в заброшенном саду вблизи Кфар-Сабы. Коген передал руководство осколками организации Михаэлю, а Шауль стал его первым заместителем. Вскоре боевые ячейки вновь стали действовать.

Гилади был незаурядной личностью. Это признают все. Родился в Венгрии, в семье мясника. Настоящее его имя Альберт Грин. Сестра и братья боготворили Альберта.

Гилади рано вступил в Бейтар и не закончил школу. Служил в венгерской армии, где научился обращению с оружием. Прибыв в Эрец-Исраэль, вступил в Лехи.

До безумия храбрый, Гилади сочетал качества прирожденного революционера и фанатика-изувера. Его идеалом была строго централизованная боевая организация, возглавляемая всесильным центром. Именно такую организацию Гилади нашел в Лехи.

Своим учителем и предшественником он считал русского революционера Сергея Нечаева, а из всех книг больше всего ценил «Государя» Макиавелли, где с математической четкостью формулируются принципы власти и управления.

Натан Елин-Мор пишет о Гилади в своих воспоминаниях:

«Гилади, напоминавший хищное животное всеми повадками, был особенно безжалостен к подчиненным. Он считал, что все они обязаны слепо повиноваться ему. Он мог ударить по лицу и мужчину, и женщину. Просто так. Лишь бы показать, что их жизнь в его власти».

В пятидесятые годы в Израиле вышла в свет книга одного из командиров Лехи Яакова Баная «Неизвестные солдаты».

Ицхак Шамир, прочитавший ее в рукописи, поздравил старого товарища с великолепной работой. Можно предположить, что версия Баная о смерти Гилади и характеристика его личности разделялись Шамиром.

Банай писал:

«Михаэль решил устранить Шауля, когда понял, что этот человек представляет собой угрозу для всей организации и ее принципов. Я помню, как однажды в строжайшей секретности в

песках Бат-Яма собрались тринадцать руководителей боевых ячеек Лехи. Михаэль выступил с чрезвычайным сообщением. Первые же его слова нас поразили. Сообщив, что Шауль ликвидирован по его приказу, Михаэль разъяснил мотивы этого решения. „Шауль, — говорил Михаэль, — стремился подчинить организацию своему контролю. Он не был заинтересован в борьбе с англичанами. Его цель заключалась в утверждении своей власти методами террора и насилия. Он хотел провести внутреннюю чистку. Предлагал ликвидировать все руководство Хаганы и Эцеля, от Бен-Гуриона до Бегина. Если этого не произошло, то лишь потому, что Шауль не успел осуществить своих намерений. Удалось опередить его“. В заключение Михаэль сказал, что всю ответственность за принятое решение он берет на себя и готов дать за него ответ тут же на месте».

Банай особо отметил, что командиры Лехи единогласно утвердили смертный приговор, уже приведенный в исполнение.

А что им еще оставалось делать? У волчьей стаи может быть только один вожак. Каковы бы ни были личные качества Гилади, речь шла о контроле над боевой организацией. Именно это предопределило его судьбу. Известно, что Гилади никому не доверял и никогда не расставался с оружием. Застать его врасплох было невероятно трудно. Лишь одному человеку он доверял — Михаэлю…

Согласно одной из версий, убийца стрелял в Шауля в упор через стол. И все же Шауль успел вскочить и выхватить кольт…

Подробности этого убийства навсегда останутся тайной. Известно только, что не вражеская рука спустила курок. Не враги торопливо закапывали мертвое тело в еще теплый после летнего зноя песок.

Где это место — сегодня уже никто не знает.

Прошли годы. Подпольная организация убила своего сына, но, когда ее вожди пришли к власти, воздала ему должное.

В 1981 году, по настоянию Ицхака Шамира, имя Гилади было внесено в Книгу памяти бойцов Лехи.

И еще один эпилог имела эта история. Сестра Элиягу Гилади Шошана Гафни, прибывшая в Израиль после создания государства, стала выяснять судьбу любимого брата. Она обратилась с письмом к Шамиру, занимавшему тогда пост министра иностранных дел, и умоляла рассказать правду о смерти брата, открыть место захоронения его останков.

Ответа не последовало. Обращалась Шошана и к другим командирам Лехи, но все они отказывались говорить на эту тему.

И вдруг о деле Гилади заговорил весь Израиль.

Актеры Аси Хингави и Дина Лимон написали пьесу

«Прощальный ужин в честь террориста» — по мотивам книги Яакова Баная «Неизвестные солдаты». В центральных персонажах, Йосефе и Банко, легко угадывались Шауль и Михаэль. В финале пьесы Йосеф собственноручно убивает Банко, чтобы спасти организацию, но, возможно, и из чувства личной мести.

Шошана была на премьере этой пьесы в Тель-Авиве. Домой вернулась потрясенная, и тут же написала еще одно письмо Ицхаку Шамиру. Не письмо даже — крик души. И он не остался без ответа.

Однажды вечером ее навестил седой печальный человек. Это был Йосеф Захави, друг и бывший соратник Шамира.

— Можете расценивать мой визит как ответ на ваше письмо, — сказал он. — Шамир просил передать, что вам лучше не знать подробностей об этой трагедии. Шамир ценил Гилади, но при сложившихся тогда обстоятельствах у него не было иного выхода. Судите сами, насколько Шамир был привязан к вашему брату, если своей дочери он дал имя Гилада…

Жили-были два ковбоя. Один из них погиб в седле, пораженный смертельным выстрелом на последней прямой.

А второй… А второй стал со временем премьер-министром.

* * *

После гибели Шауля все приводные ремни боевой организации оказались в руках Михаэля. Елин-Мор (Гара), считавшийся «законным наследником» Яира, еще томился в Мезре, время от времени одобряя оттуда осуществляемые боевиками Михаэля операции.

Но ведь террора без идеологии не бывает. Устойчивые идеалы нужны революционерам не в меньшей степени, чем консерваторам. Чтобы с легкостью убивать во имя идеи, необходимо выразить эту идею в чеканно простых и убедительных формулировках. Сам Шамир, не имевший ни малейшей склонности к занятиям идеологической индоктринацией, поручил это важное дело Исраэлю Эльдаду (Шайбу) и ввел его в штаб Лехи.

Шайб, блестящий эрудит и историк, знаток и переводчик Ницше, стал идеологом боевой организации. Михаэль же сосредоточился на ее практической деятельности. Ударная сила Лехи неуклонно возрастала, и настал час, когда Шамир занялся выполнением обещания, данного Елин-Мору, и организовал его побег.

Проведенная им операция и сегодня считается классической.

К тому времени англичане, не полагаясь больше на надежность Мезры, перевели заключенных боевиков Лехи в латрунскую тюрьму. Это было мрачное здание, настоящий каземат с толстыми стенами, охваченный к тому же несколькими рядами колючей проволоки. Изучив план тюрьмы, Михаэль понял, что преодолеть эти препятствия под носом у бдительной охраны невозможно.

И решил: если не на земле, то под землей.

Вскоре Елин-Мор получил четкий план и лаконичные указания Михаэля, гарантировавшие полный успех. Заключенные сделали подкоп и в глухую ночь оказались по ту сторону проволочных заграждений. Там их уже ждал присланный Михаэлем автобус. Двадцать боевиков Лехи во главе с Елин-Мором оказались на свободе.

У англичан был повод для беспокойства — «банда Штерна» вновь превращалась в грозную силу.

Теперь организацией руководил центр из трех человек. Исраэль Эльдад был идеологом, а Натан Елин-Мор и Ицхак Шамир — оперативными командирами. Шамир ведал кадрами, отвечал за структуру и безопасность организации и лично руководил боевыми операциями. Англичане с ног сбились, разыскивая эту тройку, но введенная Шамиром система конспирации срабатывала без осечек.

Сам Шамир маскировался под религиозного еврея. В ермолке, в старом лапсердаке, сгорбившись, прижимая к груди молитвенник, маленький подслеповатый еврей походкой лунатика проходил через все посты, вызывая улыбки британских солдат.

Адъютантом и неразлучным спутником Шамира была Сара Леви (Шуламит), ставшая впоследствии его женой. Шуламит прибыла в 1941 году из Болгарии на последнем судне с еврейскими беженцами, отчалившем от берегов сражающейся Европы. Простое открытое лицо Шуламит располагало к доверию, и ее квартира постепенно превратилась в конспиративный явочный центр.

Соседи начали подозревать неладное. Каждый вечер к их симпатичной соседке, воровато озираясь, приходили мужчины. Наконец, ее вызвали в полицию и прямо спросили, в чем дело. Шуламит скромно призналась, что зарабатывает на жизнь древнейшей профессией. Полицейские чины понимающе заулыбались. Древнейшая профессия оказалась лучшим явочным прикрытием.

* * *

Начиная с 1944 года возглавляемая Бегином Национальная военная организация — Эцель возобновила вооруженную борьбу против англичан. Менахем Бегин, считая, что с возвращением Эцеля к военным операциям причина раскола устраняется сама собой, предложил Шамиру и Елин-Мору встретиться для обсуждения возможности объединения сил.

Бегин, худей, подтянутый, одетый так, словно он только что вернулся из оперного театра, произвел сильное впечатление на своих «конкурентов». Шамира он спросил не без сарказма: «Ты действительно веришь, что при помощи нескольких жалких пистолетов сможешь изгнать англичан из Палестины?»

Вообще-то Шамир терялся при встречах с Бегином, чувствовал себя, как набедокуривший школьник при появлении строгого учителя. Но тут проявил твердость.

Шамир и Елин-Мор отклонили предложение Бегина о преодолении раскола, понимая, что это может произойти лишь на основе принятия идеологической платформы Жаботинского и признания Бегина вождем. Руководители Лехи этого не желали. У них был свой идеолог.

Михаэль и Гара согласились все же информировать руководителя Эцеля о своих оперативных планах.

Это обещание не было выполнено.

В ноябре 1944 года был застрелен в Каире министр по делам колоний Великобритании лорд Мойн. Боевики Лехи Элиягу Хаким и Элиягу Бен-Цури были схвачены на месте покушения, преданы военному суду и повешены.

Менахем Бегин не был заранее осведомлен об этой операции, подготовленной Шамиром с тщательной педантичностью. Вождь Эцеля пришел в ярость. Убийство лорда Мойна не было продиктовано необходимостью и могло лишь ожесточить англичан.

— Эти люди играют в свои смертоносные игрушки, не задумываясь над тем, что вредят национальному делу, — сказал Бегин.

Сотрудничество между Эцелем и Лехи так и не наладилось.

* * *

Благодаря усилиям Михаэля боевики Лехи стали профессионалами, не расставававшимися с оружием ни днем, ни ночью. Почти не было ни случайных потерь, ни провалившихся операций. Каждый, идя на задание, знал, что Михаэль все десять раз проверил и рассчитал. Но всего предусмотреть и Михаэль не

мог. Англичане подняли на ноги всю полицию, придали ей в помощь крупные воинские силы и приступили к поискам руководителей Лехи, пользуясь данными, полученными от местных осведомителей.

В Тель-Авиве была организована грандиозная облава. Англичане прочесывали дом за домом, квартал за кварталом. В одной из квартир они лишь для проформы проверили документы у маленького еврея в ермолке, со смешно торчащими кустистыми бровями. Документы оказались в порядке. Сотрудники тайной полиции уже уходили, когда в квартире появился офицер следственного отдела прокуратуры Мартин. Бросив беглый взгляд на еврея в ермолке, Мартин распорядился: «Это Езерницкий. Возьмите его».

Выходя под эскортом полицейских, весьма довольных крупной добычей, Михаэль на секунду задержал на Мартине задумчивый взгляд. Из тюрьмы он сумел передать в штаб Лехи свой последний приказ. Через несколько дней Мартин был застрелен на улице.

А Михаэль смог наконец отоспаться в тюремной камере за все бессонные ночи.

Англичане не хотели рисковать. Оставить Михаэля в Эрец-Исраэль было все равно что дать боевикам Лехи срочное задание.

И англичане отправили опасного узника в концентрационный лагерь в дебрях Африки, в Эритрею, за тысячи миль от цивилизации. Не успев даже освоиться на новом месте, Михаэль стал готовить побег. Он выбрал подкоп — старый испытанный способ. Впрочем, обмануть бдительность стражи было нетрудно. Англичане не верили в возможность побега из этого лагеря и не столь уж ревностно его охраняли.

Но что делать потом? Лагерь находился в пустыне, а вокруг на сотни миль простиралась враждебная территория.

Куда бежать?

Михаэля это не смутило. И он бежал, захватив с собой еще четырех подпольщиков. Без еды и без припасов беглецы прошли через пустыню. Разыскали какого-то итальянца, согласившегося из ненависти к англичанам переправить их в Эфиопию — единственное независимое государство в этом регионе Африки. Ну а из Аддис-Абебы Михаэль перебрался во Францию. Британская администрация в Эрец-Исраэль, узнав о побеге Михаэля, арестовала его жену. Англичане год продержали Шуламит в тюрьме, не предъявляя никакого обвинения, а Михаэль тем временем отчаянно пытался переправиться из Франции домой. Ему это удалось лишь 20 мая 1948 года — уже после провозглашения государства Израиль.

За годы, проведенные Шамиром в тюрьме и в изгнании, многое изменилось на родине. Вождь Эцеля не поддался соблазну и не развязал гражданскую войну в новорожденном еврейском государстве. А соблазн был велик — ведь тот, кто руководит подпольной террористической организацией, интуитивно чувствует, что находящееся в его распоряжении монолитное ядро на все готовых бесстрашных людей является оружием, пригодным для любых целей.

Бегин, стоявший во главе такой организации, опиравшийся к тому же на динамичное идеологическое движение, мог обрушить всю ее мощь на своих политических противников.

Он предпочел распустить Эцель и приказал своим боевикам влиться в ряды еврейской армии, создающейся в ходе Войны за независимость.

Дочерняя организация Лехи, так и не выработавшая своей независимой идеологической платформы, вынуждена была последовать примеру Эцеля.

Уже действовало израильское правительство. Почти все бойцы Лехи уже сражались в рядах молодой еврейской армии. Британского врага, с которым с таким самозабвением боролись Шамир и его товарищи, больше не существовало. Надо было приспосабливаться к принципиально новым политическим реалиям.

Шамиру это далось нелегко. Он все еще ощущал себя старым бойцом подполья, вожаком волчьей стаи, враждебной всему окружающему миру и готовой в любую секунду вступить в смертельную схватку. Он все еще был Михаэлем и нуждался в основательной встряске после застоя последних лет.

Иерусалим имел в то время особый статус. Юрисдикция израильского правительства на него официально еще не распространилась. Поэтому в городе сохранилась подпольная боевая ячейка Лехи, которую и возглавил истосковавшийся по практической деятельности Шамир. Как в добрые старые времена, он с головой ушел в подготовку покушения на графа Фольке Бернадотта, члена королевского дома Швеции, назначенного Советом Безопасности ООН посредником в израильско-арабском конфликте. Бернадотт, спасший свыше десяти тысяч евреев в годы Второй мировой войны, считал, что еврейская рука на него не поднимется, и, прибыв в Иерусалим, не принимал особых мер предосторожности.

К несчастью, этот влиятельный дипломат в поисках урегулирования предложил урезать территорию еврейского государства, утвержденную резолюцией ООН о разделе Палестины. Израильское правительство его план отвергло.

Казалось бы, и делу конец. С сожалением констатировав, что примирение между евреями и арабами невозможно, Бернадотт готовился покинуть пределы воюющего города.

Но старая тройка — Шамир, Елин-Мор и Эльдад, собравшаяся на конспиративной квартире, уже вынесла Бернадотту смертный приговор. Боевики Лехи привели его в исполнение на следующий день.

Враги Израиля ликовали.

— Никто не сделал для спасения евреев больше, чем Бернадотт, — кричали они. — И вот как евреи ему отплатили…

— Да они настоящие злодеи, — сказал премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион и распорядился поступить с подпольщиками по всей строгости закона. Елин-Мор, Эльдад и другие руководители Лехи оказались в тюрьме. На сей раз — в еврейской.

Шамир же привычно, как рыба в глубину, ушел в глухое подполье.

Создалась парадоксальная ситуация. Человек, все свои силы и энергию отдававший национальной идее, боровшийся, не щадя, что называется, живота своего, за возрождение еврейского государства, вынужден был скрываться от израильских органов правосудия, как скрывался когда-то от мандатных властей. Сначала израильская полиция его действительно разыскивала. Потом перестала. У нее нашлись более важные дела.

Шамир сам говорил позднее об этом периоде своей жизни:

— Мне было больно и трудно скрываться от израильского правительства. Я считал это нелепостью и стал искать выход из невыносимой ситуации.

Выход вскоре был найден. Влиятельные друзья организовали тайную встречу Ицхака Шамира с Шаулем Авигуром, бывшим командиром Хаганы, вошедшим в состав первого израильского правительства. Шамир заверил его, что члены Лехи не намерены бороться с правительством и правоохранительными органами Израиля.

— Мы уже самораспустились и сложили оружие, — говорил Шамир. — Если мы и будем в дальнейшем заниматься политикой, то только легально, на основе действующих в стране законов.

Ему поверили. Арестованные руководители Лехи были амнистированы. Ицхак Шамир сдержал слово. Убийство Бернадотта, явившееся следствием ностальгии старого подпольщика по боевому прошлому, оказалось последним террористическим актом Лехи.

С тех пор исчез Михаэль и появился Ицхак Шамир.

* * *

Для бывшего подпольщика наступили трудные дни. У него больше не было организации, и не было партии, в которой могли бы найти применение его энергия и способности. Скучной вереницей тянулись дни. Шамир занялся бизнесом. Много внимания уделял семье. Родилась дочь, которую он назвал Гиладой — в память убитого им боевого товарища. Казалось, уделом Шамира стало забвение.

Но о нем не забыли.

Война, в сущности, не кончилась с обретением Израилем независимости.

Она продолжалась другими методами и средствами, невидимая и жестокая. Тогда и был создан Мосад — израильская разведывательная служба. Ее возглавил Исер Харэль, доверенный человек Бен-Гуриона, в прошлом видный член Хаганы.

Но кому доверить оперативный отдел Мосада? Харэль понимал, что ему нужен человек особого склада: энергичный, решительный, непоколебимый, отличающийся к тому же компьютерным стилем мышления, позволяющим предугадывать ходы противника в головоломных комбинациях тайной войны. По мнению Харэля, Шамир являлся именно таким человеком. Они были даже внешне похожи. Недаром Харэля называли «маленький Исер». И того, и другого отличала холодная, расчетливая, целенаправленная воля. Бен-Гурион отнесся к предложенной Харэлем кандидатуре без особого энтузиазма, но все же ее утвердил. Ну а Шамир воспринял предложение начальника Мосада как подарок судьбы.

Десять лет прослужил Ицхак Шамир в Мосаде. По понятным причинам об этом периоде его жизни мы знаем очень мало. Можно предположить, что во многом благодаря Шамиру израильская разведка стала одной из самых эффективных в мире. Главари арабского террора быстро почувствовали, с кем имеют дело. Удары, точные и безжалостные, обрушивались на них повсюду. Есть основания полагать, что это Шамир организовал отправку заминированных конвертов немецким специалистам, работавшим в Египте над созданием ракетного оружия.

Почти десять лет Шамир, находясь в полной гармонии с самим собой, делал важное и нужное дело. Но пришли другие времена. В Мосаде сменилось руководство, и Шамир был вынужден уйти в отставку.

* * *

Когда Ицхак Шамир вышел на свет божий из недр израильской разведки, ему было 49 лет. Именно тогда, в 1964 году, появилась его первая фотография в израильской печати. Он стоит рядом с Бегином на траурном собрании, посвященном памяти Яира Штерна, — маленький человек с непроницаемо-каменным выражением лица. В тот же период в одной из израильских газет появилась его статья, вызвавшая общественный резонанс.

«Об одном я жалею, — писал Шамир, — и никогда себе этого не прощу. Мы должны были совершить покушение на Гитлера. Мы обязаны были убить этого изверга. Вся история выглядела бы иначе, если бы мы это сделали».

В конце статьи Шамир выражал убежденность в том, что экстремальные обстоятельства, в которых находится Израиль, превращают индивидуальный террор в морально оправданное и исключительно эффективное средство самозащиты.

Несколько лет Шамир провел в полной безвестности. С несколькими компаньонами создал фирму оптовой торговли, но застой в экономике задушил это начинание, причинив новоиспеченному бизнесмену одни убытки.

Тогда Шамир стал директором небольшого заводика по производству резиновых прокладок. Каждое утро, поцеловав жену, садился в автобус Тель-Авив — Петах-Тиква. Водительскими правами Шамир так и не обзавелся.

Унылой вереницей тянулись дни, заполненные встречами с деловыми людьми. Надо ведь продавать прокладки, черт бы их побрал…

А годы шли… Шамир отходил душой, встречаясь в небольшом уютном кафе со старыми подпольщиками, свидетелями его боевой славы. С ними обсуждал он политическую ситуацию в стране, смутно ощущая, что его время еще не пришло. Но он бы рассмеялся тогда, если бы кто-то предсказал ему его будущее.

А страна находилась на пороге великих событий. Грянула Шестидневная война. Приобрел размах арабский террор. Пробили брешь в «железном занавесе» советские евреи.

И в один прекрасный день, неожиданно для себя самого, Шамир не поехал в Петах-Тикву. Период резиновых прокладок в его жизни кончился.

В 1970 году, в возрасте пятидесяти пяти лет, когда другие уже заканчивали политическую карьеру, Шамир начал ее. Бывший руководитель боевой подпольной организации Лехи вступил в движение Херут, которое бессменно возглавлял его прославленный соперник, вызывавший и зависть, и восхищение

одновременно.

— Добро пожаловать, Ицхак, — сказал ему бывший командир Эцеля с мимолетной, но такой выразительной усмешкой. — Чувствуй себя, как дома.

Вначале казалось, что политический путь Шамира не будет устлан розами. Все ключевые посты в партии были давно заняты. Шамир был не только новичком, но и чужаком, вчерашним политическим противником. Для начала ему дали второстепенную должность заведующего отделом репатриации в центре Херута, и Шамир с присущей ему педантичной целеустремленностью занялся абсорбцией советских евреев. Далеко не сразу стало ясно, что в движении Бегина появилась новая динамичная сила.

А потом началась какая-то сумасшедшая ковбойская скачка. Война Судного дня, уход Голды, короткое бесславное правление Рабина, политический переворот, приведший к власти Ликуд, Кэмп-Дэвидские соглашения, возвращение Египту Синая, травма Ливанской войны, неожиданный уход Бегина. И это за какие-нибудь десять лет. Все эти годы Шамир демонстрировал полную лояльность по отношению к Бегину, понимая, что всей своей политической карьерой он обязан лично ему.

Шамир выжидал. Он верил, что его час придет. Слишком уж норовистые кони шли с Бегином в одной упряжке. Первым освободил место председатель правления Херута Эзер Вейцман. Он был нетерпелив, своеволен, ссорился с Бегином и, наконец, ушел, хлопнув дверью. Ицхак Шамир занял этот ключевой в партии пост.

Потом из-за проблем автономии подал в отставку министр иностранных дел Моше Даян. Его министерский портфель Бегин отдал Ицхаку Шамиру. Все были поражены. Шамир, казалось, не обладал необходимыми для этого поста качествами: английским владел слабо, оратор был никудышный, да и внешний вид его не производил солидного впечатления.

Но Шамир вновь удивил всех. В отличие от Даяна, педанта и бюрократа, нетерпимого и неприятного в отношениях с подчиненными, Шамир отличался терпением, умел слушать, был строг, но справедлив. Свои обязанности выполнял с чувством личной ответственности. Все это не могло не вызывать уважения.

Произошло еще одно событие, расчистившее Шамиру путь к власти. Бегин разочаровался в Яакове Меридоре. Когда в 1942 году Бегин прибыл в Эрец-Исраэль с армией Андерса, во главе Эцеля стоял Меридор. Он добровольно передал командование Бегину, удовлетворившись ролью его заместителя. И хотя к тому времени Меридор развалил организацию, которую фактически

пришлось создавать заново, Бегин сохранил к нему чувство благодарности, смешанное с неловкостью. Думая о своем преемнике, Бегин остановился на кандидатуре Меридора. Вернул ему ключевую роль в движении Херут, ввел в кнессет.

Но Меридор повел себя так странно, что в Израиле потом долго спорили: аферист он или просто идиот. В разгар предвыборной кампании Меридор поведал изумленному народу, что располагает новым источником энергии, опровергающим теорию Эйнштейна и позволяющим при помощи одной лампочки осветить весь Рамат-Ган.

Это было уж слишком. Бегину пришлось искать нового наследника.

Его выбор остановился на Шамире.

Старый подпольщик не скоро привык к яркому свету юпитеров. Как было не растеряться, оказавшись в полном одиночестве на ослепительно холодной вершине?

Казалось, что Бегин оставил его лишь на время у государственного штурвала — стой, мол, здесь и не трогайся с места, я скоро вернусь.

И не вернулся…

Постепенно Шамир освоился со своим новым положением. Стал действовать. И пусть он не одолел новых рубежей, зато сумел сохранить достигнутое. В самом конце своей карьеры он откровенно сказал:

«Я знаю, что устраивающее нас статус-кво увековечить нельзя. Многое придется менять, многим придется пожертвовать. Но сам я не в состоянии превратить в предмет политического торга нашу родину.

Пусть уж этим занимается мой преемник…»

Золотые цепи Мессии

Крушение мифов

Странные выборы состоялись в Израиле в феврале 2001 года. Результат их был предопределен — все знали, кто выиграет, а кто проиграет. В самый канун выборов опросы общественного мнения — этот индикатор настроения избирателя — показывали, что разрыв между главой правительства Эхудом Бараком и обществом уже непреодолим.

Народ не столько хотел Шарона, сколько не хотел Барака. Смещая Барака, народ как бы наказывал Арафата, которого, к сожалению, не мог сместить.

Барак тоже знал, что проиграет, но упрямо шел навстречу своей судьбе.

— Что ты делаешь? — говорил Бараку его американский советник Стэнли Гринберг. — Люди не желают, чтобы ты толковал им о мирном процессе, когда палестинцы убивают их на улицах. Избирателям невыносима мысль, что ты ведешь переговоры под аккомпанемент взрывов и выстрелов. Прекрати все это, если хочешь победить.

Но Барак — это Барак. Ради политического своего выживания он не стал ничего менять в том курсе, который считал единственно верным.

И результат налицо. Барак проиграл Шарону с беспрецедентным разрывом в 24,7 процента.

Это даже не поражение. Это больше чем разгром. Это остракизм — политическое изгнание того, кто всего девятнадцать месяцев назад был на вершине успеха и популярности.

Человек, перерезавший священных коров, вбивший осиновый кол в могилу соглашений Осло, проверивший на прочность «мирный процесс» и доказавший, что это — химера, стал объектом всеобщего раздражения и за все расплатился.

И что с того, что Барак дальше всех продвинулся на пути к ликвидации конфликта и почти прикоснулся руками к его раскаленной сердцевине? Ведь тогда-то и совершил он свою, пожалуй, роковую ошибку.

Когда после провала переговоров с Арафатом в Кэмп-Дэвиде вспыхнула интифада Аль-Акса, он должен был резко повернуть государственный штурвал, прекратить переговоры под огнем и сформировать кабинет национального единства.

Он же продолжал слепо верить в безграничность своих

возможностей. Ему казалось, что он вот-вот дожмет Арафата, но этот старый волк показал, кто твердо стоит на ногах, а кто витает в эмпиреях.

Как же так? — возникает резонный вопрос.

Всего полтора года назад Барак, с большим отрывом выиграв выборы, достиг пика популярности. Речь идет о личности исключительно одаренной, чего не отрицают даже его враги. Так почему же он оказался вдруг в столь невыносимом положении? Почему на него слева и справа точились ножи?

Может, он отдал палестинцам наши земли, ничего не получив взамен, — как это сделал Биби Нетаниягу, уступивший им Хеврон?

Может, Барак развалил, к примеру, экономику?

Ничего подобного. Все знают, что Барак не отдал ни пяди «родимой земли».

Что же касается экономики, то именно при нем она сделала такой рывок, что долго оставалась стабильной даже под натиском интифады.

К тому же есть у Барака такое достижение, которого в ином обществе было бы достаточно для победы на любых выборах.

Барак вывел ЦАХАЛ из Ливана.

Очень уж короткая у нас память. И никому не приходит в голову подсчитать, сколько солдатских жизней спас Барак, учитывая, что ЦАХАЛ регулярно оплачивал кровью свое пребывание на ливанской земле.

Да чепуха все это, — морщатся оппоненты.

Он не отдал ни пяди, но готов был отдать почти все и лишь возбудил аппетит Арафата своей уступчивостью.

Экономикой он вообще не занимался, и она просто катила по накатанным не им рельсам.

Что же касается Южного Ливана, то Барак не вывел оттуда ЦАХАЛ, а заставил позорно бежать, выявив свое бессилие найти достойный выход из ситуации.

В результате мы получили на северной границе десять тысяч ракет Хизбаллы, нацеленных на наши города и поселения. Более того, развеян миф о непобедимости ЦАХАЛа, что вселило в палестинцев яростную энергию и жажду крови.

Нельзя не признать весомости и этих аргументов.

Еще одно доказательство того, что этот человек не поддается однозначным оценкам.

Так что же все-таки случилось с Бараком?

Ничего не случилось. Он не изменился.

Изменились мы.

Предупреждал же Господь свой народ: «Не сотвори себе

кумира». Ни из камня, ни из людей, ни из идеологий, ни из мифов — не сотвори!

Мы и это забыли.

Барак научил нас видеть реальность такой, какова она есть.

Самая неприглядная правда лучше любого наркотического дурмана.

Из-за Барака не жить нам больше под кайфом миражей, и история будет судить его по другим критериям, чем израильский избиратель на выборах 2001 года.

Барак останется в израильской истории как человек, избавивший народ от мифологических иллюзий.

В том-то и дело, что Барак посягнул на мифы, ставшие для израильского общества своеобразным наркотиком.

Известно, как нелегко дается отлучение от дурманящего наркотического яда. Ломота в костях, боль в суставах, умопомрачение — через все это надо пройти, чтобы выздороветь.

Наше общество с раздражением реагировало на «кайфоломщика».

Левые утратили миф о «мире сегодня», о том, что если палестинцам все отдать, то они станут жить с нами душа в душу.

Правые потеряли миф о «неделимой Эрец-Исраэль».

Так как же относиться им к человеку, проделавшему над национальным сознанием подобную вивисекцию без наркоза?

Даже Клинтон отказался под влиянием Барака от мифотворчества в самом конце своей каденции и стал первым американским президентом, заговорившим о «независимом палестинском государстве со столицей в Восточном Иерусалиме». Его драматическое заявление по этому поводу будет отныне обязывать всех диспетчеров американской ближневосточной политики.

«Израильтяне должны свихнуться, чтобы принять мою точку зрения, — сказал Клинтон, — но они должны также понимать, что территории не гарантируют безопасности в век электронных войн».

Благодаря Бараку доволок свой срок и миф о том, что палестинцы хотят мира так же, как и мы.

Хотят, конечно, но на таких условиях, которые означают для Израиля коллективное самоубийство. Достаточно бросить беглый взгляд на их требования, чтобы это понять.

Мир? Пожалуйста! Хоть завтра. Но подавай им и Восточный Иерусалим вместе с Храмовой горой и Стеной Плача, и границы 1967 года, и право «беженцев» на возвращение, и эвакуацию всех поселений, и дислокацию международных сил вдоль израильско-палестинской границы, и свободное воздушное пространство, и

отсутствие израильского контроля над палестинскими транзитными пунктами — ну и так далее, и далее, и далее…

Эти требования таковы, что ни один израильский лидер принять их не может, находясь в здравом уме.

Барак эмпирическим путем доказал, что никакие израильские уступки не приведут к окончанию столетней войны с палестинцами.

Речь отныне может идти не о мире и безопасности, а лишь о безопасности.

Не о мирном договоре, а лишь о долгосрочном соглашении.

* * *

У нас долго бытовало убеждение, что хороший генерал — это синоним хорошего политика.

А почему, собственно?

Способность к политике — это такой же врожденный дар, как способность к музыке или к рисованию. Если этого дара нет — то не помогут ни интеллект, ни образование, ни тем более военный опыт.

У Эйнштейна, к примеру, коэффициент интеллекта повыше, чем у Барака, но из этого отнюдь не следует, что Эйнштейн был бы хорошим премьер-министром.

Вот и Бараку явно не хватило всех его разносторонних способностей, чтобы стать нашим де Голлем. По-видимому, для этого нужно нечто совсем иное.

Наше тяжелобольное общество, штопором вошедшее в период стагнации и атрофии духовных сил, не могло выдвинуть вождя с непререкаемым авторитетом. Лишь людская вера создает общенациональных лидеров, придает им вес и значимость. Нельзя достигнуть значительных результатов, опираясь исключительно на собственные силы. В этом трагедия Барака.

И наша трагедия тоже.

В одиночку, как Атлант небо, хотел Барак поднять всю проблематику Ближнего Востока — и надорвался…

Долго вдалбливали в головы уставшего, потерявшего ориентацию народа сказочку о том, как в Кэмп-Дэвиде добрый дядя Барак почти все национальные сокровища готов был отдать злому дяде Арафату в обмен на мир. И когда до мира оставалось уже рукой подать, злой дядя вдруг обрушился на хороший миролюбивый народ со всей сворой своих разбойников.

Странно, но в этот миф верят не только в левом, но и в правом лагере, хотя нужно быть идиотом, чтобы в это верить.

Барак понимал, что вопрос об Иерусалиме неразрешим — по крайней мере, в данный исторический период, что над ним должны ломать голову последующие поколения, что для Арафата отказ от права беженцев на возвращение равнозначен смертному приговору. Все уступки, которые предлагал Арафату Барак, не могли этого компенсировать. Барак предложил Арафату последнюю свою цену, отлично сознавая, что без права на возвращение для партнера она — ничто.

Более того, Барак, с согласия Клинтона, поставил Арафата перед дилеммой: или ты это соглашение подписываешь, или нам вообще не о чем больше разговаривать.

Барак не понял трагизма ситуации. Он почувствовал лишь облегчение от того, что теперь никто не обвинит его в срыве мирного процесса…

Когда израильтяне возвращались из Кэмп-Дэвида, в самолете царила мрачная атмосфера. Даже журналисты угрюмо молчали.

— Ну что вы все приуныли? — сказал вдруг Барак. — Чем вы недовольны? В конечном итоге мы и с территориями остались, и понимание на международной арене себе обеспечили.

В том-то и дело, что это не был конечный итог…

В мае 2002 года Барак, давно оставшийся не у дел, превратившийся в тень своей былой славы, в интервью влиятельному американскому журналу «Нью-Йорк ревю оф букс» проанализировал причины неудачи в Кэмп-Дэвиде.

Арафата, считает Барак, сформировало общество, в котором не существует таких понятий, как правда и ложь. В этом обществе высшая задача заключается в том, чтобы добиться своего любыми средствами. Для Арафата правда — это лишь то, что служит его целям и планам. В отличие от иудейско-христианской цивилизации, в обществе Арафата ложь не вызывает никакого внутреннего дискомфорта. В таком обществе полиграф не действует, потому что там лгут с ощущением правоты, которого ничто не может поколебать. Более того, для Арафата ложь — это как бы катарсис, укрепляющий и закаляющий дух.

С таким человеком бессмысленно о чем-либо договариваться, но доказать это можно было, лишь пройдя весь путь переговоров с ним до самого конца.

«В октябре двухтысячного года, — рассказывает Барак, — вскоре после начала интифады Аль-Акса, мы с американским государственным секретарем Мадлен Олбрайт прибыли в Париж на встречу с Арафатом, чтобы склонить его к прекращению огня.

— Ну хорошо, — сказал Арафат после долгих уговоров, — я свяжусь с начальником полиции Туфиком Терауи и прикажу ему прекратить стрельбу.

— Что? — изумился я. — Какой Туфик? Если вы серьезно относитесь к проблеме, то свяжитесь с Маруаном Баргути и Хусейном А-Шейхом. Это они дирижируют насилием.

Арафат взглянул на меня с таким изумлением, словно я вдруг заговорил о белых медведях на Северном полюсе.

— С кем? С кем? — переспросил он. — Я таких не знаю.

Я терпеливо разъяснил, что речь идет о руководителях ФАТХа на территориях.

— В первый раз слышу, — упорствовал Арафат.

Это было так нелепо, что не выдержали и засмеялись даже его советники.

Арафат понял, что переиграл, и улыбнулся.

— Ах, эти, — протянул он, — мелкие сошки. Вы напрасно придаете этим людям такое значение. Ну хорошо — я свяжусь и с ними.

Разумеется, никакого прекращения огня добиться не удалось…»

Барак убежден, что конечная цель Арафата — это палестинское государство на всей территории Эрец-Исраэль. Идея двух государств для двух народов для него неприемлема. Для достижения этой цели все средства годятся, и Арафат стремился к ней без всяких сантиментов, оставаясь холодным и расчетливым при всех обстоятельствах, как хороший шахматист.

«Арафат не признает самого существования еврейского народа. Для него евреи — это не национальность, а религия. Он вообще не сведущ в еврейской истории и в Кэмп-Дэвиде утверждал, что никакого Храма в Иерусалиме у евреев никогда не было», — сказал Барак.

Барак уже не верит в возможность достижения мира с палестинцами раньше 2028 года.

«Пройдет 80 лет после создания еврейского государства, и не останется уже палестинских беженцев. Все они вымрут. Вопрос о праве на возвращение отпадет сам собой, и тогда можно будет договориться. Ведь погибла же советская империя после того, как вымерло все поколение первых революционеров», — разъясняет Барак

Он не объяснил, почему палестинцы будут тосковать о своей родине всего восемь десятилетий, в то время как евреи не утратили духовной связи с этой землей и за двадцать веков.

* * *

Вернувшись в Газу, Арафат заявил палестинцам: нам нечего

ожидать, не на что надеяться. Политический источник, питавший палестинские надежды, иссяк.

Мина была заложена в Кэмп-Дэвиде.

Грузный Шарон, поднимаясь на Храмовую гору, просто случайно на нее наступил.

Интифада Аль-Акса, в отличие от предыдущей, изначально не носила спонтанного характера. Она была тщательно подготовлена, взвешена, отмерена холодным умом Арафата, рассчитана на экспорт, на показ.

События на территориях фиксировались тут же, на месте, корреспондентами ведущих телекомпаний мира.

Весь мир видел, как израильтяне убивали «безоружных» палестинцев.

Количество жертв с палестинской стороны дозировалось сатанински точно.

Чтобы мир ужаснулся израильской жестокости, палестинцы брали с собой детей в самые опасные места. Арафат говорил, что их кровь укрепляет фундамент будущего палестинского государства.

Двенадцатилетний мальчик Мухаммед Эль Дурра, убитый, как потом выяснилось, не израильской, а палестинской пулей, стал символом палестинской борьбы. Мир содрогнулся, увидев на голубых экранах последние мгновения жизни этого ребенка.

Тот самый мир, который никак не прореагировал на чудовищную сцену линчевания в Рамалле двух израильских солдат палестинским сбродом. Несколько видных европейских интеллектуалов даже пожалели палестинцев. До чего, мол, израильтяне этих бедняг довели.

Потом Арафат убрал детей, заменил их боевиками, и интифада быстро переросла в настоящую войну.

Все ждали энергичных действий ЦАХАЛа. Военное командование доказывало премьер-министру, что медлить уже нельзя, что мощь армии перестает быть сдерживающим фактором. Предлагались оперативные планы один лучше другого. Захват Бейт-Джаллы, ликвидация главарей интифады — да мало ли у Армии обороны Израиля возможностей вернуть блеск своему потускневшему ореолу?

Но человек, который не ведал ни колебаний, ни страха, оказавшись у государственного штурвала, проявлял многим непонятную нерешительность. Несколько раз по его приказу опускалась десница ЦАХАЛа, уже занесенная для удара.

Барак понимал, что Арафат готов поджечь весь Ближний Восток, ибо, согласно его доктрине, — чем хуже, тем лучше. Сними ЦАХАЛ лайковые перчатки — и мы, могло статься,

вспоминали бы интифаду как пасторальную идиллию.

Вот Барак и лавировал, как мог, терпел насмешки и прямые оскорбления, игнорировал свой падающий рейтинг, искал выход из положения. Но в глубине души знал, что втянут в игру, в которой не может быть победителя.

Ему, баловню судьбы, с легкостью преодолевавшему все барьеры на пути к вершине, трудно было смириться с тем, что кончилось время побед. Он посерел, осунулся. Ему, и раньше-то не считавшемуся хорошим оратором, все труднее давались публичные выступления.

Как впавший в состояние транса игрок упрямо делает ставки на полюбившуюся ему цифру, хотя все время проигрывает, так и Барак, поставивший все на «мирный процесс», верил, что удача ему в конце концов улыбнется. Он обещал народу умиротворение и спешил, не замечая, что творится вокруг.

Истончилась и стала эфемерной правительственная коалиция. Партнеры предали его и удрали с обреченного корабля. В кнессете он давно уже появлялся, как в стане злейших врагов. Даже в цитадели Аводы зрело недовольство лидером из-за непонятных его политических зигзагов.

Барак же, несмотря ни на что, продолжал надеяться на соглашение с палестинцами. Лишь оно могло разрядить обстановку, открыть новые перспективы, развязать этот проклятый узел.

Присланное Леей Рабин письмо пришлось весьма кстати. Вдова Ицхака Рабина обратилась к Бараку с просьбой санкционировать поездку Шимона Переса в Газу на переговоры с Арафатом.

«Эхуд, ты перевернул каждый камень в поисках мира, — написала Лея. — Переверни и этот».

И Барак решил: почему нет? Пусть едет. Хуже от этого не будет…

Перес отправился в Газу в ночь на первое ноября двухтысячного года в сопровождении начальника своей канцелярии Ави Гиля и адвоката Гилада Шера. Все трое хорошо знали Арафата и были ко всему готовы.

Арафат принял израильтян в своей канцелярии. После традиционного обмена любезностями пригласил на ужин. Потчуя гостей, произнес гневный монолог:

— Вы нас убиваете, вы нас душите. Вы хотите задействовать против нас самолеты, вы хотите уничтожить наши города. Вы готовите ликвидацию наших лидеров. У нас около трехсот убитых, восемь тысяч раненых. Треть из них останутся инвалидами на всю жизнь. Вы что, не понимаете, в каком аду мы

живем?

Арафат почти кричал. Губы его дрожали сильнее обычного.

Попытки израильтян указать, что палестинцы все это затеяли сами, ни к чему не привели.

— Арафат, — жаловался Перес, — видит события совсем в ином свете, чем мы. Все, что делается или говорится израильтянами, воспринимается им искаженно, даже извращенно. Он убежден, что Израиль приступил к реализации своего плана по уничтожению национальных палестинских чаяний, начал против палестинского народа истребительную войну и вынудил палестинцев защищаться.

Казалось, разговаривать не о чем. Но Перес сказал Арафату:

— У нас сейчас неделя Рабина. Так давайте же почтим его память тем, что во имя всего уже достигнутого нами прекратим насилие и начнем разговаривать.

— Да разве я против? — удивился Арафат. — Но я ничего не могу поделать, пока мы каждый день хороним наших погибших. Дайте мне хоть день без похоронных процессий. И не ждите чудес. Интифада — это народное восстание, и я не могу прекратить его нажатием кнопки.

В конце концов Пересу удалось уломать своего напарника по Нобелевской премии. Арафат согласился выступить одновременно с Бараком и объявить прекращение огня. С таким соглашением вернулся Перес к Бараку, и премьер-министр его одобрил.

— Это, конечно, хорошо, Шимон, — сказал он. — Но ты ведь знаешь Арафата. Разве можно верить этому человеку? Как бы привезенное тобой соглашение не взорвалось нам прямо в лицо.

Именно это и произошло.

Палестинцы удовлетворились опубликованием короткой декларации в том смысле, что хоть Израиль и сам во всем виноват, но стрелять не надо. Это, мол, не отвечает сейчас палестинским интересам. Демонстрировать же, бросать камни и бутылки с горючей смесью — можно и даже желательно…

Но и это беззубое заявление без подписи Арафата даже не было опубликовано. Его сквозь зубы прочитал диктор палестинского телевидения.

Все. Больше к нему никто не возвращался.

А на территориях все пошло своим чередом.

Да и могло ли быть иначе? Дела зашли слишком далеко. Палестинцы платили за такое удовольствие, как интифада, очень высокую цену. Масса убитых и раненых. Полностью разрушенная экономика. Пятьдесят процентов безработных. Арафат, развязавший интифаду, не смог бы ее прекратить, даже если бы

захотел.

Палестинцы ведь его спросили бы: «К чему тогда все это затевалось? Во имя чего мы перенесли такие страдания?»

Поэтому и провозгласил Арафат новое кредо: интифада будет продолжаться до тех пор, пока рука палестинского ребенка не водрузит над Аль-Аксой флаг независимого палестинского государства. Меньшего палестинцы просто не примут даже из рук обожаемого Абу Омара.

* * *

Барак умнее Арафата?

Конечно.

Барак интеллигентнее Арафата?

Это уж точно.

Арафат не интеллектуал, не полководец, не идеолог.

Он всего лишь общенациональный лидер.

А Барак — нет.

В этом и заключалась весьма существенная разница.

Да, Барак просчитался. Он хотел — нет, не мира — лишь глупцы желают невозможного, а соглашения, обеспечивающего нам спокойствие на продолжительный срок. Там видно будет, что делать дальше. Поэтому он и пошел навстречу палестинцам так далеко, как ни один из прежних израильских лидеров.

Но Арафат вел свою игру. Он воспринял уход ЦАХАЛа из Ливана, готовность Барака к компромиссу и разброд в израильском обществе как проявления слабости. И решил ускорить выполнение своего плана поэтапной ликвидации Израиля.

Основным стержнем политики является стратегия. Тактику можно менять в зависимости от обстоятельств. Стратегия же должна оставаться неизменной.

Арафат мастерски реализовывал этот постулат.

Выжав все возможное из соглашений Осло, получив из рук незадачливых кормчих «мирного процесса» оружие, которым палестинцы нас же убивают, укоренившись в Иудее, Самарии и Газе, создав собственную армию, Арафат изменил тактику. Перешел от дозированного насилия к насилию перманентному.

Изворотливость Арафата, его высокий порог выживаемости, его редкая интуиция, его цинизм, сочетающийся с трезвым расчетом, — все эти качества давно сделали палестинского лидера мастером политического слалома.

Тридцать пять лет изнурительной борьбы за его плечами.

Тридцать пять лет он водил свой народ по пустыням изгнания. И если он сумел после больших и малых интриг и военных конфликтов остаться в живых и сохранить влияние, то лишь потому, что хорошо знал психологию не только своих врагов, но и своего народа.

Так во время войны в Персидском заливе, когда весь мир, включая и арабов, поднялся на Саддама Хусейна, Арафат оказался одним из немногих арабских лидеров, поддержавших «багдадского вора». И не из чувства симпатии к нему, а потому, что Саддам подкупил палестинцев своей угрозой обрушить на Израиль ракетные удары. Палестинцы молились на иракского диктатора, и Арафат сделал вид, что разделяет их чувства.

Ему пришлось долго расплачиваться за это. Саудовская Аравия лишила его дотаций. Его влияние в арабском мире упало почти до нуля. Ему грозила политическая смерть.

Он все это пережил. И если после Кэмп-Дэвида Арафат встал на военную тропу, то это потому, что предчувствовал, что взрыв на территориях был все равно неминуем. Арафат просто ускорил его, чтобы держать события под контролем.

За одну только неделю интифады он вернул утраченные позиции.

Еще бы! Он ведь объявил поход на Иерусалим под зеленым знаменем ислама, выпустил из тюрем хамасовских убийц и задействовал против Израиля своих камикадзе.

Что касается личной жизни Арафата, то, хотя уже в весьма преклонном возрасте, он женился и даже обзавелся ребенком — семьи у него нет. Друзей — тоже нет.

Какие друзья, какая семья могут быть у того, кто является живым воплощением национальной идеи?

Если мы поднимем его фотографии тридцатилетней давности, то увидим тот же френч, ту же куфию: Арафат ничего не меняет в своем облике, получившем законченную форму много лет назад. Сохранил он и свои волчьи повадки, с которыми сжился еще в те далекие годы, когда был не «политическим деятелем», а вожаком террористической стаи.

Он все не может освоиться с тем, что из главаря террористической группировки превратился фактически в главу государства — с флагом, гимном, армией, почтой, биржей, телевидением.

Переезд в 1994 году из Туниса в Газу дался ему нелегко.

Он не терпел одиночества, не выносил домашнего уюта.

Он постоянно находился в движении — привычка старого конспиратора. И он метался — из дома в дом, из Газы в Рамаллу,

из Рамаллы в Бейт-Лехем, из страны в страну — до тех пор, пока Израиль не лишил его этой возможности.

В феврале 2001 года, во время выборов в Израиле, Арафат за один только месяц посетил 54 государства.

Сопровождавший его Саиб Арикат вспоминает: «Я с ног валился от усталости, а вождь, казалось, заряжался все новой и новой энергией от какого-то невидимого аккумулятора».

Арафат обожал экстремальные ситуации и страдал в периоды пусть даже относительного благополучия. Его жизненный тонус повышался, когда ему грозила опасность, когда он с героическим, как ему казалось, бесстрашием, почти в одиночестве, противостоял многочисленным врагам. Так было в бою при Караме, в дни «черного сентября», во время осады Бейрута и в ходе осады его канцелярии в Рамалле — уже при Шароне.

Арафат столь часто менял маски, но никто не знает его подлинного лица.

Маска героя — его самая любимая. Потому, быть может, что она по вкусу его народу. А про подлинное свое лицо он и сам забыл. Не было у него времени быть самим собой, да он в этом и не нуждался. Каждая маска как бы прирастала к его лицу, и он полностью вживался в новый образ.

«Палестинская революция — это я», — мог бы сказать он о себе, перефразируя слова Короля-Солнца. Он и террорист, и миротворец, и «президент Палестинского государства», и председатель ООП, и командир ФАТХа, и верховный главнокомандующий, и министр иностранных дел, ну и так далее. Все это можно выразить одним словом: он — вождь.

Он не терпел что-либо подписывать, ибо еще в начале своей террористической карьеры усвоил, что нельзя оставлять следов.

Многие помнят, как в начальный период интифады, во время парижских переговоров, он, в присутствии президента Франции и американского госсекретаря, вместо того чтобы поставить подпись под уже согласованным документом, вдруг швырнул авторучку и с воплем: «Американцы и израильтяне меня принуждают!» бросился к выходу. Мадлен Олбрайт с необычайным для ее тучности проворством кинулась за ним вдогонку с криком: «Закройте ворота! Не выпускайте его!»

Арафат — мастер устраивать скандалы подобного рода. Он считал, что это привлекает внимание мира к палестинской проблеме.

Палестинские арабы — сравнительно небольшая общность, не обретшая самостоятельного веса, зависимая от многих факторов, что заставляло Арафата крайне дорожить независимостью своей позиции. Больше всего он страшился превратиться в марионетку,

в игрушку чьих-либо политических страстей и амбиций.

Ни Египет, ни Сирия, ни Арабская лига не могли навязать ему свою волю. Арафат выслушивал каждого, но всегда поступал по-своему.

Его любимый герой и образец для подражания — Нельсон Мандела. В свободные свои минуты Арафат любил порассуждать о величии этого человека, который в исключительно сложных условиях добился-таки своего. Изменил облик ЮАР и показал белым свой характер.

В арабском мире Арафат отводил себе роль не только главы палестинского национального движения. Его мечта стать новым Саладином, освободителем Иерусалима.

Отсюда страх Арафата перед любыми уступками. Израилю. Он боялся, что зайдет слишком далеко и арабы заклеймят его как предателя. Вместе с тем он понимал, что соглашение с Израилем — это историческая необходимость.

В этой двойственности — источник его трагических метаний между миром и войной, между страхом и надеждой.

Разведслужбы предупреждали, что Арафат может заключить любое соглашение, но выполнять будет лишь те его пункты, которые способствуют реализации дела всей его жизни. Арафат ведь никогда не скрывал, что его конечная цель заключается в создании независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме. Об остальном уж пусть позаботятся потомки.

Не было у нас Александра Македонского, чтобы разрубить гордиев узел израильско-палестинских проблем одним ударом.

Барак вот попробовал, а что вышло?

Сумерки героя

Арафат, оказавшийся, на наше несчастье, незаурядным политическим стратегом, занялся реализацией своего плана поэтапного уничтожения «очага сионистской заразы». И в этом направлении продвинулся так далеко, что не стол переговоров может спасти Израиль, а нож хирурга, который отсечет присосавшуюся к его организму палестинскую пиявку.

Необходимо размежеваться с палестинцами, установить четкие границы между двумя народами. У Израиля с ними не должно быть ничего общего.

Барак, предлагавший именно это, был прав.

Беда лишь в том, что Барак оказался в положении купеческого сынка, в короткий срок промотавшего отцовское наследство.

В долг ему уже не давали. Кредит доверия был исчерпан.

Всего за полтора года и следа не осталось от огромной его популярности, потускнели связанные с ним надежды.

Он обещал мир — мы получили войну.

Он обещал безопасность — мы получили террор.

Он обещал быть премьер-министром для всех — а стал балластом даже для собственной партии.

Он обещал, что учащиеся иешив будут служить в армии наравне со всеми — и вступил в коалицию с ультраортодоксами, с чего и начались все его беды. И наши тоже.

Он обещал нам гражданские реформы и экономическое процветание.

Где все это?

Все осталось при Бараке. Аналитический склад ума, целеустремленность, статистика памяти, динамика воображения. Он человек многогранный, притягательный. Но и недостатки его не менее существенны. Некоторые из них — эгоцентризм и отсутствие политической интуиции — оказались фатальными.

Его компьютерного склада мозг препарировал сразу несколько альтернативных возможностей, уподобляясь иногда буриданову ослу, который, будучи не в состоянии выбрать между двумя одинаковыми охапками сена, — умер с голоду.

Политику противопоказана многосложность мышления.

У Барака же в загашнике всегда имелось несколько вариантов решения проблемы — часто взаимоисключающего свойства. Поэтому он столь резко менял и ориентацию, и принципы своей политики. Отсюда его головоломные зигзаги, которых никто не понимал — кроме, пожалуй, самого Барака.

Барак кто угодно, только не политик. Барак и сам это чувствовал. В интервью журналистке Симе Кадмон он прямо сказал:

«Я самый аполитичный премьер-министр из всех, которые когда-либо были в этой стране. Я вообще не политик, хотя в силу своих обязанностей мне приходится заниматься и политикой тоже. Но делаю это я не как политический манипулятор, а как государственный деятель. Я нахожусь в этой канцелярии не для того, чтобы кому-то понравиться, и не для того, чтобы идти по пути наименьшего сопротивления с целью выжить. Я нахожусь здесь, чтобы изменить облик государства».

Отсюда отвращение Барака к тактическим манипуляциям, конфиденциальным беседам, закулисным контактам — ко всему тому, без чего не существует политической жизни.

Не каждый политик — государственный деятель, но каждый государственный деятель обязан быть и политиком тоже.

К тому же Барак не умел придавать своим идеям размах

своей личности. Не было в нем чувственной мощи, без которой любой интеллект сильно проигрывает.

Человек, виртуозно разбиравший и складывавший любой механизм, оказался совершенно беспомощным в сфере человеческой психологии.

Эгоцентрист всегда видит перед собой зеркало. Он, разумеется, понимает, что существуют другие люди, и даже отдает им должное. Но для него ничего не значат их проблемы, их печали и радости. Эгоцентрист потому и эгоцентрист, что ставит себя в центр мироздания. Он не желает людям зла. Он к ним просто равнодушен.

Томми Лапид — этот старый мудрый медведь Балу наших политических джунглей в канун принятие кнессетом решения о досрочных выборах провел с Бараком целый день, пытаясь склонить его к формированию кабинета чрезвычайного положения.

«Я еще не видел столь умного человека, который наделал бы столько глупостей. Я еще не видел столь обаятельного и дружелюбного человека, который за столь короткий срок сумел бы обрести столько врагов. Барак не умеет с людьми работать. Этим и объясняется его провал как политика», — подвел Лапид короткий итог этой беседе.

Точный диагноз, ничего не скажешь.

Все это правда, но не вся правда.

Вспомните, в каких условиях Барак принял на себя бремя тяжелейшей ответственности за судьбу государства.

Он пришел к власти в период амортизации национальных ценностей, социально-общественного разброда.

Израиль, семимильными шагами удалившийся от своей героической юности, устал от столетней войны с палестинцами, с арабским миром и неожиданно как-то состарился.

Норвежские соглашения, деморализовавшие и развратившие общественное сознание, навевали сладкие грезы, и убаюканный ими народ стал терять инстинкт самосохранения.

Барак, кстати, не делавший культа ни из религиозной, ни из партийной мифологии, был единственным министром в правительстве Рабина, не проголосовавшим за норвежскую сделку.

— Ицхак, — сказал он Рабину, — Арафат ведь лжец и фигляр. Разве можно верить этому человеку?

— Зато он умеет обращаться со своим сбродом. И, приняв из наших рук ограниченную власть, станет нашим суперполицейским на территориях, — ответил Рабин.

К сожалению, наша история — это не только летопись

мужества, страданий и доблести, но и история нашей глупости.

Война правых с левыми начала принимать абсурдный характер. Место трибунов типа Бегина заняли болтуны. Их бешеные речи создавали в стране истерическую атмосферу.

Мы так и не превратились в единый народ. Нет у нас сцепления между светскими и религиозными, этническими и социальными слоями общества — все они действуют как центробежные силы, разрывающие его на части.

И, самое главное, нет у нас элиты, которая была бы эталоном для масс. У нас массы создают свои эталоны, выдвигая мелких лидеров, которыми легко помыкать. Массы считают себя равными своим избранникам и тем самым обрекают их на политическую импотенцию.

Нет политической культуры. Нет уже ни норм, ни идеалов, которые сохранили бы свою правомочность. Формально они еще существуют, к ним еще апеллируют, но они уже давно не воспламеняют души. Простой камуфляж — и только.

Идеологии всюду вырождаются. И у нас тоже.

Но вместе с ними вырождались и партии, все еще продолжающие играть ключевую роль в нашей политической жизни. Естественный отбор начал происходить не по принципу от худшего к лучшему, а наоборот.

Стоило лишь взглянуть на наш крикливый, пестрый, безответственный кнессет. Это же были не народные избранники, а гоголевские персонажи: Маниловы, Ноздревы, Хлестаковы, Собакевичи.

Такой парламент разъедал любого премьер-министра, как кислота.

Чтобы получить иной кнессет, нужно было изменить систему выборов. Но гоголевские персонажи самоубийством не кончают.

Так что солжет вам тот, кто скажет, что в такой атмосфере, в таком кнессете кто-то преуспел бы лучше, чем Барак.

Даже Биби Нетаниягу не хотел этого кнессета, как невеста прыщей на лице. Он-то знал, что там ждет его в случае победы на персональных выборах главы правительства.

Барак, несмотря на все свои «зигзаги», цельная натура. На самом деле им всецело владела одна-единственная идея, включающая в себя все остальные.

Он хотел обеспечить Израилю выживание при любых обстоятельствах, а оказался в положении Кассандры.

Его словам не верили, над его пророчествами смеялись.

Он предупреждал об угрозе тотальной войны, а его обвиняли в дешевой предвыборной пропаганде.

Зажатые им палестинцы с трудом могли дышать, а его

обвиняли в том, что он не дает ЦАХАЛу победить.

Этот кормчий надеялся привести свой корабль в надежную гавань, а кругом вопили, что он держит курс прямо на скалы.

Среди тех немногих, кто понимал Барака, находился и Ариэль Шарон, его политический соперник.

Этих людей связывали узы военного товарищества. И если оставить в стороне так называемое интеллектуальное превосходство Барака, конфузящее многих, то они похожи, хоть и принадлежат к разным поколениям.

Оба любили книги и музыку: Барак играл на рояле, а Шарон — на скрипке. Оба обладали цельностью характера и упорством. Оба понимали, что национальная монолитность важнее всего.

Им было бы легко работать вместе.

Не для того, чтобы позлить Биби, заявил Шарон под свист и улюлюканье в ликудовской цитадели, что если он выиграет выборы, то отдаст Бараку портфель министра обороны. Шарон действительно верил, что лучшей кандидатуры на этот пост ему не найти.

Когда незадолго до выборов 2001 года решалась судьба переговоров о кабинете национального единства, Шарон провел в гостях у Барака целые сутки.

Все козыри показал глава правительства лидеру оппозиции, бывшему своему командиру. Те самые козыри, которые, по его замыслу, должны побить в конечном итоге карты Арафата.

Барак рассказал о плане ликвидации вожаков палестинского террора, о хитроумных действиях ЦАХАЛа, о методике подавления интифады,

Шарон, вначале слушавший с равнодушием видавшего виды старого служаки, все больше оживлялся и наконец воскликнул:.

— Эхуд! Нельзя сделать все это лучше, чем делаешь ты!

Когда после жесточайшего поражения на выборах Барак решил все же принять из рук Ариэля Шарона портфель министра обороны, он знал, что действует против собственных интересов. Знал, что последний его зигзаг может оказаться той самой каплей, переполняющей чашу.

Но Барак полагал, что рядом с Шароном должен находиться человек, который мог бы влиять на него и ограждать от стратегических просчетов. Интересы дела требовали, чтобы эти люди были вместе. Но тут-то и возникли непреодолимые трудности.

За обоими лидерами шлейфами волочились деморализованные партии, пропитанные трупным идеологическим ядом. Они боялись союза этих двух людей.

Интересы государства не совпадают с интересами партийных

функционеров.

Те, кто свыше полутора лет шли за Бараком с покорностью овечьего стада, стали травить его как волка, со всех сторон обложив партийными флажками.

И Барак ушел окончательно, потому что политическую борьбу не ведут в одиночку.

* * *

Жалкое зрелище представляли собой пигмеи, плясавшие вокруг поверженного великана, предавшие его в вихре сражения, оставившие одного на поле боя.

Они мародерствовали потихоньку и тянули руки свои к его шлему. Но не было среди них никого, кому бы он пришелся впору.

Шимон Перес, похожий на мумию в Британском музее?

Да, он был любимым учеником Бен-Гуриона, самым выдающимся нашим технократом. Но он давно уже превратился в живой анахронизм, пережив и своих старых соратников, и свои звездные часы, и свои возможности.

Это по его настоянию был доставлен из тунисской пустыни в Газу Арафат вместе со всей своей бандой. Это ему обязаны мы нашим кошмаром.

Вся еще оставшаяся в нем жизненная энергия уходила на интриги.

Его движущий стимул — это жажда власти. Та самая жажда, которую честолюбцам никогда не утолить до конца. Это он пакостил Бараку как мог в ходе прямых выборов главы правительства и призвал его сделать выводы еще до закрытия избирательных участков. Он, так и не сделавший никаких выводов из пяти своих поражений в борьбе за власть.

Об остальных нечего и говорить.

И тем не менее люди из окружения Барака могут сказать в свое оправдание:

«А он с нами считался? А он с нами советовался? Барак нас всех в грош не ставил. Он на нас плевал. Так вправе ли такой человек требовать от нас верности?»

И они тоже будут правы.

Создается впечатление, что у Барака атрофирован этический нерв, регулирующий взаимоотношения между людьми. Формирующаяся где-то в недрах души загадочная субстанция, определяющая нравственные качества человека, у него ущербна.

Того, кто замкнут в своем эгоцентризме, как в панцире,

нельзя назвать ни хорошим, ни дурным. Его просто не интересуют чужие заботы.

Солдат, который раньше никогда не оставлял раненых на поле боя, с легкостью жертвовал самыми верными своими товарищами в крупной политической игре. Плохо приходилось тем, кто хранил ему верность.

В партии Авода никто не был так предан Бараку, как Эли Гольдшмидт. Поведение партийных пигмеев настолько потрясло его, что он решил уйти из политической жизни вместе со своим кумиром. И ушел. У него слово не расходилось с делом.

А Барак, совершивший очередной кульбит, — остался. Потом, правда, тоже ушел, но Гольдшмидт уже был тяжело травмирован нанесенной ему обидой.

Месяца за два до выборов Барак, выступая на встрече с русскоязычными журналистами, сказал…

Даже как-то неловко об этом писать.

Короче, он высказался в том духе, что «мы» потеряли в завихрениях интифады 42 человека, а «они» в десять раз больше. Так что это у них должна быть головная боль, а не у нас.

* * *

То, что политическая карьера Барака закончится именно так, наиболее проницательные люди знали уже давно.

И первым провозвестником грядущего несчастья стал полковник запаса Хаим Мендель-Шакед, бывший наш военный атташе в Италии, бывший начальник канцелярии Барака, повсюду сопровождавший его на протяжении шестнадцати лет.

Если уж обращаться к литературным реминисценциям, то Барак больше всего напоминает Дон Кихота, сражающегося с ветряными мельницами. Но Дон Кихот немыслим без своего верного оруженосца. Они — единое целое. Иррациональное безумие одного уравновешивается трезвым практическим мышлением другого.

Что бы представлял собой Дон Кихот без Санчо Пансы?

Смешного нелепого безумца — и только. А когда Панса рядом — он Рыцарь печального образа.

Мендель-Шакед и был Санчо Пансой Барака.

Он искренне любил его, ограждал от ошибок. Барак был неуязвим, когда рядом с ним скакал этот оруженосец на своем ослике.

Мендель-Шакед продолжает его любить, но кровоточит его сердце, потому что он предвидел и предсказал то, что случилось.

Пространное письмо, которое он написал Бараку уже на девятый день после ослепительной победы на выборах 1999 года, содержит изумительный анализ положительных и отрицательных его качеств и кончается так:

«С сожалением осмеливаюсь констатировать, что твое поведение после выборов свидетельствует о неуверенности в себе. Это не тот Эхуд, которого я знаю. Что-то изменилось в тебе за последние годы, и, к сожалению, не в лучшую сторону. Ты утратил веру в действительно близких тебе людей, у которых нет иных интересов, кроме твоего благополучия. Вместо них ты окружил себя дилетантами, делягами, эгоистами, манипуляторами, карьеристами, лжецами, Все они знают твои слабые стороны и пользуются ими в своих интересах. Эти люди эксплуатируют тот факт, что ты оторван от действительности и не видишь того, что творится вокруг тебя. Они заботятся о том, чтобы ты был отрезан от источников подлинной информации…

Эхуд, в твоем кабинете, когда никто не слышит, должен быть кто-то, кто скажет тебе правду в лицо. Ты не умеешь управлять людьми, ты не разбираешься в человеческой психологии, ты ошибаешься в подборе своего окружения. С этим необходимо кончать. Ты больше не имеешь права ошибаться, ибо отныне каждая твоя ошибка будет причинять непоправимый ущерб».

Барак проигнорировал это письмо. Он уже не замечал Менделя-Шакеда с сияющей вершины, на которую взобрался. И его верный оруженосец ушел, оставив Дон Кихота одного. И начался бардак в его канцелярии, в правительстве, в государстве.

Дон Кихот почти все испортил сам — быстро и элегантно. А остальное довершило его окружение.

Несбывшиеся надежды

Эхуд Барак родился и вырос в кибуце Мишмар а-Шарон вблизи Нетании, в семье Эстер и Исраэля Бруг, местных старожилов.

Четверо сыновей было у них: Эхуд, Авиноам, Мули и Реувен.

Эхуд — старший.

Все братья служили в отборных частях, но лишь Барак выбрал военную карьеру. Вернее, это она его выбрала, потому что он довольно долго колебался в определении жизненного пути.

О Бараке говорят, что ему чертовски везло. Он, дескать, «в рубашке» родился. Все, мол, шло ему на пользу.

Но ведь многим людям везет, однако далеко не все используют свое везение наилучшим образом. Везение без целеустремленности немногого стоит.

Барак никогда не упускал своего шанса.

К тому же везло ему не всегда. Служба в армии, например, началась для семнадцатилетнего парня с одних огорчений. Барак мечтал о летной школе — и был забракован на первом же экзамене. Очень уж несолидный был у него вид.

Рост — 165 (правда, в последующие годы он вытянулся еще на несколько сантиметров). Вес — 57 килограммов.

Худой, щуплый, даже хилый. Тонкая талия. Бритва еще не касалась лица. Выглядел хрупким, женственным, что не внушало доверия.

Да и коэффициент здоровья он получил на грани. Всего 89.

Подними комиссия планку чуть выше — и не видать бы ему боевых частей.

Он попросился в бронетанковые войска — а его определили в пехоту. Да еще в полк, куда ЦАХАЛ сплавлял балласт. Барак оказался среди парней, выросших в кварталах бедноты. Были там и «ухари», конфликтовавшие с законом, и те, на кого все уже по разным причинам махнули рукой.

В кибуце стали поговаривать: «Нашему-то не взлететь…»

Прошло полгода.

В армии ширились слухи о том, что в какой-то дыре, в проблематичном полку есть парень с кошачьими рефлексами, открывающий замки, как Гудини.

Слухи эти дошли до Авраама Арнана, как раз тогда формировавшего отряд специального назначения при генштабе. Арнан рыскал по всему ЦАХАЛу, отбирая самых лучших.

По замыслу, новый спецназ должен был стать тем, чем был знаменитый 101-й полк в шестидесятые годы. Выполнять задания, недоступные «простым смертным».

Арнан пожелал увидеть «чудо», о котором столько говорили.

А когда увидел, то уже не захотел его отпустить…

Сегодня спецназ генштаба — это суперэлита ЦАХАЛа. На его счету десятки сложнейших операций, зачастую настолько неимоверных, что самая буйная фантазия не в состоянии вообразить ничего подобного.

И самые громкие из них, отпечатавшиеся в национальном сознании, связаны с именем Барака. Не случайно у него рекордное количество боевых наград. Четыре знака отличия за доблесть и медаль за особые заслуги.

Барак планировал и осуществлял такие операции в тылу врага, о которых мы узнаем, быть может, лет через пятьдесят, когда, будем надеяться, Израилю уже не понадобится держать их в секрете.

Но не станем останавливаться на подвигах Барака. Отметим

лишь, что он, проделавший весь путь от рядового до главнокомандующего, навсегда сохранил особое отношение к спецназу, ставшему его домом на долгие годы. Именно в этой части он получил четыре из пяти своих наград.

Проблема, однако, в том, что в глубине души Барак так и остался спецназовцем, что спустя много лет в чем-то предопределило его провал как политика.

У людей со спецназовской прививкой особая психология. Они, как никто, владеют искусством выживания. Их тактика — это удар и отступление. И опять удар — и отступление. Это у них в крови.

Но руководить государством, основываясь на спецназовском опыте, нельзя.

Спецназ изначально был на особом положении. Его операции утверждались лично начальником генштаба: бойцам ведь часто приходилось действовать во вражеском тылу и любой провал мог привести к международным осложнениям.

Еще до получения первого своего офицерского звания Барак стал незаменим при планировании операций. Его острый ум просчитывал все возможные варианты. Он знал, как обеспечить успех, не переходя грани допустимого риска. Он был и мозгом всего дела, и исполнителем, не знавшим неудач.

Поэтому когда в начале семидесятых Барак — тогда еще младший офицер — по разным делам заходил в генштаб, прославленные генералы относились к нему как к равному. Один из них даже сказал, что, в отличие от Александра Македонского, Эхуд Барак развязал бы «гордиев узел» сразу, не прибегая к мечу.

И вот такой офицер в двадцать четыре года ушел из армии.

Но пусть лучше об этом расскажет Менахем Дигли — первый командир Барака в спецназе. Это потом Бараку почти странной казалась сама мысль о том, что и у него были когда-то командиры…

Менахем Дигли — сам личность легендарная. Умный, до безумия храбрый, с чутьем и инстинктами хищного зверя, он оставил военную службу, потому что ее жесткие ограничения были ему в тягость.

«Эхуд ушел из армии в канун Шестидневной войны, — вспоминает Дигли. — Насколько мне помнится, подрабатывал он в то время в частном бюро расследований, чтобы оплачивать учебу в университете. ЦАХАЛ тогда вовсе не считался трамплином к политической карьере. Снявшие мундир генералы предпочитали заниматься бизнесом, а не политикой.

Потом шкала ценностей изменилась. Израиль превратился в империю, а ЦАХАЛ стал имперской армией. Удельный вес

отставных генералов в политической жизни резко возрос.

Однажды, в начале 1968 года, я спросил Эхуда, чем он занимается и какие у него планы.

Эхуд, усмехнувшись, сказал, что он человек амбициозный и хотел бы влиять на судьбы — если не мира, то хотя бы своей страны.

Я удивился и спросил:

— Так почему же ты ушел из армии? Для тебя ведь кратчайший путь наверх — это военная карьера. Возвращайся в ЦАХАЛ, и как можно скорее.

— Знаешь, по многим причинам я ведь действительно хочу все переиграть, — ответил Барак.

В тот же день он позвонил Аврааму Арнану и вернулся в спецназ, где вскоре сменил меня на посту командира.

Обычно, когда кто-то получает в армии новую должность — командование ротой, батальоном, полком, дивизией, — это так переполняет душу, что человек как бы застывает. Его уже не интересует, что будет после. Он не думает о завтрашнем дне. Живет сегодняшним, а завтра будет завтра.

У Эхуда это не так. Он начинает думать о том, что же дальше, как только осваивается с новыми обязанностями. Все ему впору, как хорошо сшитый костюм, но уже через месяц Эхуд исчерпывает возможности своего нового положения. Он знает, какая должность ждет его впереди.

И все это знают. И тот, кто опережает его в табели о рангах, тоже знает. Не легко тому жить, кому Барак „наступает на пятки“.

Поэтому в ЦАХАЛе у него было так много недоброжелателей и завистников. Ну кто же в армии не знал, что Эхуд отмечен свыше».

О феноменальных способностях Барака лучше всех сказал Амнон Липкин-Шахак, его боевой товарищ:

«Эхуд подобен самонаводящейся ракете с электронной боеголовкой. Такая ракета несется к цели совершенно бесшумно, но сфера ее действия чрезвычайно широка. Эхуд не нуждается ни в наводке, ни в корректировке. Он сам планирует траекторию полета, сам выбирает цель и сам в последнюю секунду способен изменить курс. Но можно не сомневаться, что Барак обязательно достигнет цели, к которой стремится».

К сожалению, такая ракета пригодна лишь для военных целей…

* * *

События, определяющие судьбы людей и народов, редко происходят без предупреждения. Богини судьбы Мойры высылают сперва своих гонцов с закрытыми лицами, но люди их обычно не замечают и не придают значения загадочным символам.

Разве мог представить молодой командир спецназа Эхуд Барак, что через тридцать лет ему придется оспаривать право на высший пост в государстве у своего бойца Биньямина Нетаниягу?

И разве не странно, что лучший друг Барака Йони Нетаниягу, павший смертью героя в Энтеббе, — родной брат того, кто стал его политическим соперником?

История, раскладывая свой пасьянс, предпочитает неожиданные комбинации.

Странными нитями связала Барака судьба с братьями Нетаниягу. Йони, с его живой, мятущейся, ищущей душой, был ему близок как никто. Они даже поселились в одном доме, чтобы чаще общаться.

С Биби у Барака сложились более прохладные отношения, ибо и внешне, и по характеру они — антиподы.

Биби выделялся умом, честолюбием, фанатичным упорством, уже тогда связанным с тягой к самоутверждению.

Он был хорошим спецназовцем.

Много лет спустя в вихре политической борьбы, не всегда честной и корректной со стороны соперника, Барак ни разу не позволил себе каких-либо критических высказываний относительно военного прошлого Биби.

Братья Нетаниягу были его бойцами, и никогда Барак не брал их вместе на опасные задания.

— Послушай, Эхуд, — умоляли они, — ведь мы — братья. У нас скоординированы не только действия, но и мысли. Для пользы дела мы оба должны участвовать в операции.

— Ни в коем случае, — отвечал Барак. — Если с вами двумя что-то случится, — как я посмотрю в глаза вашим родителям? Что им скажу? Пойдет один…

Йони, ворвавшийся во главе ударного отряда в аэропорт Энтеббе, был сражен пулей угандийского снайпера.

Барак находился в то время в Кении. Он, разработавший вместе с Даном Шомроном угандийскую операцию, в ней не участвовал, ибо был отправлен в Кению — получить разрешение тамошних властей на заправку в аэропорту Найроби возвращающихся из Уганды «геркулесов».

На одном из них находилось тело его погибшего друга…

А вот что рассказал в канун выборов 1999 года Авшалом Вилан, в прошлом один из лучших бойцов спецназа:

«В одной из тайных операций мы с Биби участвовали вместе.

Газеты об этом не писали и не напишут еще лет сорок.

Биби любит иногда в интервью припомнить об этом старом деле, причем отнюдь не случайно.

— Это самая крупная военная операция, которой я командовал в полевых условиях, — поясняет он обычно.

И действительно, Биби есть чем гордиться.

При этом он всегда почему-то забывает упомянуть самую важную деталь: общее руководство этой операцией осуществлял майор Эхуд Барак. Ее успех явился следствием удачного сочетания ума Эхуда и упорства Биби.

И если сегодня кое-кто пытается сравнивать двух спецназовцев — Эхуда и Биби, — то каждый, знающий положение дел изнутри, без колебаний скажет, что как интеллектуал и военный стратег Барак был на голову выше всех остальных.

Биби же был хорошим офицером, но не более того.

Сегодня эти двое соперничают за высший командный пост в государстве, а для меня это скачки с одним жокеем.

Не понимаю, как весь народ Израиля не видит того, что вижу я: Эхуда и Биби даже сравнивать нельзя…»

* * *

9 апреля 1973 года ЦАХАЛ провел одну из самых дерзких своих операций под кодовым названием «Весна молодости».

Прямо в сердце Бейрута на своих квартирах были ликвидированы несколько главарей палестинского террора.

Известно, что командир отряда коммандос Эхуд Барак был переодет в женский жакет. «Симпатичная брюнетка» ни у кого не вызывала подозрений.

Но мало кто знает, что в последнюю минуту у нескольких спецназовцев возникли серьезные колебания относительно морально-этической стороны подобной операции.

Сам начальник генштаба Давид Элазар встретился с бойцами, чтобы разрешить их сомнения.

Амитай Нахмани — храбрейший из храбрых — прямо спросил командующего, не противоречит ли запланированная акция нормам международного права.

Дадо ответил, что важнейшей обязанностью каждого государства является защита своих граждан и что главари террора сами поставили себя вне правовых норм, принятых в любом человеческом обществе.

В ту же ночь Нахмани оказался лицом к лицу с пресс-секретарем ООП Камалем Насером. Камаль успел вскинуть

пистолет, но Нахмани опередил его на долю секунды.

Через полгода, в вихре Войны Судного дня, Нахмани погиб.

Это он сказал Бараку, когда тот покидал спецназ:

— Эхуд, всем известно, что ты будешь и генералом, и главнокомандующим, и премьер-министром. Но, пожалуйста, всегда оставайся Эхудом.

У Барака не бывало таких сомнений, как у Нахмани.

Когда он был «первым солдатом», то знал, как разговаривать с убийцами, знал, что нужно делать, чтобы всем нам выжить в ближневосточных джунглях.

Знал до тех пор, пока не стал «первым политиком»…

В том же 1973 году Барак представил в генштаб свой план ликвидации Ясера Арафата.

План неуязвимый, безупречный. Все было учтено, взвешено, продумано. Арафат не мог избежать ловушки. Барак гарантировал успех.

Но тогдашний начальник военной разведки Эли Заира сказал: «План-то хорош. Но Арафат давно уже фигура политическая. Нам смысла нет в его ликвидации. Операцию не разрешаю».

Вскоре после этого Барак взял отпуск и отправился вместе с семьей в Соединенные Штаты — изучать системный анализ в Стэнфордском университете. Не успели распаковать чемоданы, как грянула весть: Израиль в огне. Война…

Барак бросился в аэропорт, где ему уже забронировали место в самолете, и на следующий день оказался в Израиле.

Начальник генштаба Давид Элазар был, как всегда, подтянут и спокоен, но наметанным своим глазом Барак сразу увидел, чего стоит главнокомандующему это спокойствие.

— Положение тяжелое, — коротко проинформировал Дадо молодого подполковника, — возьми резервный танковый полк и двигай к Суэцкому каналу. Надо вытащить из ловушки Ицика и его людей.

Танки Барака, появившиеся в районе Китайской фермы в самую критическую минуту, нанесли отвлекающий удар, обеспечив возможность отхода попавшим под шквал египетского огня парашютистам подполковника Ицхака Мордехая.

Сражение у Китайской фермы вызвало много споров.

Мордехай утверждал, что Барак с опозданием пришел к нему на выручку. Большинство военных специалистов этого мнения не разделяют.

Пытаясь остановить полк Барака, египетское командование нанесло контрудар лучшей своей моторизованной бригадой. Танки сражались на нулевом расстоянии, как бойцы в рукопашной. У танкистов Барака нервы оказались покрепче, и

они победили.

После войны было уже не до университетов. Барак продолжал служить на разных должностях, в разного рода войсках, но с неизменным успехом.

В 1982 году он стал самым молодым генерал-майором в израильской армии.

Все бы хорошо, но были у Барака весьма влиятельные недоброжелатели. Начальник генерального штаба Рафаэль Эйтан его явно недолюбливал.

Рафуль, по-крестьянски обстоятельный, медлительный, обладавший врожденными стратегическими способностями и львиным сердцем, никогда не интересовался миром музыки и книг. Его раздражала уверенность Барака в своем интеллектуальном превосходстве.

Преемник Рафуля Моше Леви также с подозрением относился к этому молодому генералу, любимчику Рабина, считал его снобом.

Оба начальника генштаба чувствовали некоторую неловкость в присутствии Барака. Его это забавляло. Улыбка становилась шельмовской и расшифровывалась примерно так: вы ведь знаете, что я знаю, что вы знаете, что я умнее вас…

Эти невинные забавы обошлись бы ему дорого, если бы не поддержка Рабина и Шарона. У них, к счастью, его интеллектуальные способности не вызывали комплексов.

Все были уверены, что Барак станет начальником генштаба уже в 1987 году, но, по настоянию Рабина, высший командный пост достался тогда Дану Шомрону. Министр обороны считал, что Барак должен еще пообтесаться.

Уязвленный Барак хотел уйти из армии, но Рабин отговорил его.

— Ты с Даном прекрасная пара, — сказал он, — как раз то, что нужно для пользы дела. Ну а через четыре года главнокомандующим станешь ты.

Барак смирился. Рабин вообще имел на него почти магическое влияние.

Дан Шомрон вошел в историю как главнокомандующий периода первой интифады. На его заместителя, «счастливчика» Барака, эта тень не упала. Справедливо, наверно, потому, что именно Бараку принадлежит в подавлении той интифады решающая роль.

Созданные по его проекту ударные отряды «лазутчиков» сумели выявить и нейтрализовать главарей беспорядков, после чего интифада скончалась в конвульсиях…

* * *

1 апреля 1991 года Эхуд Барак стал начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля.

У власти в то время находился Ликуд. Премьер-министром был Ицхак Шамир. Министром обороны — Моше Аренс.

Ицхак Рабин сидел на скамье оппозиции.

Вошедший в правительственную коалицию Рафаэль Эйтан с присущим ему упорством отстаивал кандидатуру Йоси Пеледа на высший командный пост.

Пелед ведь четко придерживался правой ориентации. Барак же считался креатурой Рабина. Шансов у него вроде не было.

Но Шамир и Аренс думали прежде всего о пользе дела. Посоветовались с Рабином. Тот лишь пожал плечами: какие, мол, сомнения? Разумеется, Барак.

Ни Аренс, ни Шамир возражать не стали.

В счастливый для Барака день правительственный секретарь Дан Меридор совершал поездку по северным поселениям. Дан и Эхуд принадлежали к разным политическим лагерям, что отнюдь не мешало их дружбе. Барак говорил, что никогда не закончил бы университета, если б не конспекты Лиоры, жены Дана.

В одном из поселений к Меридору подошла женщина и раздраженно сказала:

— Да как же вы допустили, чтобы начальником генштаба был назначен этот левак?

Дан внимательно на нее посмотрел и спросил:

— У вас есть кто-нибудь в армии?

— Сын, — ответила женщина и с гордостью добавила: — в Голани служит.

— Если бы вашего сына послали на опасное задание, то кого бы вы хотели видеть его командиром? Того, кто голосует за Ликуд, или самого лучшего? — поинтересовался Дан.

— Разумеется, лучшего, — удивилась женщина странному вопросу.

Меридор усмехнулся:

— Эхуд Барак и есть лучший.

В армии Барак был на своем месте…

* * *

1 января 1995 года Эхуд Барак снял военный мундир, который проносил 35 лет. Он не хотел сразу же входить в политические джунгли.

Как Атланту, избавившемуся от неимоверной тяжести, ему хотелось расправить плечи, отдохнуть, не разлучаться с семьей, переменить занятия.

В конце концов надо было подумать и о материальном достатке.

Ведь что главное в бизнесе? Сделать первый миллион.

Бараку с его связями это не составило бы особого труда.

Вся семья отправилась в Соединенные Штаты. Но стать миллионером Бараку так и не удалось. Он не успел еще наладить деловых контактов, как последовал звонок Рабина.

— Эхуд, — заявил премьер-министр, — ты мне нужен. Возвращайся немедленно.

И Барак вернулся. Как бывшему начальнику генштаба ему полагался годовой отпуск с сохранением оклада и разные льготы — в том числе финансовые. От всего этого пришлось отказаться.

Рабин форсировал события. Ему было нелегко. В левом правительстве Рабин был самым правым. Ему нужен был кто-то правее него, чтобы наладить устойчивое равновесие.

Барак был ему необходим.

— Эхуд, — сказал Рабин, принимая бывшего командующего в своей канцелярии, — ты хотел бы с годик попастись на вольных лугах. Я понимаю. Мне даже трудно объяснить тебе почему, но поверь моей интуиции: ты должен войти в политику уже сейчас. Немедленно.

И Барак не смог отказать человеку, которому был стольким обязан.

19 июля 1995 года Эхуд Барак получил портфель министра внутренних дел.

Он убеждал Рабина в необходимости замедлить темпы «норвежской перестройки» и объяснить народу, что происходит.

Палестинцы уже начали нас убивать, но Арафат еще не сбросил маску миротворца и выражал при каждом теракте великое негодование. Он даже арестовал наиболее рьяных убийц и держал их под замком в курортных условиях.

4 ноября выстрелами в спину был убит Ицхак Рабин.

Весь Израиль впал в шоковое состояние. Барак же воспринял произошедшее и как личную трагедию.

Вскоре Перес и Авода проиграли выборы.

Настал час Нетаниягу.

Отброшенная в оппозицию Рабочая партия поменяла Переса на Барака.

У нового лидера были проблемы с амбициозными партийными функционерами — но даже им было ясно, что только Барак может вернуть Аводу к власти.

Одно лишь его решение попросить прощения у выходцев из афро-азиатских стран за былую дискриминацию чего стоит.

Барак перстами прикоснулся к незаживающей нашей ране.

Этническая рознь — большая беда Израиля. Справиться с ней можно, лишь воскресив давно похороненное доверие.

В шестидесятые годы репатрианты из афро-азиатских стран столкнулись на обретенной родине с атмосферой презрительного высокомерия. Их не понимали, над их культурным уровнем смеялись, их посылали в районы, мало приспособленные тогда для жизни.

Все это возвело между братьями некое подобие Китайской стены.

Правительство Рабина, желавшее ее разрушить, вложило сотни миллионов шекелей в районы развития, но ненависть к Рабочей партии в этой среде не стала меньше.

Не деньгами искупается вина и не словами.

Поступок Барака был более красноречивым, чем сказанные им слова.

Как ни странно, даже среди рафинированных интеллектуалов его шаг встретил плохо скрытую враждебность.

Мол, нам извиняться?! Да было бы перед кем! И вообще, кто дал ему право просить прощения от нашего имени?!

Так, примерно, прореагировали некоторые отцы респектабельных семейств, кичащиеся своей порядочностью. Люди, пораженные расистскими бациллами, часто этого не осознают и весьма негодуют, услышав подобного рода обвинения.

Писатель и журналист Амнон Данкнер, рассердившись за что-то на выходцев из Марокко, заявил, что они ему не братья… Правда, тут же спохватившись, Данкнер публично попросил прощения за эти слова.

Его газетный босс, известный журналист с устойчивой либеральной репутацией, защитник прав бедуинов и «угнетенного арабского меньшинства», очень удивился. И спросил Данкнера:

— С чего это ты так унижаешься перед этими бабуинами?

Данкнер был настолько потрясен, что ушел из этой газеты. Потом, правда, вернулся.

Принципы — принципами, а семью-то кормить надо…

Два часа с Бараком

За несколько месяцев до выборов 1999 года из штаба лидера оппозиции Эхуда Барака мне позвонила приятная во всех отношениях дама и предложила написать эссе об этом человеке.

— По заказу не пишу. Не умею, — попытался я уклониться от

этой чести.

— Это не заказ, а предложение, — настаивала она. — Мы ведь не выдвигаем никаких условий. Цензуры не будет. К тому же если вам понадобится интервью с Бараком, то — пожалуйста.

Интервью понадобилось. Перелопатив груды архивного материала, я хотел выверить впечатление и кое-что уточнить.

Ну а товарищ мой Саша Окунь, создавший вместе с Игорем Губерманом популярную радиопрограмму «Восемь с половиной», решил сделать о Бараке передачу.

К тому же ему тоже хотелось выверить впечатление от своей единственной встречи с Бараком.

Тут придется сделать небольшое отступление.

Как художнику, Окуню сродни мастера старой, столь любимой им итальянской школы.

Где только не возвышаются замечательные художники и музыканты подобно одиноким вершинам! Но Окунь считает, что только в Италии живопись и музыка, воплотившись в отдельных личностях, стали одновременно частью народного мироощущения.

К тому же он любит импровизировать на рояле, а его редкие вылазки в мир литературы вызывают тихую зависть у профессионалов пера.

Окунь — сибарит, гурман, ценитель аристократической утонченности.

Ему больше по нраву видеть, чем слышать. Его стихия — созерцание. Наслаждаясь музыкой, он успевает заметить, какой вереницей чувств отражается она на лицах красивых женщин.

На иерусалимском концерте Джессики Норман, примадонны мирового вокала, и встретился Окунь с Бараком, тогда начальником генштаба.

Сразу после концерта, очарованный дивным голосом Джессики, отправился Окунь за кулисы, чтобы выразить свой восторг. Его остановил телохранитель певицы. Объясняться было бесполезно. Ни один меломан не смог бы преодолеть этого препятствия.

И вдруг телохранитель почтительно посторонился, уступая дорогу человеку невысокого роста, поразившему воображение Окуня беглым, но выразительным сходством и со знаменитым императором французов, и с Карлсоном, который живет на крыше.

Саша узнал этого человека и проводил завистливым взглядом.

А Барак вдруг обернулся и, увидев выражение его лица, показал язык.

— Ты понимаешь, — говорил Окунь, — это было проявление той детскости, того наивного добродушия, которые присущи только высокоодаренным людям, отмеченным свыше особой печатью.

В назначенный день мы с Сашей двинули в Тель-Авив.

Посидели в уютном кафе на набережной Яркона. Разработали стратегию «атаки» на лучшего солдата Израиля. И явились в партийную цитадель Аводы на улице Яркон.

В тот самый дом из розового камня на берегу моря, где 16 мая 1948 года Давид Бен-Гурион с командирами Хаганы в напряженном молчании ждали сообщений о вторжении арабских армий в новорожденное еврейское государство.

Эхуд Барак появился точно в назначенный час. И хоть ему не всегда удается преодолеть плебейскую враждебность толпы, в беседе с глазу на глаз он блестящ, убедителен, неотразимо логичен. Я думаю, что это признают даже его враги.

Мы сразу сказали нашему именитому собеседнику, что нас в данном случае интересует не Барак-политик, а Барак-человек. Саша включил магнитофон, и началось двухчасовое интервью — не интервью даже, а монологи — импровизации на заданные темы.

О двух полушариях головного мозга

— Господин Барак, — начал Саша, но был остановлен протестующим жестом.

— Эхуд, — сказал Барак.

— Хорошо, пусть будет Эхуд, — согласился Саша. — Так вот, Эхуд, недоброжелатели говорят, что левое мозговое полушарие у вас придерживается левых взглядов, а правое — правых. И никогда нельзя знать, с каким из них придется иметь дело. Значит ли это, что вы просто стремитесь слить воедино оба подхода, ибо каждый из них имеет свои плюсы и свои минусы?

Барак поудобнее расположился в кресле. С любопытством посмотрел на Сашу небольшими черными глазами, ставшими вдруг очень выразительными из-за появившегося в них беспокойного внутреннего блеска.

«В оценке окружающих нас реалий я вполне согласен с концепцией правых. Мы действительно живем во враждебной среде. На вилле, расположенной прямо в джунглях. Внутри тепло, уютно, всего в достатке. Снаружи — мир хищников, в котором не дается шанса слабому. Тот, кто не может себя защитить, — обречен на гибель.

Так что расхожусь я с правыми не в оценке ситуации, а в том,

к чему она нас обязывает. В отличие от идеологов Ликуда, я не верю в детерминизм истории. Мы своими делами можем и должны на нее влиять. Мое глубокое убеждение, что нельзя нам поддаваться страху, дрожать, запершись на своей вилле. Израиль в этих джунглях — не беззащитный олененок Бамби, а леопард, способный за себя постоять.

Именно потому, что нас подстерегают опасности, не поддающиеся контролю — новая волна исламского фундаментализма, например, или ядерное оружие в арсенале какой-либо арабской страны, — мы должны упорядочить конфликт с нашим ближайшим окружением, насколько это возможно.

Ликуд считает, что лучше всего сидеть сложа руки. Я же говорю, что работы у нас — край непочатый. Надо определить национальные приоритеты и действовать».

Этот монолог, как, впрочем, и все последующие, Барак произнес с большой эмоциональной выразительностью, с нотками почти задушевной интимности, словно не интервью давал, а излагал сокровенные свои мысли старинным друзьям.

О природе страха

— Эхуд, — сказал я, — в дни ваших спецназовских подвигов кто-то назвал вас великолепной боевой машиной, похожей на киборга из голливудских фантастических боевиков. О вас писали, что вы не знаете сомнений, не ведаете страха. Так ли это?

«Хороший вопрос, — усмехнулся Барак. — Я часто задумывался о природе страха. Что такое страх? Это когда каждую секунду тебя могут убить. А повлиять ни на что не можешь. Обычно смутное это ощущение возникает перед боем. В ходе боя страха нет, ибо нет на него времени.

В самый канун операции, когда в голове с сумасшедшей скоростью прокручивается все, что может случиться, или на пределе большого риска, когда ничего уже не можешь сделать — совсем ничего, — тогда и приходит страх…

Командиры боятся меньше солдат лишь потому, что они больше заняты. Солдат ждет приказа, а командир занят оценкой ситуации. Ему еще нужно понять, какой приказ отдать.

Под огнем человек проходит свой самый сложный и тяжелый экзамен. Решается задача со многими неизвестными. Ты ничего не знаешь о противнике. Ты и про свои силы не все знаешь. Люди застывают, скованные бездействием. Не слышат приказа. Заставить их встать и действовать труднее всего. И часто единственный способ это сделать — подняться самому. А вокруг

мясорубка. Людей разрывает на части, а те, кто живы, впадают в шок. И только волевое действие заставляет людей быть людьми. Лишь оно вытаскивает их из страха.

Боятся все, и я не верю, что существует кто-то, кому страх неведом. Мне приходилось стрелять в упор, когда все решали доли секунды. В такие моменты страха не испытываешь. Нет времени…»

О музыке

Зазвонил телефон.

— Я занят, — резко бросил Барак и положил трубку, искоса взглянув на нас, как бы проверяя, ценим ли мы столь предупредительное отношение его, олимпийца, к нам, простым смертным.

— Эхуд, — запнувшись, произнес Саша, которому была явно не по душе навязанная Бараком фамильярность. — Как жаль, что здесь нет рояля. Расскажите, какое место занимает музыка в вашей жизни.

«Я теперь редко играю, — грустно усмехнулся Барак. — Пальцы потеряли гибкость без упражнений, которыми просто некогда заниматься. Но музыка и сегодня дарит мне озарения, помогает встряхнуться, уйти от назойливой суеты.

Классическую музыку я начал воспринимать, пожалуй, еще в материнском чреве. Отец слушал музыку по старенькому приемнику. Он обожал музыку и живопись. Сколько себя помню, по субботам мы с утра слушали по радио концерты классической музыки.

В юности я обожал Моцарта и Бетховена. Став старше — вернулся к Баху. Десять лет — с восьми до восемнадцати — дважды в неделю мотался на чем попало в Тель-Авив — туда и обратно — брать уроки на фортепьяно. Потом двадцать лет не прикасался к роялю.

Когда моя дочка пошла в школу, я купил ей фортепьяно. И сам за него сел. Играю для себя. Это такое наслаждение.

Больше всего ценю Восьмую симфонию Малера и си-минорную мессу Баха. Это неописуемо. Если бы довелось забирать с собой на необитаемый остров только одну вещь, я взял бы мессу Баха или Восьмую Малера. В них есть все…

С листа я не играю. Сперва прохожу текст каждой рукой, пробую „на зубок“ каждую ноту и только потом играю. Не умею импровизировать на рояле. Ничего не поделаешь.

Завидую дочке. Технически я играю лучше нее и более сложные произведения. Но импровизировать? Играть с листа?

Увольте…

Так, собственно, я понял, что рояль всегда будет для меня невероятным наслаждением, глубоко личным, необходимым. Но у меня есть потолок, и я никогда не дойду до уровня Рубинштейна или Ашкенази».

О литературе

— Мне запомнилась одна ваша фотография, промелькнувшая в газетной периодике, — сказал я. — В одной руке у вас автомат, а в другой книга. Есть ли какой-то смысл в этой символике? И что вы думаете о поднятых Толстым в «Войне и мире» проблемах философии истории?

Барак щурится, как сытый кот. Это аполитичное интервью ему, похоже, по душе.

«Любовью к литературе я тоже обязан родителям, — начинает он очередной свой монолог. — Одно из первых воспоминаний детства — отец читает мне вслух „Лесного царя“ Гете. Я ничего не понимаю, но ритм меня завораживает. Мальчиком я жил в мире музыки. Помню, однажды отец сказал:

— Эхуд, ты должен прочитать „Жана Кристофа“.

Пошел я в библиотеку и увидел там на полке десять томиков. В тот же вечер сказал отцу:

— Ты хочешь, чтобы я все это одолел?

— Эхуд, — ответил отец, — ты не сможешь стать интеллигентным человеком, если не прочитаешь Ромена Роллана. И так и не станешь взрослым, если не прочтешь „Жана Кристофа“.

Пришлось прочитать. Я вырос в семье, где культивировалась жажда чтения, жажда знания.

В детстве запоем читал Дюма, Жюль Верна, Джека Лондона. Став постарше, увлекся поэзией. Ценил Лею Гольдберг. Через ее переводы познакомился с творчеством Ахматовой. Люблю стихи Хаима Гури. Но выше всех наших поэтов ставлю Натана Альтермана. Я и сегодня помню наизусть „Песни о казнях египетских“ — вещь совсем не простую. Ну а став взрослым, открыл для себя Достоевского и Толстого.

„Война и мир“ — вне сомнения — одно из величайших произведений. Через Толстого постигаешь не только природу человека, но и суть истории.

Когда я читал Толстого впервые, то, не особенно вникая в его философию, с наслаждением погружался во все детали. Позже, будучи уже профессиональным военным, я наткнулся на захватывающую книжку де Голля, где он спорит с Толстым.

Де Голль ставит вопрос: кто прав? Мы, военные, всегда

склоняющиеся к выводу, что это мы все видим и решаем, или Толстой, утверждающий, что миллионы дел, движений, между которыми вроде бы нет связи, в итоге определяют конечный результат?

Толстой как бы показывает нам всей своей огромной мощью художника, что генерал, врезающийся на лошади в каре противника, отдающий приказы, ощущающий, что навязывает свою волю и влияет на ход сражения, на самом деле ни на что не влияет. Финал возникает как результат хаотического движения миллиона частиц. Я думаю, что в этом подходе Толстого много верного.

Ошибка же Толстого, на мой взгляд, в том, что он игнорирует фактор интуиции как феномен, позволяющий человеку влиять на конечный результат. Для меня интуиция — это реально существующий могущественный фактор. Интуиция командира на поле битвы — это дар Божий. Сочетание накопленного опыта, ума, интеллекта, инстинктов, необъяснимой внутренней системы оценок — все это в совокупности и есть интуиция».

Почему Барак отказался от научной карьеры

— Говорят, что ваши способности в области точных наук — физики, математики были настолько впечатляющими, что вы вполне могли выбрать не военную, а научную карьеру, — сказал Саша. — Это правда? И если да, то почему вы все же предпочли военное, так сказать, поприще?

«Вы, ребята, решили выведать сегодня все мои тайны. До всего докопаться, — засмеялся Барак. — На этот вопрос в двух словах не ответишь.

Физика — это загадки природы, которые Господь скрыл от нас.

А математика — это язык физики, язык логики, язык науки. Это безумно красиво. Я в математике вижу эстетику. Некую прекрасную абстракцию. Когда ты берешь фундаментальные формулы физики и механики и берешь тензорное исчисление, то видишь точное соответствие между ними. И ты понимаешь, что формулы — это язык реальности.

Кстати, очень красивый язык. Для меня формулы — это воплощение реальных объектов. Например, если ты не придашь теореме Максвелла об электричестве или дифференциальным уравнениям некую свою личную образную окраску из твоих личных образных понятий, то не поймешь, что такое электричество.

Профессор Ольденгард, преподававший в Хайфском

технионе, говорил, что электричество понять нельзя. К нему можно только привыкнуть. Иными словами, привыкаешь к некоему образному ряду, который, в сущности, покоится на формулах.

Когда изучаешь математику и физику, то знакомишься и с порядком, в котором развивались события в этих науках. Подходишь к Ньютону, потом, постепенно, к Максвеллу, затем к Де Бройлю, к Гейзенбергу, к Максу Планку и так далее.

И ты спрашиваешь себя: „Вот ты проследил ход развития событий. Мог бы ты совершить такой прыжок, как они?“ И ты честно отвечаешь: „Никогда в жизни!“

Ты преклоняешься перед их гениальностью, восхищаешься ими, но со всей честностью вынужден сказать: „Я в жизни не смогу столько узнать и понять, как Макс Планк или Де Бройль“. И когда ты думаешь о том, что знал Эйнштейн, прежде чем ему пришла в голову идея об относительности пространства и времени, когда понимаешь, какой прыжок он совершил, ты говоришь себе: „Я всем этим наслаждаюсь, но великим физиком мне не стать…“

Я мог бы быть доктором физики в институте Вейцмана — и все. Это мой потолок.

Я это понял, когда был молодым капитаном спецназа при генеральном штабе. Это была совсем особая часть, дававшая огромную свободу выбора. Я любопытен и люблю искать новые пути, не терплю рамок. И я почувствовал: здесь мое место. Здесь смогу приносить пользу, смогу сделать важные вещи для своей страны. Все мое воспитание к этому вело.

Семилетним ребенком я принимал участие в ночной церемонии памяти Трумпельдора, героя войны, который приехал сюда из России и пал, защищая Тель-Хай. В колеблющемся свете факелов звучат его последние слова: „Хорошо умереть за родину“.

Кто может представить, какое впечатление это производит на ребенка? Да и сам ребенок не в состоянии осознать силу этого воздействия. Я вырос в атмосфере, где существовало чувство долга по отношению к обществу.

И вот в армии, после полугода ужасно скучной службы, — вдруг исчезает потолок. Вместо него — небо.

В качестве обязательной литературы — книги о панфиловцах, о полковнике Стерлинге (командире британского спецназа в годы Второй мировой войны).

Нет ограничений, нет рамок. Это воспламеняет воображение. Интуитивно я сразу понял: это для меня. Здесь я смогу реализовать себя. Нет здесь движения по проторенным путям.

Очень быстро я вышел в лидеры. Потом стал командовать. Это была захватывающая жизнь».

О счастье и везении

И наконец, вопрос, оказавшийся последним. Его задал Саша:

— Вас называли «счастливчиком». Говорили, что вы в рубашке родились. Вас никогда не подводила судьба, и фактор вашей необычайной удачливости даже принимался в расчет при планировании военных операций. В чем тут дело?

Барак, впервые за все время нашей беседы, помедлил с ответом.

Вошла миловидная секретарша и молча положила перед ним какую-то записку. Барак пробежал ее глазами и отодвинул в сторону.

«Пора заканчивать, — сказал он с видимым сожалением, — но на ваш вопрос я еще успею ответить.

Наполеон как-то сказал, что в маршалы он производит тех, кому сопутствует счастье. Имел же он в виду не собственно счастье, а некое сочетание качеств, которые невозможно определить. Счастливчиками называют тех, кому везет. Но когда везение становится системой, то это уже нечто иное. Речь идет о выражении внутренней готовности, реактивности, таком состоянии, когда и интеллект, и душевная энергия находятся в гармонии с окружающими реалиями, сливаются с ними.

Впрочем, есть и просто везение. В Войну Судного дня я участвовал в одном из самых тяжелых боев на Китайской ферме. За день до этого присоединился к нам парень, майор, инженер-электронщик из разведки, бывший командир роты десантников. Он стал пятым в моем танке. Бортовым стрелком.

Орудийным расчетом у меня командовал Яша Казаков. Никто в армии не мог сравниться с ним в точности наводки. Я даже сказал как-то, что если советские танкисты, не уступающие Яше в мастерстве, будут сражаться на стороне арабов, то у ЦАХАЛа возникнут проблемы.

И вот мы оказались в эпицентре тяжелейшего танкового сражения. Вокруг египтяне с противотанковыми ракетами. А мы — в танках, совершенно не готовых к войне. В моем не было даже расчетных таблиц для наводки орудия. В ход пошли гранаты.

Тот парень был убит на расстоянии метра от меня. Пуля, попавшая в шею, пробила артерию. Я попытался зажать ее пальцами. Где там!

Во время боя думать некогда. Нисходит на тебя этакое холодное спокойствие. Но потом задумываешься. Прокручиваешь

в памяти ужасные сцены и говоришь: „Господи! Все зависит от случая…“

Египетский солдат, всадивший в него пулю — я убил его потом, — был от нас всего в пяти метрах. Майор погиб, потому что был выше меня ростом. Более крупная мишень. Вот и все…

Это и есть классический пример слепого случая…

В целом же в самых сложных ситуациях, кроме боя, да и то не каждого, я веду себя, как альпинист. Издали восхождение кажется импровизацией. На самом же деле это система. Все рассчитано с предельной точностью. Ты четко знаешь, куда помещаешь руку, ногу. Пока три точки не схвачены, нельзя передвигаться на четвертую.

Так же и в операциях — самых запутанных и сложных, за которые получают ордена. Каким бы ни был риск, он должен быть осмыслен.

Счастье остается с нами, если мы не чересчур его испытываем…»

* * *

Интервью закончилось. Меня не покидало ощущение, что мы видели фильм с большим актером. Был вечер. С моря веяло прохладой. Мы очутились в том самом кафе, откуда отправились «штурмовать» бывшего главнокомандующего.

— Саша, — сказал я, — разреши мне продолжить интервью. Ты ведь один из самых проницательных людей, каких я знаю. Поделись впечатлениями. Что ты скажешь о нем в своей передаче?

— Скажу, что он пока проигрывает соперникам в умении пользоваться выгодами телевидения. Им самим признанное неумение «читать с листа», импровизировать перед публикой по нынешним временам — его даже не «пята ахиллесова», а вся нога целиком. Короче, неотразимая убедительность, свойственная ему в личном общении, на публичных выступлениях исчезает.

Его принадлежность к элите — я разумею элиту в духе «Игры в бисер» Гессе, без всяких отрицательных ассоциаций, столь распространенных сегодня, — тоже может ему помешать.

Барак все что угодно, но только не партийный функционер, бюрократ. Я уверен, что настоящие враги его находятся не только в соперничающих лагерях, но и в его собственной партии.

Хоть Барак и не любил, когда его в юности звали Наполеоном, но есть в нем та увлеченность, та внутренняя веселость и энергия, которые вели людей за Бонапартом в

Итальянском походе. Вообще он производит впечатление человека эпохи Возрождения, когда людям было свойственно гармоническое соединение искусства, литературы, науки, философии и действия.

— Значит, он напомнил тебе Бонапарта Итальянской кампании. Позади Аркольский мост, заря и «Марсельеза». А что впереди? — говорю я.

— Заблудился ли Барак во времени, или же ему суждено на него повлиять, — оно же нам и покажет. Причем вскоре, — сказал Окунь.

Золотые цепи Мессии

Да, Барак одарен вне всякой меры.

Острота интеллекта, глубина мышления, способность к систематизации данных в их совокупности, феноменальная память, впитывающая все происходящее, как губка, фиксирующая все услышанное, увиденное, прочитанное.

Не перестаешь удивляться, как много дано одному человеку.

Его удивительные пальцы могли не только сыграть Лунную сонату. С необычайной легкостью открывали они любые замки, любые запоры.

Не поскупились одарившие его феи.

Наделили они Барака при рождении и инстинктами, утраченными людьми в урбанизированном мире.

Он прекрасно ориентировался на местности. Как гончий пес шел по намеченному маршруту, не сбиваясь ни ночью, ни днем.

Эти качества очень пригодились ему в армии.

Стоит ли удивляться, что он приобрел обширные, почти академические, познания в литературе, философии, истории, математике?

Нет, пожалуй, области, в которой он не был бы сведущ.

Но многоликость таит в себе и опасность.

Если способностей слишком много, может статься, что ни одна из них не будет реализована в полной мере и человек так и не поднимется над уровнем подающего надежды дилетанта.

Многосторонность часто означает хрупкость, поверхностность, отсутствие основательности. Любой талант нуждается в шлифовке, любое дарование необходимо развивать, иначе оно захиреет.

Ни в одной области не добиться подлинной глубины без терпения и труда.

Именно этих качеств и не хватило Бараку.

Он так и остался почти философом, почти историком, почти

математиком, почти пианистом.

Он почти достиг духовных вершин, но остановился там, где дальнейшее продвижение уже невозможно без кропотливой работы.

Согласно гениальной наполеоновской формуле, человека действительно выдающегося отличает «равновесие ума или таланта с характером или мужеством»

Это и есть знаменитый квадрат Наполеона, в котором основание — мужество и воля, а высота — ум и интеллект.

Очень немногие люди «квадратны в высоте, как в основании».

Все мы в той или иной степени страдаем гамлетовским комплексом — отрывом ума от воли. Склонность к созерцанию обычно мешает нам действовать.

Мы — прямоугольники: то ум широкий, а воля низкая, то — наоборот.

Барак же *почти* соответствует наполеоновской формуле.

Но в том-то и все дело, что *почти*…

* * *

За всю нашу короткую историю ни с кем не связывалось столько надежд, как с Бараком. Многие видели в нем единственного человека, которого можно противопоставить маячащей на горизонте катастрофе. Казалось, что он несет Израиль внутри себя, как де Голль нес Францию.

Оказался несостоятельным и этот миф.

Мой добрый приятель, глубоко верующий еврей, сказал с грустной улыбкой: «Надеяться мы теперь можем только на приход Мессии».

Хорошо бы, конечно узреть Спасителя уже сейчас.

Но вспоминаю я, что поведал в свое время Генриху Гейне великий раввин Менаше Бен-Нафтали, ссылаясь на мудрые книги Талмуда.

Великий раввин рассказал, что Мессия родился в тот самый день, когда злодей Тит разрушил Иерусалим, и с тех пор живет в небесном чертоге в ожидании своего часа. Спаситель проводит дни в молитвах и в изучении каббалы, а вечером ангел читает Ему по большой книге, что произошло за день в нашем суетном мире.

И вот когда слышит Он, как тяжко приходится там, внизу, его народу, то ужаснейший гнев охватывает Его, и Он стонет так, что дрожат небеса. И тогда четверо ангелов удерживают Мессию, дабы не спустился Он на землю раньше предначертанного срока.

Но не смогли бы они удержать Спасителя, если бы руки Его не были скованы золотыми цепями. Успокоившись, падает Он на свое ложе, закрывает лицо ладонями и плачет…

Говорят, что мудрецы наши, истинные знатоки Торы, проводящие дни и ночи в неустанных молитвах, в час особой сосредоточенности среди ночного бдения слышат звон золотых цепей и тихий плач, разрывающий сердце…

МЕИР АМИТ

ХРОНИКИ
МОСАДА

Солдат в Мосаде

Впервые я услышал о деле Бен-Барки от журналиста газеты «Маарив» — назову его вымышленным именем Дан, ибо, далеко уйдя от своей репортерской голодной юности, достиг он житейского благополучия и негоже подставлять его. Поведав мне об этом странном деле, круто замешанном на взрывчатом переплетении политических интересов в верхних эшелонах власти, Дан разгласил государственную тайну. За такую болтливость в те времена сажали на основании двадцать третьей статьи свода израильских законов о безопасности.

Впрочем, не столь уж многое мог рассказать мне Дан об этой истории осенью 1974 года на сборах нашего полка в Иудее, когда мы вместе коротали ночные часы, охраняя уснувший военный лагерь. Прошло немало времени, прежде чем удалось сложить из накопившейся информационной мозаики целостную картину.

Речь идет об участии Мосада и его руководителя Меира Амита в похищении Мехди Бен-Барки — лидера марокканской оппозиции, видной фигуры среди духовных вождей «третьего мира». Бен-Барка был схвачен в Париже 29 октября 1965 года и передан в руки его врагов. Через сутки он был убит и, как это часто бывает, стал после смерти личностью гораздо более значительной, чем при жизни.

Его мученическая смерть вызвала не только завихрения, потрясшие наш политический Олимп, но и обвал в отношениях с Францией, последствия которого Израиль ощущал долгие годы.

И Меир Амит, и ближайшее окружение тогдашнего премьер-министра Леви Эшколя сделали все для того, чтобы замять скандал и не допустить повторения «Дела Лавона», вошедшего в анналы под выразительным названием «Гиблое дело».

О причастности Мосада к похищению Бен-Барки почти никто не знал и не должен был знать. Пришлось принять самые энергичные меры, чтобы этого добиться. На публикацию в Израиле любых материалов, касающихся дела Бен-Барки, было наложено строжайшее табу.

* * *

Через год после гибели Бен-Барки израильский журнал «Буль», специализировавшийся на всякой всячине — сплетнях, скандалах, великосветской хронике, мелких сенсациях, не брезговавший даже порнографией, — тиснул взятую из какой-то

французской бульварной газеты статейку с весьма прозрачными намеками на участие Мосада в похищении Бен-Барки.

Этот номер журнала так и не поступил в продажу. Полиция конфисковала весь тираж еще на складе. Редактор журнала и его сотрудник, подготовивший злополучный материал к печати, в декабре 1966 года были арестованы. Полицейские взяли журналистов ночью, прямо из постелей, ошалевших, тщетно пытавшихся выяснить, в чем же их обвиняют. Полицейские этого не знали. Они лишь предъявили ордер на арест, подписанный министром полиции.

Некоторое время вообще никто не понимал, куда подевались журналисты и что случилось с популярным еженедельником. Даже на публикацию сообщения об их аресте был наложен запрет.

Журналисты же, внезапно перенесенные из житейской круговерти в кафкианский мир, неделю промаялись в одиночных камерах, прежде чем их вызвали на допрос. И вот тут-то они узнали, что их обвиняют в действиях, направленных на подрыв безопасности государства, по статье 23-й, о существовании которой до обрушившейся на них напасти бедняги даже не подозревали.

Впрочем, следователь по особо важным делам и сам толком не знал, почему за какую-то ничтожную заметку этим людям грозит по секретной статье до пятнадцати лет тюремного заключения. Но у него в письменном столе лежала инструкция министра юстиции Яакова Шапиро, предписывавшая позаботиться о полной изоляции журналистов вплоть до суда. Следователю было жаль незадачливых писак, взахлеб требовавших адвоката, свиданий с близкими, гласности и гражданских прав. Но что он мог поделать?

«Думаю, суд примет во внимание, что вы совершили преступление по неведению, без злого умысла», — обнадежил он павших духом друзей. До суда их уже не тревожили.

В феврале 1967 года закрытый суд приговорил каждого из обвиняемых к году тюремного заключения. Но к тому времени судьба этих бедолаг стала уже достоянием гласности. Перепуганные издатели и журналисты, понявшие, что «дамоклов меч» 23-й статьи висит и над ними, обратились к Леви Эшколю с письмом, в котором категорически потребовали освобождения своих коллег.

«Израиль — не банановая республика, — говорилось в письме, — если осужденные не будут освобождены, мы сделаем все, чтобы помочь общественности разобраться в причинах подобного беззакония».

Тут авторы письма блефовали. Они и понятия не имели об

этих причинах, но догадывались, что у нас зря не сажают.

Испугавшийся Эшколь позаботился об освобождении журналистов, резонно решив, что преподнесенный урок отучит в дальнейшем пишущую братию совать нос куда не следует.

С тех пор свыше двадцати лет у нас никто даже заикнуться не смел о деле Бен-Барки.

Ретроспективный взгляд

Так уж получилось, что все знают Мосад, хотя у израильских разведслужб сложная структура, выходящая за рамки этого термина. Собственно Мосад — это управление внешнеполитической разведки, израильский эквивалент ЦРУ. Существуют еще военная разведка — Аман и внутренняя служба безопасности — Шабак. Есть и в МИДе научно-исследовательский отдел, занимающийся анализом добываемой информации. В полиции также имеется спецотдел, обрабатывающий агентурные данные. Вот, пожалуй, и все.

Проблема контроля над деятельностью спецслужб всегда была наиболее сложной. Хотя бы потому, что он до сих пор не оформлен юридически и не закреплен соответствующим законом. Но в том-то и дело, что контроль — меч обоюдоострый.

Чрезмерный контроль может парализовать творческую инициативу, подавить всплески интуиции, без которых сотрудники разведслужб превратятся в штатных чиновников, а разведывательные структуры станут походить на налоговое управление. Золотая середина тут нужна, но мы-то народ крайностей…

Разумеется, структура контроля давно разработана. Существует координационный комитет во главе с начальником Мосада, следящий, чтобы деятельность спецслужб не дублировалась. Начальники Мосада и Шабака подчинены премьер-министру. Начальник военной разведки отчитывается перед министром обороны.

Но эта система контроля по целому ряду причин оказалась уязвимой и несколько раз давала сбои, потрясавшие государство. Тяжелыми травмами стали «Дело Лавона» и просчеты первого этапа Войны Судного дня. В обоих этих случаях все связано с выходом военной разведки из-под контроля. Для «Дела Лавона» — так принято называть провал израильской шпионской сети в Египте в 1954 году — характерна подделка документов, чтобы уйти от ответственности. Для Войны Судного дня — утаивание начальником военной разведки данных, противоречащих его концепции.

Наводит на размышления и дело Полларда, омрачившее отношения между Израилем и США. Джонатан Поллард — в прошлом ответственный сотрудник американского военно-морского департамента — был завербован начальником научно-исследовательского отдела военной разведки Рафи Эйтаном и поставлял Израилю секретные сведения. Американцев особенно шокировала израильская неблагодарность. США ведь — самый надежный и не раз испытанный союзник Израиля.

Во всех трех случаях голый профессионализм и оперативная рутина настолько ослепляли руководителей разведки, что они переставали видеть лес из-за обилия деревьев.

Джон Ле Карре как-то заметил, что дух каждой нации находит выражение в деятельности ее разведки. Применительно к Израилю это даже не постулат, а аксиома. Тут мы прикасаемся к нерву всего дела. После скандала с Поллардом Аба Эвен — человек умный и проницательный — сказал: «Необходимо следить за тем, что делают и чем занимаются руководители секретных ведомств. В особенности если они люди инициативные и одаренные, подобно Рафи Эйтану. Ясно ведь, что международные осложнения гораздо скорее могут вызвать люди талантливые, чем бездарные».

В израильской же разведке все чертовски талантливы. Более того, интеллект руководителей спецслужб был иногда настолько высок, что не поддавался никакому контролю. Это уже грозило превращением разведки в «удельное княжество» и вызывало в ее работе опасные перекосы. Вот уж действительно — горе от ума.

Тем не менее еще в шестидесятые годы шеф ЦРУ Аллен Даллес назвал израильскую разведку одной из лучших в мире. Столь высокая оценка актуальна и сегодня, несмотря на все пережитые страной и народом — а значит, и спецслужбами — потрясения.

* * *

День рождения израильской разведки следовало бы отмечать 30 июня. Именно в этот день убойно-жаркого лета 1948 года в ничем не примечательном доме на улице Бен-Иегуда в Тель-Авиве собрались несколько человек. Вопросы, которые они обсуждали, были уже согласованы с главой временного правительства Давидом Бен-Гурионом. Их предстояло лишь оформить в виде конкретных решений. За столом сидели люди, хорошо знавшие друг друга. Старшие командиры Хаганы и руководители отделов ее разведывательного центра ШАЙ.

Из еврейских организаций, действовавших в подмандатной Палестине, лишь Хагана — военное формирование рабочей партии Мапай, самой влиятельной политической силы ишува — обзавелась собственной разведкой. Агенты ШАЙ проникали всюду — в структуры британской военной и гражданской администрации, в арабские националистические формирования и даже в еврейские организации идеологических противников рабочего движения.

Повестку дня изложил Исер Беэри — тогдашний начальник ШАЙ, длинный тощий аскет. Его называли «Большим Исером». Этот человек исступленно верил в светлое будущее еврейского государства, которое воображал как общество величайшей нравственности. Всех, кто не соответствовал его пониманию этики и морали, он считал злейшими врагами Израиля и своими лично. Бен-Гурион ценил его преданность национальной идее.

Беэри лаконично сообщил, что глава правительства предлагает создать на базе ШАЙ три ведомства. Военную разведку, которую возглавит сам Беэри. Политическую разведку во главе с Борисом Гуриэлем — человеком разносторонне одаренным, отличавшимся нетривиальностью мышления. И наконец, службу внутренней безопасности Шин Бет, руководителем которой назначался один из самых способных командиров Хаганы, начальник тель-авивского отдела ШАЙ Исер Харель. За малый рост — всего 155 сантиметров — друзья прозвали его «Маленьким Исером». Забегая вперед, скажем, что именно ему суждено было поднять израильскую разведслужбу до уровня мировых стандартов.

Но в тот день никто такими категориями не мыслил. Тогда собравшиеся лишь утвердили предложение Бен-Гуриона, с чего и началась история израильских спецслужб.

Не все шло гладко. Вскоре стало ясно, что Большой Исер не просто не соответствует занимаемой должности, но и становится опасным для правопорядка и законности. Этот моральный дальтоник воспринимал лишь два цвета — черный и белый. Все, что было в его представлении черным, он хотел уничтожить, дабы обожаемое государство сияло ослепительной белизной. К счастью, карьера кандидата в израильские Дзержинские продолжалась недолго.

Это Исер Беэри в июне 1948 года обвинил в шпионаже капитана Хаганы Меира Тубянского. Это Беэри председательствовал в военном трибунале, приговорившем Тубянского к расстрелу. Через год Тубянский был посмертно реабилитирован и перезахоронен с воинскими почестями. Дело Тубянского стало первым громким политическим скандалом в

молодом еврейском государстве.

Вспоминает Исер Харель: «Вдруг выяснилось, что стиль работы Беэри является аморальным и крайне опасным. Страна воевала, а начальник военной разведки находил время заниматься предателями, шпионами, черным рынком, спекулянтами и вообще черт знает чем, только не своими прямыми обязанностями. Если он решил, что Тубянский виновен, то судебная процедура не играла уже никакой роли…»

Кончилось тем, что в ноябре 1948 года Исер Беэри был, по распоряжению Бен-Гуриона, отстранен от должности, разжалован в рядовые и предан суду. И хотя суд приговорил Беэри к символическому наказанию, учитывая его былые заслуги и чистоту побуждений, бывший начальник военной разведки до конца жизни считал все произошедшее с ним ужасной несправедливостью. Умер Беэри в 1958 году от сердечного приступа.

Военную разведку после него возглавил Хаим Герцог — будущий президент Израиля. Во время Второй мировой войны Герцог был офицером британской разведывательной службы. Приобрел очень пригодившийся впоследствии профессиональный опыт. Этот рафинированный джентльмен и утонченный интеллектуал оказался к тому же превосходным организатором. Именно Герцог превратил военную разведку в то, чем она является и сегодня. В аналитический центр, позволяющий предугадывать ходы противника. Герцог, получивший в наследство от Беэри кустарную организацию, костяк которой составляли бывшие подпольщики, не прошедшие профессиональной подготовки, создал разведшколу, где будущих разведчиков обучали профессиональным навыкам. Он четко определил структуру и функции военной разведки, ввел в нее научно-исследовательский отдел. Сделав в сжатые сроки военную разведку неузнаваемой, Хаим Герцог в апреле 1950 года передал дела своему заместителю Биньямину Джибли, а сам отправился военным атташе в Вашингтон. Его изначально влекла дипломатическая карьера. Никто не знал тогда, что через восемь лет военной разведке вновь понадобятся ум, прозорливость и способности этого человека.

* * *

К 1950 году работа израильских спецслужб была уже отрегулирована. Но появился человек, заявивший, что всего сделанного — недостаточно. Это был Реувен Шилоах — фигура

колоритная и загадочная. Решавший любые ребусы Шилоах буквально генерировал идеи и сам же брался их осуществлять. Рутину, тусклость, поденщину он не выносил. Жизнь его была пестрой, фантастичной. Этот «конкистадор», родившийся в Иерусалиме в семье раввина, получил разностороннее образование. Знал основные европейские языки. Прекрасно владея арабским, стал разведчиком сионистского движения еще до создания разведки. В тридцатые годы несколько лет провел в Ираке, выполняя специальные задания. Помог англичанам создать агентурную сеть в оккупированной нацистами Европе. После войны специально для него была создана должность личного советника Бен-Гуриона по особо важным делам. Перед ним открывались любые двери. Черчилль относился к нему с такой же симпатией, как Жаботинский.

Таких людей Жаботинский называл авантюристами и даже написал несколько статей на эту тему. Он считал авантюризм нормальным явлением в экстремальных обстоятельствах. Чрезмерное количество таких людей опасно для общественной стабильности, но определенная доза их необходима для выживания. Авантюристы из века в век были первооткрывателями, первопроходцами и, главное, отчаянными игроками. Только рискуя, можно выиграть. В понимании Жаботинского, авантюристы — это живая душа нации.

Реувен Шилоах предложил Бен-Гуриону полностью реорганизовать разведслужбу. Превратить ее в независимое агентство, подчиненное непосредственно премьер-министру. Идея эта Бен-Гуриону понравилась. В сентябре 1951 года было создано новое разведывательное управление, получившее название «Центральный институт разведки и спецзаданий». Это и был знаменитый Мосад.

Первым руководителем Мосада был назначен сам Шилоах. Теория и практика — совсем разные вещи. Вскоре выяснилось, что Шилоах совершенно неспособен к кропотливой повседневной работе. Он носился по своим отделам, предлагая идеи, всегда блестящие. Но дальше этого дело не шло. В делах же у него царил дикий хаос. Впрочем, Шилоах и сам понял, что он не на своем месте, и 19 сентября 1952 года подал в отставку. В тот же день Бен-Гурион позвонил Исеру Харелю и сказал: «Я хочу назначить вас руководителем Мосада».

Маленький Исер

В Мосаде Исер Харель застал нечто неимоверное. Вся организация — человек двенадцать — размещалась в трех

комнатах, которые никто не убирал. Разрозненные бумаги, сваленные в кучу, назывались архивом. В одной из комнат рыдала не получившая жалованья секретарша. Касса была пуста. Шилоах был известен еще и тем, что ни у кого не просил денег. А раз не просил, то их и не давали… Пока Харель озирал открывшуюся перед ним картину, перед ним возник Акива, финансовый директор Мосада.

— Исер, — жизнерадостно сказал он новому боссу. — Я только что вернулся из Парижа, где выбил для Минфина заем на таких выгодных условиях, что…

— Это, конечно, хорошо, — холодно прервал его Харель. — Но мне нужны такие финансовые гении, которые в состоянии оплачивать труд моей секретарши.

В тот же вечер Хареля принял Давид Бен-Гурион. Исер Харель восхищался этим человеком, не боявшимся ни арабов, ни евреев, без колебаний бравшим на себя ответственность за самые тяжелые решения. Как бы ни менялся ветер и куда бы ни относили подводные течения, этот кормчий не позволял сбить с правильного курса свой корабль.

Бен-Гурион же ценил прямоту и целеустремленность Хареля.

— Исер, — сказал Бен-Гурион, подписывая распоряжение об увеличении бюджета Мосада в десять раз, — помни об одном: у Мосада не может быть своих интересов. Есть только интересы государства.

* * *

Исер Харель родился на родине Шагала, в Витебске, в 1912 году. По отцовской линии в его роду подряд шли сплошные раввины. Стал бы раввином и он, да грянула революция. Потерявшая состояние семья с трудом перебралась в Ригу. В независимой Латвии еврейская жизнь тоже была не сахар. Семья перебивалась кое-как, и Исер бросил школу ради заработка. Потом увлекся сионизмом и в 1929 году вместе с несколькими единомышленниками оказался в Палестине.

Цельная его натура не ведала сомнений. Он приехал, чтобы превратить землю обетованную в цветущий сад. Этим и занялся. Вступил в кибуц, честно трудился на апельсиновых плантациях. Политикой не интересовался.

Всерьез его тогда не принимали. Парень как парень. Низкорослый, с неказистой внешностью, склонный к полноте, неразговорчивый. Да мало ли таких. Впервые Исер удивил всех, когда женился на Ривке — самой веселой и красивой в кибуце

девушке. «Угораздило же ее, — поговаривали за их спинами, — от тоски ведь можно помереть с этим бирюком». Но они были очень счастливы.

В 1935 году Исеру осточертело упаковывать апельсины, и молодая пара ушла из кибуца. Исер занялся бизнесом и преуспевал, но тут началась мировая война. Корпус Роммеля рвался в Палестину, и нехотя, повинуясь лишь чувству долга, Харель вступил в Хагану.

В организациях такого рода умеют распознавать талантливых людей, и к началу Войны за независимость Исер Харель был уже руководителем отдела разведки. Потом возглавил службу внутренней безопасности Шин Бет и сохранил контроль над этой организацией, став начальником Мосада.

Таким образом, из трех спецслужб Харелю непосредственно подчинялись две. Третья — военная разведка во главе с Биньямином Джибли — должна была информировать начальника Мосада обо всех своих начинаниях. Джибли — тоже авантюрист по натуре — считал такую зависимость унизительной и старался от нее избавиться. Он добился своего после ухода Бен-Гуриона, но ни к чему хорошему это не привело.

Получив новую должность, Харель сразу же приступил к полной реорганизации Мосада. Создал спецшколу по подготовке агентов и установил для своих сотрудников высокие профессиональные стандарты. Те, кто им не соответствовали, должны были искать другую работу. Кроме профессиональных, Харель внедрил в израильскую разведку моральные стандарты, существующие и поныне. Люди свирепые, жестокие, кайфующие от запаха крови палачи и садисты ему были не нужны. Харель был гением разведки, и принцип отбора людей у него тоже был гениальным.

— Мне нужны люди, — говорил он, — испытывающие отвращение к убийству, но которых тем не менее можно научить убивать.

Один из сотрудников Хареля охарактеризовал эго так: «Исер хочет, чтобы работу негодяев выполняли честные люди». И это он хорошо придумал. Упаси Боже, если работу негодяев станут выполнять негодяи.

Харелю не хватало лоска. Его внешний облик вводил в заблуждение. В его образовании зияли пробелы, граничившие с невежеством. Но все это компенсировалось редкой интуицией и целеустремленностью. Хорошо разбираясь в человеческой природе, он собрал в Мосаде целое созвездие талантов. Ицхака Шамира, например — опального командира подпольной террористической организации Лехи, — он назначил резидентом

Мосада в Европе и ни разу не пожалел об этом. «Мои сотрудники всегда знают, чем они занимаются», — говорил шеф Мосада. Это правда, но знали его сотрудники и другое. К Харелю нельзя было прийти, не выполнив порученного дела. Он ужасно расстраивался, и для проштрафившихся это было самым тяжким наказанием.

В личной жизни Харель был пуританином. Однажды ему сообщили, что его агент в Европе вовсю крутит роман.

— Дело плохо, — сказал заместитель Хареля. — Парня надо отозвать.

— Почему? — удивился Харель. — Он же взрослый человек. Что ж, ему и влюбиться нельзя?

— Разумеется, можно, — ответил заместитель. — Проблема в том, что если об этих шашнях узнает его жена, то будет скандал. А нам это ни к чему.

— Как?! — искренне изумился Харель. — Он женат? Зачем же ему понадобилась другая женщина?

Сотрудницы Мосада у Хареля не получали опасных заданий. Он понимал, что рано или поздно им придется добиваться своего известным во все времена способом. Сама мысль об этом ему претила.

Имя Хареля узнали во всем мире благодаря поимке Адольфа Эйхмана. Рикардо Клемент, он же Адольф Эйхман, тот самый, кому Гиммлер поручил «окончательное решение» еврейского вопроса, был захвачен людьми Хареля 11 мая 1960 года в Буэнос-Айресе. История выявления и похищения Эйхмана неоднократно описывалась. Отмечу лишь один эпизод, проливающий свет на моральные качества начальника Мосада.

Харель прибыл в Буэнос-Айрес вместе со своими людьми и лично руководил операцией по захвату Эйхмана. Он приказал своим агентам в случае провала назвать аргентинским властям его имя, должность и адрес отеля, в котором остановился. Видя изумление сотрудников, Харель пояснил:

— Я сам разъясню аргентинцам побудительные мотивы наших действий. Скажу, что беру на себя ответственность за эти действия, полностью соответствующие принципам справедливости и законам моего государства.

* * *

Огромны заслуги Хареля в деле превращения Мосада в прекрасно функционирующий разведывательный аппарат. В 60-е годы Харель и его люди пресекли попытки КГБ внедрить своих

агентов в израильские эшелоны власти. В 1962 году был арестован Израиль Бер, официальный историограф Армии обороны Израиля и военный советник Бен-Гуриона, оказавшийся советским шпионом. Не удалось и арабам наладить сбор шпионской информации непосредственно на израильской территории. Все попытки подобного рода пресекались сотрудниками Мосада.

На международной арене достижения Хареля были еще более внушительны. Именно при нем Мосад был признан одной из самых эффективных разведок мира. Никто не спорит с тем, что Харель был мастером своего дела.

С годами, однако, стали все более ощущаться негативные стороны его профессионального стиля. Как это часто бывает, сила Хареля являлась одновременно и его слабостью.

Из-за специфики своей профессии секретный агент вынужден вести замкнутый образ жизни. Ни с членами семьи, ни с друзьями не вправе он поделиться тем, что на душе. А ведь потребность излить душу сильна у каждого. Харель это прекрасно понимал. И старался быть всем для своих сотрудников: отцом, другом, наставником и высшим авторитетом. Он знал о них все. Каждый мог прийти к нему в любое время дня и ночи со своими проблемами. Сотрудники платили ему слепой преданностью. Когда он принимал кого-то в своем спартанском кабинете и проникновенно говорил: «Слушай, старина, возникла проблема, и только ты можешь нам помочь…» — то сотрудник готов был немедленно отправиться хоть к черту в зубы, даже не простившись с женой и детьми.

Такая работа на основе личной преданности приносила превосходные результаты, но имела свои минусы. Сотрудники Мосада постепенно теряли творческий импульс. Обо всем думал и все решал Харель, работавший по 18 часов в сутки. При таком положении дел Мосад стал отставать от требований времени. Харель, например, не признавал компьютерной революции. Когда с огромным трудом его убедили все же установить у себя компьютер — он им ни разу не воспользовался. Аналитического центра у Хареля не было. Он в нем не нуждался. Да, люди Хареля блестяще проводили спецоперации, однако ни планов, ни четко разработанных задач на будущее у них не имелось. Сегодня они не знали, что будут делать завтра. Жили от операции до операции.

Эпоха Исера Хареля в израильской разведслужбе постепенно подходила к концу, но выяснилось это далеко не сразу.

Амит против Хареля

7 декабря 1953 года страну потрясло сообщение об отставке Давида Бен-Гуриона. Старый вождь, неожиданно для всех сложив с себя полномочия премьер-министра и министра обороны, удалился в свой кибуц Сдэ-Бокер.

Как Черчилль и де Голль, Бен-Гурион был личностью, олицетворявшей целую эпоху. Его уход пробил в политическом руководстве брешь, которую нелегко было заполнить. Кресло премьер-министра занял Моше Шарет — человек блестящей эрудиции, тонкий дипломат, но отличавшийся созерцательным характером и деликатностью, весьма походившей на слабоволие. Портфель же министра обороны получил Пинхас Лавон, мощный интеллект которого часто работал вхолостую из-за неумения ладить с людьми и прислушиваться к чужому мнению. Отношения между Лавоном и Шаретом были из рук вон плохи. Этим и воспользовался начальник военной разведки Биньямин Джибли для того, чтобы вывести свое ведомство из-под контроля премьер-министра и Мосада.

Джибли работал в тесном сотрудничестве с Лавоном, и этот альянс привел в 1954 году к задействованию израильской шпионско-диверсионной сети в Египте. Операция, получившая кодовое название «Сюзанна», завершилась провалом. Двое участников сети были приговорены в Каире к смертной казни, остальные — к различным срокам тюремного заключения. В Израиле начался скандал, вошедший в историю как «Дело Лавона».

Вернувшийся из кратковременного затворничества Бен-Гурион опять стал к штурвалу. Лавон и Джибли вынуждены были уйти. Военную разведку возглавил сначала Иехошофат Гаркави, а в 1958 году — уже известный нам Хаим Герцог. С его возвращением пришедшая при Джибли в упадок военная разведка вновь обрела эффективность.

Но главное, Герцог подготовил почву для появления Меира Амита, ставшего вторым после Хареля выдающимся реформатором израильской разведывательной службы.

* * *

Меир Амит в прошлом — кибуцник, командир батальона Хаганы, командир бригады Голани, командующий округом, начальник оперативного отдела генштаба, начальник военной разведки, начальник Мосада, генеральный директор концерна Кур, один из основателей движения Даш, депутат кнессета, министр транспорта, инициатор проекта создания первого

израильского спутника связи «Амос», и прочее — всего не перечислишь — родился в Тверии, в семье выходцев из России. Его мать Хая преподавала в гимназии иврит. Отец — Шимон Слуцкий, человек уравновешенный, даже флегматичный, далекий от политики, — служил бухгалтером в крупной фирме. Когда Меир был еще совсем маленьким, семья переехала в Тель-Авив. Отец очень гордился, что ему удалось устроить сына в самую престижную по тем временам гимназию «Бальфур». Меир учился хорошо, но, став активистом Хаганы, запустил школу. Чтобы не огорчать отца, поднапрягся и выдержал выпускные экзамены. Потом вступил в кибуц Алоним, женился на Йоне, родились обожаемые дочки.

Пасторальная идиллия закончилась, когда в кибуцном движении произошел раскол. Алоним стал совсем «красным». «Реакционеров» из кибуца просто выживали. Меиру с семьей пришлось переселиться в просторный родительский дом в Рамат-Гане.

Войну за независимость Амит начал командиром роты, а закончил командиром батальона. В генштабе быстро обратили внимание на молодого офицера. Высокий, ширококостный, с крупными, словно резцом высеченными чертами лица, он производил внушительное впечатление одной своей внешностью. Уже потом по достоинству оценивались и мужество его, и интеллект.

В мае 1951 года подполковник Меир Амит командовал операцией против сирийских позиций в районе Кинерета. Фактор внезапности не сработал. Сирийцы встретили бойцов Амита плотным огнем. Атака захлебнулась. Но Амит изменил направление удара, ввел в бой резервы и выбил все же сирийцев из их укрепленных пунктов. Цена победы оказалась высокой. 27 убитых. Амита обвинили в том, что он перешел грань допустимого риска. Но тогдашний командующий Южным военным округом Моше Даян взял его под свою защиту, напомнив о свято чтимом во всех армиях принципе: победителей не судят.

Став главнокомандующим, Даян назначил Амита начальником оперативного отдела генштаба. Он знал, что делает. Даян был человеком лукавым и расчетливым. В штабе он появлялся редко, занимался делами, не всегда связанными с его непосредственными обязанностями, и лишь одобрительно усмехался, когда Амит докладывал ему о проделанной работе. Иногда Даян подбрасывал какую-нибудь идею и говорил: «Уж ты-то сумеешь использовать эту золотую жилу». Всю Синайскую кампанию 1956 года до мельчайших деталей разработал и провел Меир Амит. Даян же, написавший об этой кампании целую книгу,

даже в сноске не упомянул его имени.

* * *

В начале 1958 года Меир Амит стал командующим Центральным военным округом. Все знали, что его уже ждет высший командный пост в армии. Но, как говаривал Наполеон, в поводырях у слепой судьбы ходит Его величество случай.

Амит считал, что солдат должен оставаться солдатом, даже если он носит генеральские погоны. Поэтому командующий участвовал иногда в военных учениях наряду со своими бойцами, доказывая, что он все может делать не хуже, чем они. Летом 1958-го Амит решил совершить тренировочный прыжок с парашютом.

Вспоминает Менахем Авирам, командовавший тогда полком в «хозяйстве» Амита:

«Было так жарко, что дрожащий от зноя воздух обжигал легкие. Я должен был прыгать первым, но Меир вдруг попросил уступить очередь ему и, прежде чем я успел среагировать, шагнул в открытый проем. Я — вслед за ним. Приземлился нормально. И сразу увидел Меира шагах в десяти от меня. Он не стонал, но глаза были закрыты, а на губах выступила кровавая пена. Нога его, простреленная под Дженином в Войну за независимость, попала в щель между скалистыми пластами, поросшими редким кустарником. Кость была сломана. Сухожилие — порвано. Но это — мелочь. Как потом выяснилось, парашют Меира раскрылся не полностью, и он не приземлился, а рухнул на землю. Да так, что почти все кости были переломаны».

Приземлившиеся парашютисты должны были идти к месту сбора километров пять, что тоже входило в программу учений. Все это расстояние протащил Меира на своей спине Менахем Авирам. Зато потом Меир много лет тащил Менахема за собой повсюду, куда забрасывала его судьба.

18 месяцев провел Меир в больнице — весь в гипсе, как рыцарь в латах, подключенный к всевозможным аппаратам. Некоторые из них были заказаны в Соединенных Штатах специально для него. Особенно трудно было первое время, когда боль, растекшаяся по всему телу, вызывала из самых тайных закоулков души безумие, превращавшееся в долгий неотвязный кошмар галлюцинаций.

Через три месяца врачи изрекли свой вердикт: Меиру никогда не передвигаться без костылей. А он отбросил костыли в первый же день, когда выписался из больницы. Лучше уж боль, чем бессилие. Это был День его независимости, но прошло много

времени, прежде чем жесткая система физических упражнений, разработанная им самим, принесла ожидаемые результаты и он, вопреки всем прогнозам, вновь стал здоровым человеком.

Выйдя из больницы, Меир посетил Бен-Гуриона. Старик очень обрадовался, увидев его без костылей. Поля принесла чай, а Меир засмотрелся на руки Бен-Гуриона — маленькие, крепкие, загорелые, без бугров и вздувшихся жил, совсем не старческие. Он-то давно знал, что не глаза, а руки выражают индивидуальность человека.

— А ну, пройдись, — вдруг сказала хозяйка.

Меир прошелся, волоча ноги, стараясь равномерно распределить тяжесть большого тела.

— Чтобы Насер так ходил! — сердито пожелала Поля.

* * *

Амит и сам понимал, что с военной службой покончено. В сорок лет — в полдень жизни — все надо было начинать сначала. Он выбрал академическую карьеру. Блестяще закончил Колумбийский университет, работал над докторской диссертацией. Но летом 1961 года Моше Даян, который иногда, по какой-то прихоти, оплачивал свои старые счета, предложил ему сменить Хаима Герцога на посту начальника военной разведки. Амит без колебаний согласился. Против этого назначения был лишь один человек — Исер Харель, заявивший, что слишком опасно оставлять военную разведку в руках военных. Они, мол, наломают дров.

Но Бен-Гурион сказал: «Пусть армия сама решает, что ей нужно». Меир Амит был утвержден в новой должности. На совещании у Бен-Гуриона он впервые встретился с Харелем.

Бесчисленны причины, по которым один человек может любить или ненавидеть другого. Амит — высокий, ладный, с солдатской выправкой, прямым взглядом, громким уверенным голосом. И Харель — казавшийся в присутствии Амита еще меньше, смотревший исподлобья. Грубая прямолинейность солдата не понравилась разведчику. Вкрадчивая осторожность разведчика не понравилась солдату. В самой природе каждого из них было что-то, чего другой по натуре своей не мог выносить. К тому же Меир Амит уже тогда считал стиль работы Хареля устаревшим и открыто говорил об этом. Исер Харель напоминал ему кривоногую таксу, охотившуюся на крыс и других мелких зверюшек, но неспособную взять более крупную дичь.

«Погоня по всему миру за стареющими нацистскими

преступниками — это, конечно, прекрасно, — говорил Амит, — но все же не следует забывать, что основной целью разведслужб является сбор информации о ресурсах, военном потенциале и планах врагов Израиля».

Харель, в представлении Амита, — сыщик, превративший Мосад в лавочку, торгующую чем попало.

Не оставался в долгу и Харель, написавший с десяток книг, в которых отказывал Амиту в элементарных человеческих и профессиональных достоинствах.

Подобный антагонизм не мог не втянуть этих людей в жестокую борьбу, хотя цели и задачи у них были общие и желали они одного и того же.

Солдат в Мосаде

21 июня 1962 года Израиль был потрясен сообщением об успешном испытании в Египте ракет класса «земля — земля». Ракеты эти — «Аль-Зефир» («Победа», дальность полета 280 км) и «Аль-Кахио» («Завоеватель», дальность полета 560 км) — могли представлять угрозу для безопасности Израиля. Даже их названия недвусмысленно свидетельствовали о намерениях египетского лидера. Да Насер и сам открыто заявил о своих планах в отношении еврейского государства, выступив с обращением к нации по поводу столь выдающегося события.

Хуже всего было то, что в Мосаде ничего об этих ракетах не знали. Разгневанный Бен-Гурион вызвал Хареля и ядовито попросил объяснить, зачем Израиль тратит огромные средства на свою разведку, если достаточно купить простой приемник, чтобы получать ценную информацию из выступлений египетского президента.

Честолюбие начальника Мосада было задето, гордость унижена. Потрясенный, давно не испытывавший таких ударов судьбы, Харель заверил премьер-министра, что через три месяца вся информация о ракетной программе Египта ляжет к нему на стол.

Информацию эту Харель получил гораздо раньше, уже через месяц, от своего суперагента в Каире Вольфганга Лотца.

* * *

Самыми выдающимися разведчиками Мосада за всю его историю считаются Эли Коэн и Вольфганг Лотц. О судьбе казненного в Дамаске Эли Коэна мы знаем почти все. Вольфганг

Лотц — известен меньше, что отнюдь не умаляет его заслуг.

Лотц родился в 1921 году в Германии. Отец — немец, директор театра в Берлине. Мать — еврейка, актриса в том же театре. После прихода Гитлера к власти отец вступил в нацистскую партию, а мать, плюнув ему в физиономию, забрала сына и уехала в Эрец-Исраэль. Двенадцатилетний мальчик быстро освоился на новой родине. Закончил сельскохозяйственный техникум, где на всю жизнь привязался к лошадям — даже мечтал уехать в Техас и стать ковбоем. Этого не получилось, но жизнь его действительно напоминает сумасшедшую ковбойскую скачку. Служил в британских колониальных войсках переводчиком, ввязывался во всевозможные авантюры, выполнял различные поручения Хаганы и, наконец, стал офицером израильской армии. Там и обратили на него внимание сотрудники Мосада. Лотц, казалось, самой природой был создан, чтобы стать асом разведки.

Знание языков: свободно владел немецким, арабским, английским. Внешность ницшеанской «белокурой бестии». Хладнокровие, интеллект, актерский талант, авантюрная жилка. Чего еще можно требовать от секретного агента? К тому же Лотц был наполовину арийцем. Сохранилась метрика о его рождении в Мангейме. Будучи немецким гражданином в силу своего происхождения, он не нуждался в липовых документах. Нужно было лишь чуть-чуть подретушировать его биографию. Сущие пустяки для специалистов Мосада.

В конце 1960 года в Каире возник скучающий путешественник, состоятельный прожигатель жизни — герр Вольфганг Лотц. Этот бывший офицер Вермахта, воевавший в корпусе Роммеля, после войны поселился в Австралии, где был хозяином конного завода. Но в Австралии такая скука — хоть вешайся. Впавший из-за нее в депрессию Лотц вернулся на родину. Послевоенная Германия, однако, ему не очень понравилась, и вот теперь он ищет под солнцем место для жизни спокойной и красивой. Само собой получилось так, что «симпатичный немец» застрял в Каире, вступил в фешенебельный кавалерийский клуб и, наконец, по совету генерала Али Гораба — начальника египетской полиции — создал конный завод, чтобы вывести новую породу экспансивных арабских лошадок. Через полгода «симпатичный немец» стал своим человеком в высших каирских сферах. Бывший офицер, он, естественно, тянулся к своим египетским коллегам. Генералы, полковники, сотрудники генштаба обожали этого «славного малого», у которого в любой момент можно было подзанять деньжат, не очень беспокоясь о возвращении долга.

Стоит ли говорить, какая ценная информация стала

поступать в Мосад от сверхсекретного агента в Каире по кличке Конь? Правда, Лотц стоил Мосаду очень дорого. Харель никогда не просматривал поступавших от него счетов, чтобы не расстраиваться, а получавший их казначей Мосада лишь хватался за сердце. Однажды по его настоянию Харель отправил Лотцу депешу с распоряжением документально отчитываться о своих расходах. В ответ Лотц попросил прислать ему из Мосада бланки, которые он мог бы давать на подпись египетским генералам, одалживающим у него деньги.

Харель утешался мыслью, что хорошая косметика стоит дорого, а дешевая — никому не нужна.

Лотц «сгорел» одновременно с Эли Коэном и по той же причине. Радиопеленгаторы, доставленные в Дамаск и в Каир из Советского Союза вместе с лучшими радистами ГРУ, засекли мини-передатчики обоих агентов. Но, в отличие от Коэна, Лотц «в рубашке родился». Он не был разоблачен до конца и предстал перед египетским судом как продавшийся евреям немец.

26 июля 1965 года суд брезгливо приговорил этого опозорившего свое «арийское» происхождение шпиона к пожизненному заключению. Сидел он недолго. После Шестидневной войны египтяне обменяли его на девятерых своих генералов, получив еще пятьсот военнопленных в качестве довеска.

* * *

Поступившая от Лотца информация поразила Хареля. Оправдались его самые худшие опасения. Ракетная промышленность Египта стартовала. В районе Гелиополиса уже действовал сверхсекретный объект под кодовым номером 333, представлявший собой не что иное, как завод по производству баллистических ракет, на котором трудились около ста немецких инженеров и ученых. В основном бывших нацистов, работавших в свое время на авиационных заводах Вилли Мессершмитта и в тайных лабораториях Эриха фон Брауна. Но это еще не все. И от Лотца, и по другим каналам стало известно, что по личному приказу Насера египтяне приступили к разработке совершенно секретных программ «Клеопатра» и «Ибис», предусматривающих создание ядерного и химического оружия.

Только этого не хватало! В распаленном воображении Хареля уже рисовалась апокалипсическая картина гибели Тель-Авива под грибовидным облаком. Ему казалось, что он видит, как обрушиваются на Израиль смертоносные египетские стрелы,

начиненные всякой пакостью. А все эта проклятая Германия, уже уничтожившая треть древнего народа и стремящаяся довершить начатое.

Ощущая себя триумфатором, спешит Харель к Бен-Гуриону, излагает ему свои выводы, предоставляет документы, требует давления на Германию по дипломатическим каналам. Предлагает будоражить совесть мира. Необходимо заставить Аденауэра отозвать из Египта немецких ученых — заканчивает Харель свой доклад.

Но возбуждение начальника Мосада наталкивается на ледяной холод. Впервые Бен-Гурион ему не верит. Он верит в новую Германию, желающую искупить грехи прошлого. С этой новой Германией у Израиля складываются особые отношения. Многомиллионные немецкие репарации оздоровили израильскую экономику. К тому же Германия тайно поставляет Израилю новейшие виды вооружения по баснословно дешевым ценам. Но дело не только в этом.

— Все, что вы мне сказали, я уже знаю, — говорит Бен-Гурион ошарашенному Харелю и кладет руку на объемистую папку. — Здесь материалы военной разведки гораздо более аргументированные, чем ваш эмоциональный доклад. Меир Амит полагает, что Египет и через тридцать лет не будет иметь ни ядерного оружия, ни заслуживающих внимания баллистических ракет собственного производства. Согласно оценке его аналитиков, большинство немецких ученых, нанятых Египтом, не являются крупными специалистами, а те, которые ими когда-то были, давно дисквалифицировались и не соответствуют современному уровню развития ракетных технологий.

— Это неправда, — почти кричит Харель. — Немецкие власти сами отбирали по просьбе Насера этих ученых.

— Если вы действительно так считаете, то я вынужден вам сказать, что не доверяю источнику вашей информации и считаю ее неверной, — говорит Бен-Гурион и поднимается, показывая, что разговор окончен.

* * *

Амит был прав. Харель не учел один важный фактор. Вольфганг Лотц, при всех его достоинствах, не был аналитиком. Он просто передавал своему шефу сведения, добываемые из хвастливой трепотни египетских генералов и подвыпивших немецких инженеров. Аналитического же центра по обработке информации подобного рода у Хареля не было. А у Амита был, и

еще какой!

Став начальником военной разведки, Амит взял к себе в заместители бригадного генерала Аарона Ярива — лучшего военного аналитика того времени.

Ярив родился в 1921 году в Москве. В 14 лет прибыл с семьей в Эрец-Исраэль. Закончил сельскохозяйственную школу, поступил в английскую армию, дослужился до офицерского звания. Войну за независимость провел в штабе Хаганы, где Игаль Ядин не мог обходиться без него при планировании операций. В 1950 году — в возрасте 29 лет — он был уже полковником.

Начальник самого престижного французского военного колледжа, куда Ярив был направлен на учебу, попросил израильского офицера не являться на занятия в военной форме. «Вы слишком молодо выглядите для своего звания, и у ваших коллег может развиться чувство неполноценности», — сказал он курсанту, казавшемуся даже моложе своих лет.

Несмотря на моложавый вид Ярива, каждый, кто к нему приближался, сразу ощущал воздействие его личности. Спокойный, как астроном, вежливый и внимательный в отношениях с людьми, он выделялся сосредоточенностью умственной воли. Его гибкий интеллект, нацеленный на максимальное использование внутренней энергии, наиболее полно реализовывался в творческом действии.

Ярив и Амит привлекли блестящих аналитиков, позаботились о создании компьютерного центра, где сортировалась и обрабатывалась вся поступавшая информация. Каждый отдел имел свои четко определенные функции. Все это привело к тому, что военная разведка стала отличаться от Мосада, как супермаркет от бакалейной лавки.

Но Харелю было не важно, прав Амит или нет. Важно было другое. Мосад — лучшая в мире разведка, а это значит, что его концепции не могут вызывать подозрений.

Харель пошел напролом. Ученые ведь не груши, на деревьях не растут. Если припугнуть немецких ученых, то они перестанут работать на Насера, а новых ему так быстро не раздобыть — рассудил Харель и дал зеленый свет уже разработанной операции «Дамоклов меч». Началась форменная охота. Некоторые из работавших на египтян специалистов получили по почте конверты, взорвавшиеся в их руках, другие бесследно исчезли…

И вдруг — прокол. В Швейцарии взяли с поличным сотрудника Мосада Йосефа Бен-Галя, пытавшегося шантажировать дочь директора уже известного нам египетского объекта номер 333 Поля Герке. Начался международный скандал. Бен-Гурион направил Исеру Харелю резкое письмо, а

оскорбленный начальник Мосада подал в отставку.

Произошло это 23 марта 1963 года. В пятьдесят лет — в расцвете сил — ушел человек, поднявший Мосад из праха до уровня мировых стандартов, считавшийся незаменимым.

* * *

Харель был убежден, что Бен-Гурион не примет его отставки. Разве можно оторвать Мосад от Хареля? Ведь Мосад — это Харель. Но Бен-Гурион, почувствовавший, что в истории с египетскими ракетами для Хареля важнее всего оказались его личные амбиции, решил не препятствовать уходу начальника Мосада. Тем более что он знал, кем его заменить. Выяснив, что Амит находится где-то на северной границе, Бен-Гурион послал за ним военный вертолет. Он не стал тратить времени на уговоры.

«Меир, — сказал Бен-Гурион начальнику военной разведки, — Харель ушел, и я хочу, чтобы ты занял его место. Сдай дела Яриву и отправляйся в Мосад. Вот приказ о твоем новом назначении». Амит не стал спорить. Он знал, конечно, об особых отношениях между Исером Харелем и его людьми, понимал, что в Мосаде его никто с цветами не встретит. Но солдату, привыкшему к дисциплине, и в голову не могла прийти мысль, что ему придется столкнуться с настоящим бунтом.

Пять минут понадобилось Харелю, чтоб передать дела этому ненавистному человеку. Хареля трясло от злости. «Папки с шифрами и кодами здесь, — указал он на ящик письменного стола. — Остальную информацию вы получите от моих сотрудников». И Харель не вышел, а вынесся из комнаты. Амит, проводив его презрительным взглядом, пробормотал: «Этот Исер еще меньше, чем он выглядит». Потом выдвинул ящик. Папка, о которой говорил Харель, была на месте. И все. Никаких других документов. Даже списка сотрудников Мосада — и того не было.

В дверь постучали. Вошла Ора Авни — одна из четырех секретарш Хареля. Меир ей улыбнулся. Она ответила ледяным взглядом. Потом Ора станет личной секретаршей Амита, другом его семьи, проработает с ним много лет. Но все это будет потом. А сейчас она положила перед Амитом шифрованную телеграмму и надменно удалилась. С трудом, пользуясь инструкцией из той самой папки, Меир расшифровал текст. Пятеро видных сотрудников Мосада в Европе, в том числе их резидент Ицхак Шамир, сообщали новому начальнику, что отказываются с ним работать. «Мы будем вам благодарны, если вы доведете текст

этого нашего заявления до сведения премьер-министра», — писали агенты.

Амит вызвал секретаршу и продиктовал свой первый приказ. Пятеро «мятежников» отзывались на родину. В дальнейшем всем им пришлось уйти из Мосада. Меир заменил их своими людьми из военной разведки. Собрав подчиненных, он сказал: «Я никого не держу. Да, я намерен подтянуть дисциплину, хоть и не буду требовать, чтобы вы строем, с песнями выходили каждый день на работу. Те из вас, кто решит продолжить службу в этом учреждении, должны будут выполнять все мои распоряжения — вне зависимости от того, нравится им это или нет».

Вспоминает Ора: «У многих в глазах были слезы. Массивная фигура этого солдата в гимнастерке и тяжелых ботинках так разительно отличалась от всего, к чему они привыкли, так не походила на облик их бывшего шефа, с которым их связывали прочнейшие эмоциональные узы, что они поняли: вдребезги разбит их прежний мир, с которым они так свыклись…»

Многие ушли, а те, кто остались, вскоре с удивлением почувствовали, что им нравится новый начальник, оказавшийся во многом шире и глубже своего предшественника. Всюду теперь мелькали симпатичные молодые люди с военной выправкой. Всюду появились компьютеры. Работы прибавилось, но при этом и жить стало гораздо интересней.

* * *

Трудно сказать, как бы развивались события, если бы 16 июня 1963 года Бен-Гурион вновь не ушел — на сей раз, как оказалось, навсегда. Он, сам создавший израильскую политическую структуру, сам же одним из первых увидел ее изъяны. Его партия стремительно превращалась в гипертрофированный бюрократический аппарат с коррупцией и мышиной возней функционеров. Старый вождь понимал, что страна нуждается в реформах и начинать их нужно с правящей партии. Пример де Голля был у него перед глазами. Но у де Голля ведь был контракт непосредственно с Францией, а Бен-Гуриона обложили со всех сторон партийные бонзы. Крикливые, самоуверенные, они сплотились для борьбы со своим старым лидером, чтобы вытеснить его из политической жизни.

Бен-Гурион еще попытается бороться, создаст движение Рафи, к нему присоединятся Даян с Пересом — ничего не выйдет. Бюрократическая цитадель вырождающейся Рабочей партии окажется несокрушимой…

Одолев Бен-Гуриона, партийные функционеры избрали премьер-министром 67-летнего Леви Эшколя. Это был, пожалуй, один из самых «тусклых» израильских лидеров. Ум — трезвый, основательный, но без взлетов. Характер — нерешительный, слабый, склонный к компромиссам. Будучи по натуре своей соглашателем, Эшколь избегал крайних решений и конфликтных ситуаций.

Став премьер-министром, он должен был решить, что делать с Амитом. С одной стороны, Голда Меир и Яаков Шапиро требовали немедленно убрать этого ставленника Бен-Гуриона. Ну а с другой — за Амита горой встали Аба Эвен и Моше Даян. Эшколю совсем не хотелось схлестнуться с Даяном, и он принял, как ему казалось, «соломоново решение». Утвердил Меира Амита в его новой должности. Аарон Ярив стал начальником военной разведки. Не был забыт и Исер Харель. Эшколь назначил его своим специальным советником по вопросам разведслужб. Харель получил право курировать и Мосад, и военную разведку. Стоит ли говорить, что это было худшее из возможных решений.

Трудно работать под ненавидящим взглядом. Харель вцепился в Амита, как гончая в кабана. Разумеется, ни о каком сотрудничестве между этими двумя людьми не могло быть и речи. Харель все уши Эшколю прожужжал о том, какой Амит жуткий тип и какую угрозу представляет он для безопасности государства. Но у Эшколя хватило ума понять, что во главе Мосада стоит профессионал высокого класса, и в его работу он не вмешивался. Тем временем преображенный Мосад не только добывал ценнейшую информацию, но и осуществлял операции, о которых во времена Хареля можно было только мечтать.

И вдруг Харель узнал по своим каналам о деле Бен-Барки. Чувство удовлетворения, смешанного с горечью, овладело им. Ведь он же предупреждал, говорил…

Ловушка для Бен-Барки

После Войны за независимость Израиль, прижатый к морю, окруженный со всех сторон врагами, оказался герметически замкнутым в своих границах. Чтобы прорвать эту изоляцию, Мосад еще в начале шестидесятых годов установил секретные связи с Марокко, Ираном, Эфиопией и Турцией, охватив таким образом своих арабских соседей в кольцо из стран «третьего мира». Особое же значение и Харель, и Амит придавали развитию тайного сотрудничества с Марокко. К моменту образования государства Израиль в Марокко — тогда французской колонии — проживало около полумиллиона евреев. Это была самая

значительная еврейская община в арабском мире.

Французская колониальная империя уже трещала по всем швам. Марокканский султан Мухаммед Пятый отказался стать марионеткой колониального режима и был выслан из страны. Неожиданно для всех султан, род которого восходил к пророку Мухаммеду, присоединился к радикальному движению «Демократический фронт национального освобождения» и фактически его возглавил. В 1956 году Марокко добилось государственной независимости. Мухаммед, ставший правителем страны, терпел существование левых партий — вчерашних союзников — и даже позволил провести парламентские выборы.

Мухаммед был прост в обращении, неприхотлив, одевался скромно, не предавался излишествам. К своим еврейским подданным относился хорошо. Уравнял их в правах с мусульманами, даровал право голоса. «И мусульмане, и евреи — мои дети, — говорил он, — и я в равной степени обязан заботиться о тех и о других». Но дети ведь не всегда знают, что для них хорошо, а что плохо. Об их благе должен печься отец. Руководствуясь этим соображением, султан запретил репатриацию «своих» евреев в Израиль. При нем марокканские евреи переправлялись на Землю обетованную нелегально.

В 1961 году, после смерти Мухаммеда Пятого, на престол вступил его сын Хасан Второй, принявший королевский титул. Хасан, в юности сопровождавший отца во всех походах, получил хорошее европейское образование, отличался решительностью, хладнокровием, прагматичностью. Его правление, изнурившее страну, продолжалось почти четыре десятилетия. Вот только незаурядный ум его был пустым, мертвым. Ибо живой ум черпает силу из сердца, а у Хасана этот орган исполнял чисто физиологические функции.

Став монархом, Хасан быстро понял, какую опасность представляют для его власти республиканские арабские режимы в Ираке и в Сирии, в Алжире и в Египте. Ему нужен был союзник, и никто не подходил для этой роли лучше Израиля. Хасан начал с того, что разрешил свободную репатриацию марокканских евреев. Не бесплатно, конечно. Уезжали ведь ремесленники, торговцы и вообще самые предприимчивые из его подданных. Израиль охотно согласился компенсировать ущерб. За каждую еврейскую голову король получал 250 долларов. За годы правления Хасана в Израиль из Марокко переселилось в общей сложности свыше четверти миллиона евреев. Король заработал весьма неплохо.

Для Израиля же плацдарм в арабском мире был даром небес. Мосад помог марокканцам создать разведку, отвечающую современным требованиям. По личной просьбе короля Хасана его

охрану взяли на себя бывшие марокканские евреи, прошедшие спецобучение в Израиле.

Но и Меиру Амиту грех было жаловаться. Мосад построил в Рабате станцию прослушивания, добывавшую ценные сведения. Агенты Амита переправлялись из Марокко в другие арабские страны. Сам начальник Мосада несколько раз тайно приезжал в Марокко, встречался с Хасаном и с его доверенным лицом министром внутренних дел Мухаммедом Офкиром. Сотрудничество между обеими странами, хоть и тайное, было взаимовыгодным и открывало возможности, которыми Амит дорожил чрезвычайно. Секретные встречи между израильскими и арабскими лидерами неоднократно проводились в королевских дворцах Марокко под эгидой монарха-либерала. Особенно умиляло отношение короля к его еврейским подданным. Королевская опека надежно ограждала их от скверны окружающего мира. Еще в 1958 году, будучи наследником престола, Хасан первым в арабском мире заявил, что существование Израиля — это свершившийся факт, с которым арабы должны смириться. Он даже предложил принять Израиль в Лигу арабских государств.

* * *

В жизнеописании Калигулы Светонию вдруг изменяет беспристрастность историка, и он пишет: «До сих пор речь шла о правителе, далее придется говорить о чудовище».

Король Хасан считался «другом Запада». Его похороны с парадом королей, президентов, премьер-министров, съехавшихся со всего мира, походили на грандиозное шоу. В его стране есть оппозиционные партии, парламент и даже конституция. Король элегантно, со вкусом одевался, часто принимал иностранных гостей и вообще любил порассуждать о преимуществах просвещенно-либеральной монархии над другими формами государственного устройства.

Но все это лишь фасад, лицевая сторона. За либеральной маской, носимой с такой ловкостью, что она как бы приросла к лицу, скрывался коварный восточный деспот, каким-то чудом перенесенный прямо из средневековья в наши дни. Король считал себя мыслителем. Любил изрекать афоризмы. Вот некоторые из них: «Истина — это только то, что навязано силой. Ореол — привилегия победителя. Лишь власть дает подлинное могущество. Слово короля значит больше, чем жизнь любого его подданного. Опираться надо на тех, кто верит, а не на тех, кто

умничает».

Недруги короля говорили, что его мать, негритянская рабыня, подаренная султану Мухаммеду одним из шейхов, взошла на ложе своего нового повелителя уже беременной. Поэтому враги называли Хасана ублюдком и утверждали, что в его жилах нет ни капли королевской крови.

Страной правила насквозь коррумпированная клика королевских родственников и прихлебателей. Уровень жизни подавляющего большинства населения оставался в правление Хасана слишком низким даже для Африки. Треть жителей Марокко — семь миллионов человек — страдала от хронического недоедания, в то время как король и его приближенные буквально купались в роскоши.

Всюду — в Рабате, в Танжере, в Маракеше, в Фесе, в Касабланке, на юге Франции и в Соединенных Штатах — возвышаются королевские дворцы, радуя глаз изяществом линий, зелеными беседками, миртовыми оградами, изобилием плодов и цветов. Краны, ванны и даже писсуары в этих жемчужинах зодческого искусства сделаны из чистого золота. Вряд ли Хасан подозревал, что именно ему довелось осуществить мечту Владимира Ильича Ленина…

Особенно хорош королевский дворец в Рабате — с высокими башнями и легкими аркадами, с хрупкими настенными узорами и пышными террасами, утопающий в свежем великолепии громадного сада. А рядом с дворцом находится старинное мрачное строение, надежно укрытое обступившими его со всех сторон деревьями. Это Дар Аль-Мукри — королевская тюрьма. Толстые стены поглощают вопли несчастных — ни один стон не прорвется наружу. Здесь пытают врагов короля, а также их жен и детей. Король, не чуждаясь ничего человеческого, иногда посещал подземелья, где вовсю кипела работа. Заранее предупрежденные палачи готовили для своего повелителя что-нибудь особенно пикантное. Тела замученных закапывали прямо в аллеях сада, и, прогуливаясь, Хасан испытывал приятное чувство от сознания, что он попирает ногами могилы своих врагов…

Марокканский оппозиционер Муман Диори, герой борьбы с французскими колонизаторами, просидевший в каменном мешке размером 4 на 2 метра много лет и лишь чудом вырвавшийся на свободу, вспоминает:

«Мне казалось, что я нахожусь на дне колодца. Сначала я услышал детские рыдания — тихие, полные такого безысходного горя, что сразу заледенело сердце. Когда глаза немного привыкли к полумраку, я стал различать фигуры женщин и мужчин, подвешенные вниз головой к крюкам на потолке. Вокруг, в крови

и блевотине, сидели дети с лицами сопливыми, грязными, опухшими от слез и смотрели на муки своих родителей. В подземелье устоялся смрадный запах гнили и гноя. Выдержать этого я не мог — меня сразу вывернуло наизнанку…»

Всё Марокко, как сыпью, покрыто такими тюрьмами… Король сам разработал ассортимент из семи разновидностей пыток, символизирующий семь кругов ада. Человек образованный, Хасан хорошо знал творение великого флорентийца…

Несчастных сначала просто били железными прутьями. Потом подвешивали за ноги к потолку. Потом погружали их головы в чан с мочой, пропускали ток через половые органы, вырезали на теле узоры и посыпали их солью — ну и так далее. Интересующихся подробностями отсылаю к хорошо аргументированной книге французского журналиста Жиля Перро «Наш друг король», вышедшей в Париже десять лет назад.

Придя к власти, Хасан начал с того, что ввел в стране конституцию. Этого добивались все радикальные партии, сотрудничавшие еще с его отцом. Марокканской интеллигенции казалось вполне возможным создание некоей оптимальной модели государственного устройства путем синтеза ислама, социализма и конституционной монархии. Хасан не возражал. Нанятые французские юристы состряпали именно то, что ему хотелось. Сквозь шелуху красивых слов явственно проступала суть хасановской конституции. В качестве повелителя правоверных и верховного главнокомандующего король получал ничем не ограниченные полномочия. Его власть становилась абсолютной.

Оппозиция, ожидавшая вовсе не этого, летом 1963 года вывела людей на улицы, организовала демонстрации протеста. Король был к этому готов. Демонстрантов расстреливали из пулеметов, давили танками. Лидеры и активисты крупнейшей оппозиционной партии «Национальный союз народного фронта» были арестованы и прошли через все семь кругов уже описанного нами ада.

Но вождь марокканской оппозиции Мехди Бен-Барка — в прошлом советник султана Мухаммеда, учивший маленького Хасана математике, — сумел ускользнуть. Послушный королевской воле суд заочно приговорил Бен-Барку к смертной казни, а тот преспокойно разъезжал по всему миру и призывал к бойкоту антинародного режима в Марокко.

Бен-Барка, ставший со временем видной фигурой в «третьем мире», открыто поддержал Алжир в его пограничном конфликте с Марокко. А когда в марте 1965 года Марокко вновь потрясла волна демонстраций, король счел, что и это дело рук Бен-Барки,

хотя демонстранты требовали на сей раз хлеба, а не конституции. Король потерял сон и аппетит. Он даже перестал читать французские газеты: какую ни откроешь, всюду красуется ненавистное имя. Наконец Хасан дал понять своему министру внутренних дел и начальнику секретной службы генералу Мухаммеду Офкиру, что не будет сожалеть о смерти бывшего своего учителя.

Мухаммед Офкир был старым солдатом. Воевал в Индокитае, а потом сражался против Франции бок о бок со своим повелителем и другом султаном Мухаммедом. Умирая, Мухаммед попросил Офкира никогда не покидать его сына. Хотя характер Хасана вызывал у него отвращение, Офкир дал слово и долго держал его, несмотря ни на что. Ему было присуще стремление к самоутверждению — этой высшей мере человеческих ценностей. Когда она не сочетается с воображением, человек превращается в орудие чужой воли, не слишком, впрочем, надежное.

Отвечая за внутреннюю безопасность, Офкир выполнял самые жестокие приказы Хасана и был прозван «королевским палачом». Худой, бесстрастный, с узким костлявым лицом и тонкими губами, он, казалось, был начисто лишен эмоций. Редко кто мог выдержать его тяжелый взгляд.

Королевское поручение Офкира не обрадовало. Он хорошо знал Бен-Барку и относился к нему с уважением. Но приказ есть приказ.

* * *

Мухаммед Офкир встретился с Меиром Амитом в кафе на Монмартре, в отдельном кабинете, где не бывает случайных посетителей, и по-солдатски четко изложил израильтянину суть дела.

— Король, — сказал Офкир, — желает, чтобы он исчез, а добиться этого можно одним-единственным способом. Мы бы не обратились к вам, генерал, если бы наша разведка не была такой слабой. Но мы даже не знаем, где сейчас находится Бен-Барка. А вы знаете.

Амит нахмурился. Он действительно знал. В последний год Бен-Барка стал налаживать тесные связи с палестинскими террористами и привлек к себе внимание Мосада.

— Мы такими делами не занимаемся, — резко произнес Амит. — Вам придется обойтись без нашего содействия. Обратитесь к СДИСИ — французской военной разведке. Бен-Барка якшается с алжирцами, а это достаточная причина, чтобы

французы вам помогли.

— СДИСИ не захочет иметь с нами дела. Нам без вас не справиться — вы это знаете. И вы должны нам помочь.

— Вы просите невозможного, генерал, — уже раздраженно ответил Амит. — Да вы хоть себе представляете, какой скандал разразится, если об этом пронюхают? Пострадает репутация моей страны. Полетит моя голова…

— Не пронюхают, — упрямо сказал Офкир и, помолчав, добавил, придав своему голосу не свойственную ему мягкость: — Генерал, как вы думаете, что сделает король, узнав, что вы отказались нам помочь? Он прикажет разорвать с вами все связи, налаженные с таким трудом. Мне бы этого не хотелось. Подумайте, прошу вас…

— Да и я не хочу этого, — пожал плечами Амит.

Вышколенный официант принес турецкий кофе, сваренный по особому рецепту. Офкир с наслаждением закурил тонкую сигару с золотым ободком.

Амит задумался. Отправляясь на эту встречу, он внимательно просмотрел досье на Бен-Барку:

«Моральное влияние, возвышающее его над другими людьми, Бен-Барка ценит выше, чем власть. Блестящий публицист, умный и тонкий собеседник, человек по натуре мягкий и добрый, он часто выступает в роли третейского судьи, улаживая неизбежные в пестром конгломерате „третьего мира“ ссоры и конфликты. С его мнением считаются. К его словам прислушиваются. Его бескорыстием восхищаются. Он искренне ненавидит колониализм, империалистических хищников, восточных царьков и деспотов — „угнетателей народов“ — и очень дорожит своей ролью нравственного арбитра и учителя. Постепенно, помимо его желания, эта роль стала ему важнее даже, чем освобождение угнетенных, чей дух, как ему кажется, он выражает.

Бен-Барка верит и в социализм, и в Аллаха. Его бескорыстие и аскетическая жизнь давно перестали быть естественной потребностью души, превратившись в источник, питающий честолюбие и гордыню. Но он даже самому себе никогда не признается в этом.

Как политику ему присущ реализм мышления, контролирующий эмоциональные порывы. В последние годы его солидарность с террористическими левыми группировками всех мастей стала абсолютной. „Террор, направленный против угнетателей, укрепляет веру народа в свои силы“, — поучает Бен-Барка, хотя сам лично не выносит вида крови и человеческих страданий. В последнее же время он все чаще выступает в роли палестинского адвоката на международной арене. Бен-Барка

играет свою биографию, как актер заученную роль. Для Израиля он сегодня не представляет угрозы, но может стать опасным в будущем…»

Перебрав все это в памяти, Амит принял решение.

— Генерал Офкир, — сказал он официальным тоном, — мы поможем вам, но до известного предела. Бен-Барка проживает в Женеве у своих марокканских друзей. Его надо заманить в Париж, где к операции подключатся сотрудники СДИСИ. Они задержат Бен-Барку и передадут его вашим людям. Об этом мы позаботимся, но что будет с Бен-Баркой потом — нас не касается. Мы не принимаем участия в политических убийствах.

Амит говорил уверенно, но на душе у него было неспокойно. Впервые за всю свою карьеру он не был убежден в правильности принятого решения.

Офкир улыбнулся:

— Благодарю вас, генерал Амит, от имени короля. Я полностью удовлетворен и доложу Его величеству о том, какую услугу вы нам оказываете. А сейчас, если вы не возражаете, перейдем к обсуждению других наших общих дел…

Два респектабельных джентльмена проговорили еще около часа и разошлись, оставив на столике щедрые чаевые.

* * *

Бен-Барка прилетел из Женевы в Париж 28 октября 1965 года рано утром. Выйдя из здания аэропорта Орли, взял такси и отправился в квартал Сен-Жермен-де-Пре, где бывал и прежде. Ему нравился этот оплот политических бунтарей и художников-авангардистов, окрашивающий в веселые тона самые мрачные события. Каждый раз, посещая Сен-Жермен, Бен-Барка с благодарностью чувствовал, как отступает и растворяется изнуряющая тоска, всюду сопровождавшая его в последние месяцы. Сейчас он приехал сюда, чтобы встретиться с режиссером Жоржем Фаранжю и обсудить с ним проект постановки антиколониального фильма.

А вот и улица Брассери-Липп. Вот и особняк Фаранжю, увитый плющом. Мехди Бен-Барка отпустил такси и направился к калитке, где его уже ждали трое в плащах — блестящих и гладких, как чехлы музыкальных инструментов.

— Месье Бен-Барка? — спросил один из них, показывая удостоверение сотрудника СДИСИ.

— Он самый. А в чем дело, господа? — Переполнявшая Бен-Барку радость жизни сразу потускнела.

— Вам придется проехать с нами. Наш начальник желает задать вам пару вопросов. Да не беспокойтесь — это ненадолго, — сказал самый тощий в этой тройке, по-видимому главный.

— А я и не беспокоюсь.

Бен-Барка еще ничего не понимал, а рядом уже застыл черный «ситроен». Его вежливо, но твердо взяли за руки. И вот он уже в машине. Зажат между двумя в плащах. Один из них впился пальцами в его колено. Второй вдавил дуло пистолета прямо в ребра.

Бен-Барка закричал, рванулся — и обмяк от сильного удара по голове. А машина свернула в предместье Фонтан-ле-Виконт, въехала в распахнутые ворота виллы, принадлежавшей Жоржу Бушесейше — владельцу злачных заведений в Париже и в Рабате. Жорж, которому хорошо заплатили, играл в это время в казино в Монако.

На вилле Бен-Барку ожидали десять молчаливых, решительных парней из отборной «гвардии» Жоржа Бушесейше. Храбрость, злоба и преданность сочетаются у таких людей с полным отсутствием каких-либо представлений о чести и собственном достоинстве.

Очнулся Бен-Барка в подвале на полу. Голова раскалывалась — пульсирующая в висках кровь причиняла нестерпимую боль. Было темно, но постепенно мрак стал рассеиваться. Из маленького решетчатого окошка у самого потолка струился слабый свет. Бен-Барка вглядывался в него до рези в глазах, до тех пор, пока из полумрака не послышался смешок. Перед ним замаячило скуластое лицо — добродушное, внушающее доверие. Но что-то хитрое было в прищуре глаз, а губы скривила лицемерная усмешка.

Хасан… Мальчик, которого он учил когда-то математике. Могущественный враг, выбрасывающий его из мироздания, как мертвеца или безумца…

А света становилось все меньше. Мрак густел, надвигался со всех сторон. Бен-Барка понял, что это не свет уходит, а его жизнь. И закричал. Истошный вопль тянулся долго-долго, пока хватило дыхания. И наступила тишина, которую больше ничто не нарушало…

* * *

Когда прилетевший из Марокко Мухаммед Офкир спустился в подвал с двумя своими людьми, Бен-Барка, уже полностью

овладевший собой, встретил своего палача спокойно, с достоинством.

— Вы приехали насладиться моими страданиями? — спросил он у генерала, застывшего часовым у железной двери.

— Нет, — ответил Офкир. — Просто я должен сообщить вам, что как человек король вас прощает, но как глава государства он обязан проследить, чтобы вынесенный вам смертный приговор был приведен в исполнение.

— Ваш король — это кровавый гнойник, да и вы не лучше, раз служите ему с таким усердием.

В голосе Бен-Барки не было даже гнева. Лишь отрешенность человека, оставшегося наедине со смертью.

Резко повернувшись, Офкир вышел. Минут пять постоял у входа. Закурил тонкую сигару с золотым ободком. Когда сзади возникли два силуэта, не оборачиваясь, бросил: «Заройте его где-нибудь здесь, в саду…»

Месть де Голля

Исчезновение Бен-Барки вызвало во Франции грандиозный скандал. Как это так — человек уважаемый, талантливый, известный, один из лидеров «третьего мира» — приезжает в Париж и бесследно исчезает. Впрочем, не так уж бесследно. Кто-то видел, как Бен-Барку затаскивали в машину, и записал ее номер. Выяснилось, что это машина СДИСИ. Левая пресса неистовствовала, обвиняя правительство в причастности к похищению и убийству влиятельного политика.

Атмосфера в те дни во Франции была тревожная. Левые и правые, прекратив на время грызню между собой, обрушились на правительство. Скандал достиг апогея, когда в него вмешался сам президент де Голль. Узнав, что СДИСИ принимала участие в никем не санкционированном деле, он впал в ярость и открыто обвинил своих противников в армии и в военной разведке в том, что они все еще пытаются подорвать его авторитет и дестабилизировать всю систему управления страной.

«Есть еще ничтожные людишки, считающие меня глупцом, — заявил де Голль на заседании своего кабинета, — я с ними сквитаюсь».

По распоряжению президента была создана специальная следственная группа, быстро высветлившая многие обстоятельства этой скандальной истории. Через полгода французский суд признал Офкира виновным в предумышленном убийстве и заочно приговорил его к пожизненному заключению. Дипломатические отношения между Марокко и Францией были

разорваны. Де Голль воспользовался предоставившейся возможностью и провел основательную чистку в СДИСИ и в армии.

К тому же президенту стало известно, что к похищению Бен-Барки причастен Израиль. Это было хуже всего…

* * *

Между де Голлем и Францией никогда не было посредников. Социализм, капитализм и прочие «измы» его не интересовали. Для него существовала только Франция. В 1940 году, когда Франция, раздавленная, потерявшая надежду, погрузилась в кромешную ночь, этот человек сказал удивленному миру: «Франция существует». Тогда в это никто не поверил. Никто, кроме Франции. Эренбург, возненавидевший генерала за отказ с ним встретиться, тем не менее говорил: «В Москве казалось, что Франция следует за ним на расстоянии трех шагов, подобно мусульманской супруге».

Во Францию он верил беспредельно, и Франция была ему за эго благодарна. Она сама верила в себя куда меньше. Интересы нации были для Шарля де Голля высшим законом. В этом смысле генерал больше походил на главу религиозного ордена, чем на политика. Его позиция всегда была символом веры. Те, кто этой позиции не принимали, отвергали тем самым и его. Он сказал Черчиллю: «Если я не Франция, то что я делаю у вас в кабинете?»

По этой причине с Черчиллем и Рузвельтом у него было меньше взаимопонимания, чем со Сталиным. Черчилль и Рузвельт считали, что Франции больше не существует, а Сталин сразу понял, что этот человек носит Францию внутри себя. Сталину-то было ясно, что Франция перестала что-либо значить только в военном отношении — совсем как Россия после Брест-Литовского договора. Сила, которую Сталин интуитивно почувствовал в де Голле, ему импонировала, хоть и была она совсем не от дьявола.

Андре Мальро вспоминает одну поразившую его фразу генерала: «Даже если доводы, которые коммунизм предлагает русским, чтобы они верили в Россию, не стоят выеденного яйца, он необходим, потому что он их предлагает».

Когда де Голль встретился со Сталиным в 1944 году, тот, по словам генерала, напоминал старого полковника жандармерии, интересующегося в равной степени и окружающим миром, и своими усами. Переговоры зашли в тупик, потому что де Голль отказался признать созданное в Люблине просоветское польское

правительство. «Вы упрямы, — сказал Сталин, — это хорошо». И вышел.

Ночью де Голля разбудили. «Маршал Сталин будет демонстрировать для вас фильм», — сказал офицер охраны. Генерал спустился в кинозал. Фильм оказался типичной советской агиткой того времени. Крупным планом падали немецкие солдаты под огнем советских батарей. И всякий раз в наиболее патетических местах пальцы Сталина впивались в бедро генерала. «Когда я решил, что с меня хватит синяков, то убрал ногу», — вспоминает де Голль. Сталинская пятерня надолго отпечаталась на его бедре. Зато на следующий день франко-советский договор был подписан в том виде, в каком хотел генерал де Голль.

После войны Шарль де Голль вынужден был уйти, потому что предложенная им реформа системы власти не была принята. Народ отказался от нее, как капризный больной ребенок от горького лекарства.

На целых десять лет закрылся генерал в своем поместье, пока наконец в 1958 году, изнуренная чехардой сменяющихся правительств, алжирской войной и прочими неурядицами, Франция не призвала его вернуться.

Хорошо изучивший алжирскую проблему, де Голль закрыл колониальную страницу во французской истории, заявив на заседании своего кабинета: «Интересы Франции и интересы французских колонистов в Алжире больше не совпадают». Все было кончено.

Но в 1961 году французские генералы создали секретную вооруженную организацию ОАС, чтобы не допустить предоставления Алжиру государственной независимости. Оасовцы начали опасную игру, ставками в которой были их жизни и голова де Голля.

* * *

В марте 1961 года один израильский политический деятель был приглашен в гости к полковнику ОАС в Париже. Немолодой уже полковник относился к разряду тайно пьющих. Помятое лицо, устоявшаяся тоскливая растерянность в глазах. К вечеру он обычно находился в той стадии, когда на время стимулируется работа сознания, а голос приобретает оттенок энергии и страсти.

С места в карьер он сообщил изумленному израильтянину, что близок час военного путча. Президент де Голль, предавший французский Алжир, должен погибнуть, и лучше всего, чтобы его

убийцей стал какой-нибудь араб из Израиля. Тогда убийство можно будет свалить на Фронт национального освобождения Алжира. Военные же, придя к власти, не забудут Израилю этой услуги. «Вы получите наше оружие, нашу политическую поддержку и нашу вечную дружбу. Нам же нужен только ваш „шакал“», — закончил полковник. Израильский гость пообещал довести это предложение до сведения своего правительства. И довел.

Бен-Гурион, узнав об этом, приказал израильскому послу в Париже Вальтеру Эйтану немедленно проинформировать де Голля о готовящемся военном заговоре. Де Голль, своевременно принявший меры, поблагодарил Бен-Гуриона личным письмом. В том же году Бен-Гурион прибыл с визитом во Францию, где президент встретил его с искренней сердечностью.

В то время Шарль де Голль прекрасно относился к Израилю. Создание еврейского государства он назвал одним из величайших исторических событий XX века. Согласно его желанию, Франция щедро снабжала Израиль оружием и поддерживала с ним тесные контакты во всех сферах.

Поэтому, узнав о роли Мосада в деле Бен-Барки, де Голль был поражен израильской неблагодарностью. Он решил, что Израиль тайно сотрудничает с ОАС и плетет козни против его режима, действуя на территории Франции нелегальными методами. Все это президент воспринял как личное оскорбление. Помня об израильской услуге, де Голль не предал гласности участие Мосада в похищении Бен-Барки. Но, решив, что он тем самым вернул Израилю свой долг, стал мстить ему с изобретательной изощренностью.

На поставки Израилю французского вооружения было наложено эмбарго. Франция взяла курс на сближение с арабскими странами и стала последовательно проводить антиизраильскую политику. До самого конца пребывания де Голля у власти ощущал на себе Израиль его мстительный гнев…

Харель против Амита

Скандал, разразившийся во Франции в связи с делом Бен-Барки, явился для начальника Мосада полной неожиданностью. Под угрозой оказалась репутация не только израильской разведки, но и всей страны. Меир Амит, понявший свою ошибку, не стал сожалеть о пролитом молоке и сделал все возможное, чтобы не выпустить джинна из бутылки. Агенты Мосада, участвовавшие в операции, поклялись молчать. Были у Амита и средства, чтобы принудить к молчанию не только марокканцев,

но и сотрудников французской военной разведки, лихорадочно заметавших следы своей причастности к афере, вызвавшей гнев де Голля. Все люди СДИСИ, участвовавшие в захвате Бен-Барки, навсегда исчезли таинственным образом.

Хуже обстояли дела в самом Израиле. 2 ноября — всего через три дня после убийства Бен-Барки — в стране состоялись парламентские выборы. Правящая партия Мапай победила, но созданный Бен-Гурионом список РАФИ получил в кнессете 10 мест и стал весьма влиятельной оппозицией.

Старик умел «доставать» своих противников, и Эшколь постоянно был во взвинченном состоянии. А тут еще Харэль, узнавший от своих людей в Мосаде кое-какие пикантности о деле Бен-Барки, явился к Эшколю со скандальным докладом, завершившимся гневной тирадой: «Мосад пошел на политическое убийство, совершенно ненужное Израилю, выступил, по сути, в роли наемника страны, являющейся неотъемлемой частью враждебного нам мира. Не говоря уже о попранных Амитом этических принципах, его действия могут иметь самые тяжелые последствия для нашего государства. Я считаю, что начальник Мосада, проявивший такую преступную безответственность, должен уйти. У Амита нет и не может быть никаких оправданий, кроме одного. И я спрашиваю вас, г-н премьер-министр: „Вы санкционировали эту операцию?“»

Харель ждал ответа. Эшколь смешался. Дела разведки его совершенно не интересовали, но он смутно помнил, как Амит пытался ему сообщить что-то связанное с Марокко, а он куда-то спешил и уже в дверях сказал начальнику Мосада: «Поступай, как считаешь нужным». Но кто же мог знать, что из всего этого получится?

И под пристальным взглядом Харэля Эшколь твердо сказал: «Мне ничего не было известно о деле Бен-Барки. Я прошу вас тщательно расследовать эту кошмарную историю и доложить мне о результатах».

Харэль такое расследование провел и вновь пришел к выводу, что Меир Амит обязан подать в отставку, а вместе с ним — и премьер-министр.

На помощь Эшколю поспешили все его партийные коллеги. Было ясно, что если общественность узнает о деле Бен-Барки, то карьера Эшколя закончится, а авторитету партии Мапай будет причинен непоправимый ущерб. Доклад Хареля был положен под сукно, причем от него категорически потребовали обо всем забыть, и как можно скорее. Конечно, лучше всего было бы отправить начальника Мосада в отставку. Но Бен-Гурион и его партия угрожали скандалом и правительственным кризисом в

случае снятия Амита. Эшколю пришлось опять уступить. Тогда в отставку подал измученный, негодующий Харель.

Меир Амит выиграл и эту войну. И слава Богу. При нем Мосад почти не знал неудач, не ведал поражений. Списку его достижений могла позавидовать любая разведка. Это Мосад организовал в 1966 году угон из Ирака советского истребителя «МИГ-21», считавшегося тогда лучшим в мире. Два года спустя агенты Мосада сумели заполучить чертежи французского истребителя «мираж», на основе которых был создан боевой самолет «кфир» — рабочая лошадка израильских ВВС. Еще через год израильская разведка осуществила операцию «Ноев ковчег», в результате которой из порта Шербур были угнаны французские ракетные катера, построенные специально по заказу Израиля. Катера удерживались Францией из-за наложенного президентом де Голлем эмбарго. За них было уже заплачено, так что в Мосаде никто не испытывал угрызений совести.

Подобных операций были десятки, но подлинный триумф израильской разведки приходится на Шестидневную войну. Благодаря разведке в израильском штабе знали о противнике абсолютно все: оперативные планы, дислокацию войск, местонахождение аэродромов, баз, складов и даже личные данные и психологические характеристики полевых командиров. К тому же Амит и Ярив довели до совершенства искусство дезинформации противника.

Король Хусейн, например, вступил в войну лишь потому, что получал депеши о боях в Синае не из Каира, как он думал, а из Тель-Авива. Радиопослания из Каира в Амман перехватывались и заменялись другими. Король, уверенный, что египтяне побеждают, поспешил к дележу добычи. Дальнейшее — известно.

Триумф Меира Амита был абсолютным. Но ему не простили былой близости к Бен-Гуриону и дела Бен-Барки, испортившего многим влиятельным лицам столько крови. Был проведен специальный закон, ограничивающий срок пребывания в должности начальника Мосада пятью годами, и в начале 1969 года Амит вынужден был уйти из разведки навсегда. Дальше начинается совсем другая история…

Нам же осталось, бросив прощальный взгляд на актеров этой драмы, рассказать о завершившем ее трагическом аккорде.

Король и его палач

Докладывая Хасану о ликвидации Бен-Барки, генерал Офкир был мрачен, угрюм. Заметивший это Хасан спросил удивленно:

— Ты разве не рад тому, что оказал мне большую услугу?

— Я солдат и предпочел бы служить Вашему величеству на поле брани, — ответил генерал.

— Именно это ты и делаешь, уничтожая моих врагов, — усмехнулся король.

Офкир склонил голову в знак покорности королевской воле.

Он был солдатом старой школы и привык слепо повиноваться приказам. Но что-то надломилось в его душе после убийства Бен-Барки. Он стал рассеянным, странным. Все реже посещал королевские пирушки, ссылаясь на занятость. Но обязанности свои исполнял по-прежнему безупречно. Король назначил его министром безопасности, и, после Хасана, он стал самым влиятельным человеком в государстве. Его ненавидели и боялись. «Королевский палач», — говорили за его спиной со страхом и презрением.

Экономическое положение страны тем временем становилось все хуже. Задавленный тяжелыми поборами, народ не раз пытался бунтовать, но толпы, заполнявшие улицы в безмерном возбуждении, рассеивались королевскими войсками. Недовольство зрело и в армии. Наконец министр обороны генерал Мадбух — старый боевой товарищ Офкира, сражавшийся вместе с ним под Дьенбьенфу, — сам возглавил военный заговор.

Участвовавшие в нем генералы и полковники отличались не только мужеством, но и легкомыслием. Им казалось, что достаточно бросить клич, чтобы его магическая сила воспламенила всё Марокко. Заговорщики ничего не сделали, чтобы обеспечить себе поддержку, и даже не подготовили надежного ударного отряда. А зачем? Они ведь не сражаться хотели, а взять власть. Они даже не намеревались казнить короля, считая достаточным отправить его куда-нибудь в ссылку.

Вечером 10 июля 1971 года две группы заговорщиков ворвались во дворец, где король устроил грандиозный банкет по случаю своего дня рождения. Одна группа хладнокровно расстреляла несколько десятков человек под вспышки огненных снопов фейерверка, вспарывавших небо. Вторая группа ворвалась в комнату на втором этаже, где король готовился к торжественному выходу. Хасан, одетый по-европейски, во фраке с белым галстуком и цветком в петлице, встретил заговорщиков с обезоруживающим спокойствием.

— Вы хотите убить повелителя правоверных? — спросил он кротко.

Растерявшийся командир отряда — молодой лейтенант — пробормотал почти с отчаянием:

— Нам приказано арестовать вас, Ваше величество, но теперь я понял, что мы не в состоянии этот приказ исполнить.

— Ваше имя и звание? — уже резко произнес король.

— Лейтенант Сидки Азиз.

— Полковник Сидки Азиз, я приказываю вам немедленно арестовать всех заговорщиков — врагов государства.

— Будет исполнено, Ваше величество.

И все закончилось. Мятеж был расколот и подавлен. Всех заговорщиков схватили и казнили после нечеловеческих мучений.

Мухаммед Офкир не принимал участия в заговоре, и звезда его засияла еще ярче. Король назначил его главнокомандующим, осыпал милостями. Офкир же стал еще угрюмей.

* * *

16 августа 1972 года король Хасан возвращался на своем личном «боинге» домой из отпуска во Франции. Королевский пилот Мухаммед Кабадж очень удивился, когда внезапно прямо перед ним возникли пять истребителей марокканских ВВС. Пилот знал, что не должно быть сейчас никакого эскорта. Прежде чем он осознал, что происходит, истребители прошили корпус королевского лайнера пулеметными очередями. Трое королевских слуг были убиты, но король не пострадал. Не потерявший присутствия духа пилот сообщил в диспетчерский пункт: «Король убит. Прошу немедленно прекратить огонь. Повторяю, король убит…» Через несколько секунд истребители растворились в синеве неба.

Каким-то чудом королевскому пилоту удалось благополучно посадить поврежденный лайнер. Встречавшие, увидев коренастую фигуру своего повелителя, молча опустились на колени.

Офкира среди них не было. Гвардейцев короля, пришедших его арестовать, он встретил с пистолетом в руке и был сражен автоматной очередью.

Узнав об этом, Хасан воскликнул в ярости: «Предатель ускользнул от меня». Немного успокоившись, добавил: «Но его семья, хвала Аллаху, осталась…»

Вдову Офкира Фатиму и шестерых его детей взяли той же ночью. Даже виллу своего бывшего министра король приказал сровнять с землей.

Месть этой семье выделяется в свитке королевских злодеяний жестокостью особого рода, в которой нет уже ничего человеческого.

Старший сын Офкира Рауф был очень похож на отца, и король велел изуродовать его лицо до неузнаваемости.

До 1974 года семья содержалась в изоляции в двух крохотных

подвальных комнатах где-то далеко на юге, в пустынной местности, но несчастные хоть были вместе.

Королевский гнев, однако, лишь крепчал с годами.

В 1977 году — спустя шесть лет после ареста — членов этой семьи разлучили — лишь младшему, восьмилетнему Абдалле Латифу, разрешено было остаться с матерью. Остальные были заточены в одиночных камерах с земляным полом, без окон, с ямой в углу, служащей парашей. Раз в день узники получали хлеб с водой и сардины. Это меню никогда не менялось. Раз в неделю в камеру врывались тюремщики и делали обыск, сопровождавшийся избиениями. Так продолжалось девять лет. Двое братьев сошли с ума. Мать Фатима перерезала себе жилы ножницами, но ее успели спасти.

Когда влиятельные люди — не марокканцы, конечно, — пытались добиться у короля смягчения участи страдальцев, Хасан говорил: «Я еще не простил Офкира…»

Лишь в 1984 году — после тринадцати лет заточения — король разрешил несколько улучшить условия их содержания.

В 1987 году Мелика Офкир и трое ее братьев сумели обмануть бдительность тюремщиков и бежали. Мелике было всего 18 лет, когда ее арестовали. Тогда она блистала на королевских балах, и отпрыски самых знатных марокканских семей добивались ее руки. Теперь это был обтянутый кожей скелет в лохмотьях.

Проскитавшись несколько дней без крова и пищи, Мелика и ее братья добрались до Танжера и постучались в дом, где проживали старинные отцовские друзья. Там их приютили, накормили, а потом позвонили в полицию и сказали: «Приезжайте и заберите их. Мы верные слуги Его величества и не укрываем государственных преступников». Несчастные вновь исчезли в той самой клоаке, откуда так ненадолго выбрались на свет божий.

История эта наделала много шума. Международные организации, влиятельные общественные и государственные деятели многих стран стали надоедать королю просьбами об освобождении достаточно уже настрадавшихся людей. «Я еще не простил Офкира», — неизменно отвечал король.

Хасан очень хотел, чтобы во Франции состоялась Неделя Марокко с ярмаркой, выставкой, рекламой марокканских товаров и грандиозным благотворительным вечером в Париже с участием самого короля и президента Франции. Французское правительство согласилось, но при условии, что семья Офкира будет освобождена. «Я еще не простил Офкира», — произнес король и отказался от заманчивой идеи.

* * *

Меир Амит по-настоящему чтит только один праздник — День независимости Израиля. Для Амита это не просто праздник, а ритуал. То же самое, что парад на Красной площади для старых большевиков. Каждый год в этот день на феерический пикник в большом саду его дома на улице Арлозоров в Рамат-Гане съезжаются гости со всей страны. Количество приглашенных всегда одно: тысяча человек. В эту когорту, ассоциирующуюся с «тысячей краснорубашечников» Гарибальди, входят только личные друзья хозяина. Большинство из них — люди красивые, хорошо устроенные, влиятельные. Костяк уходящего поколения, отстоявшего и построившего еврейское государство. Они собираются у Амита с чувством, что вот, мы все еще здесь и держим руку на пульсе жизни. Но редеют их ряды. Государство уже не с ними. Совсем скоро уже исчезнет этот элитарный закрытый клуб старой израильской аристократии духа и действия. Ну, а пока… В праздничную ночь не смолкает музыка у Меира Амита, в темноте мерцают красные всплески костров. Пожилые люди жарят на трепещущем пламени мясо и поют песни своей юности. А где-то высоко над их головами равнодушно сияют белые звезды…

На серебряном блюде

11 апреля 1965 года начальник Мосада Меир Амит приехал в Тель-Авив поздно вечером. Темнота уже хозяйничала в городе, отлично уживаясь с рассеянным светом немногочисленных фонарей. Охранник у входа в Министерство обороны узнал его и радостно улыбнулся. Когда-то Амит был его командиром.

Зрительная память не подводила начальника Мосада.

— Как дела, Арон? — спросил он, пожимая руку своему бывшему солдату,

Арон, конечно же, спросил, почему Амит ушел из армии и чем теперь занимается. Его часто об этом спрашивали.

— Бизнес, — пожал плечами Амит.

В марте 1963 года Давид Бен-Гурион назначил генерал-майора Меира Амита начальником Мосада. С тех пор читатели газет больше не встречали его имени. Люди напрасно ломали головы над тем, куда пропал один из самых перспективных генералов ЦАХАЛа, разработавший вместе с Моше Даяном план Синайской кампании.

Меир Амит исчез, словно его и не было никогда, превратился в человека-невидимку. Правда, в том же шестьдесят третьем году Бен-Гурион предложил ему вернуться в армию; обещал, что он станет преемником Ицхака Рабина на высшем командном посту. Амит отклонил лестное предложение, ибо был уже «на крючке» у Мосада и понимал, что эта организация создана как бы специально для него. Он любил Израиль и считал защиту еврейского государства высшим своим предназначением. Эта идея-фикс поглощала его целиком, как других поглощают честолюбивые помыслы или чувственные удовольствия. Это была высшая истина Меира Амита, полностью выражавшая его глубокую и простую человеческую сущность.

Он поднялся на третий этаж, где находился кабинет командующего ВВС Эзера Вейцмана — просторный, отделанный деревом, с модной мебелью. У Вейцмана была слабость к красивым вещам. Он ценил комфорт.

Амиту все нравилось в этом человеке — и изысканная утонченность, и язвительная острота, и узкое, как шпага, лицо, и даже его умение говорить с очаровательной любезностью неприятные вещи. Вместе с тем он не считал Вейцмана выше себя, ибо принадлежал к редкой породе людей, лишенных чувства зависти. Отчасти это объяснялось тем, что у Амита давно выработалось ощущение превосходства над другими людьми. Ему казалось, что он видит то, что от них сокрыто, и понимает суть

вещей лучше, чем они.

Вейцман же, наблюдавший Амита в ситуациях, когда выявляются скрытые ресурсы души, как-то сказал, что Меир — это живое доказательство безграничности человеческих возможностей. С точки зрения Вейцмана, мужественная решительность Амита, его основательность и трезвость мышления с лихвой компенсировали пробелы в образовании, объясняющиеся особенностями биографии кибуцника и профессионального военного.

Они не виделись около полугода, но встретились так, словно расстались вчера. Не спрашивая гостя, Вейцман приготовил две порции виски. Себе — с тоником. Амиту — в чистом виде.

Вейцман вспоминал какие-то истории, рассказывал анекдоты. Вдруг заговорил о своей охотничьей собаке, попавшей под машину. Парализованную, ее пришлось усыпить. Амит помнил черного пса с длинным телом и грустными глазами.

— Знаешь, Меир, он так верил в меня, так ждал от меня помощи. Он ведь не понимал, что умирает. В отличие от людей, животные — бессмертны, потому что им ничего не ведомо о смерти.

Меир Амит знал, что командующий ВВС пригласил начальника Мосада не для того, чтобы помянуть свою собаку. И терпеливо ждал.

— Послушай, Меир, — сказал Вейцман, — как ты думаешь, когда арабы начнут против нас тотальную войну?

— Ты меня спрашиваешь как начальника Мосада?

— Разумеется.

— Не раньше чем через два года.

— Значит, время еще есть.

Вейцман легко прошелся по кабинету и снова сел в кресло. Его тонкие пальцы чуть вздрагивали на полированной поверхности стола. Амиту почему-то опять вспомнились глаза погибшей собаки.

— Меир, — вновь заговорил Вейцман, и по изменившемуся тембру его голоса Амит почувствовал, что сейчас услышит то, ради чего и был вызван сюда в столь поздний час, — есть одна вещь, которую я хочу от тебя получить.

— Что именно?

— «МИГ-21».

Вейцман произнес это будничным тоном, словно попросил сигарету у старого приятеля.

— Это все? — Меир Амит засмеялся. — Ты, Эзер, шутишь, конечно. Ни в одном авиасалоне нам эту игрушку не продадут.

— Значит, надо украсть, — серьезно сказал Вейцман. — Как?

На то ты и начальник Мосада, чтобы знать — как. Не мне тебя учить. Но эта игрушка нам необходима. Русские утверждают, что «МИГ-21» — лучший в мире истребитель. Три года назад арабы шантажом вынудили Москву поставить им эти самолеты. Они угрожали, что в случае отказа последуют примеру Израиля и перейдут на французские «миражи». Сегодня, кроме Советского Союза, «МИГ-21» имеют только Египет, Ирак и Сирия. Ни нам, ни Соединенным Штатам, ни НАТО об этом самолете ничего не известно. Каковы его скорость, маневренность, электронное оборудование, боевые качества? Мы не знаем. Правда, наши ребята меня успокаивают. Они говорят, что изучат этот самолет в ходе воздушных боев. Но если мы получим «МИГ-21» уже сейчас, то представляешь, какие сюрпризы закатим арабам?

Вейцман говорил о русском истребителе со страстью. Меир вспомнил своего приятеля, знаменитого музыканта, который с таким же упоением описывал ему достоинства своей скрипки работы Страдивари, — и улыбнулся.

— Как ты хочешь, чтобы мы преподнесли тебе эту игрушку? На блюдечке? — спросил он.

— Не на блюдечке, а на серебряном блюде, — поправил Вейцман. — Не прибедняйся, Меир. Я знаю, что твои люди уже давно занимаются этой проблемой. Как обстоят дела?

— Пока никак, — пожал плечами Меир Амит. — Проделана огромная работа. Рассмотрены все варианты. На самом деле их не так уж много. Перехват самолета в воздухе — отпадает. Для этого нам пришлось бы вторгнуться в воздушное пространство арабской страны, что расценивалось бы как «casus belli». Единственный реальный шанс на успех — это подцепить на крючок какого-нибудь арабского пилота. Мы по крупицам собирали сведения о летчиках, пилотирующих эти «МИГи» в Египте, Ираке и Сирии. Моим людям эти ребята снятся по ночам. Их биографии они знают, как таблицу умножения… Все упирается в человеческую психологию. Беда в том, что мы склонны судить о людях, принимая за основу некие постоянные величины, каковых вообще не существует. Наши суждения чаще всего иллюзорны, ибо ограничены стереотипами. Ты задумывался над тем, почему в человеке так много противоречий? Да потому, что в нем заключены все истины, а истины, когда их много, противоречат друг другу. И не легко выделить самую нужную истину, которая в конечном итоге тоже может оказаться иллюзорной. Нужна какая-то зацепка, какое-то редкостное стечение обстоятельств. И чуть-чуть удачи.

Вейцман слушал внимательно, не перебивая, без обычной своей иронической усмешки на тонких губах.

— Но ведь прецедент уже был, — сказал он тихо.

— Ты имеешь в виду Аббаса Хилми?

— Ну, да. Кстати, как египтянам удалось его найти?

Амит нахмурился. Он не любил вспоминать эту историю.

Капитан Аббас Хилми был летчиком египетских ВВС, пилотировал «МИГ-21». Это был человек, сжигаемый страстями. Бледное лицо, блестящие глаза и алые губы напомнили Амиту легенды о вампирах, когда он впервые его увидел.

Холодное влечение к женщинам и острым ощущениям долго заполняло жизнь Аббаса Хилми почти целиком, и, возможно, она не сложилась бы столь трагически, если бы не странная тяга к справедливости, которой он не мог, да и не желал противиться. Он возненавидел Насера после того, как ему пришлось сжигать напалмом длиннобородых йеменских кочевников, примитивных детей пустыни, сохранивших верность своему королю и объявивших джихад египетским оккупантам.

Душевная небрежность Хилми, его безразличие к чужому мнению и обостренная чувственность симпатий у офицерской элиты не вызывали. А тут еще пошли слухи о его неблагонадежности. Один выговор за длинный язык. Затем второй. А потом Хилми резко пошел на понижение. Его сделали инструктором в летной школе, и летать он стал не на «МИГе», а на тренировочном «ЯКе».

На нем капитан Аббас Хилми и перелетел в начале 1964 года в Израиль. Это было одно из тех событий, которые никогда не проходят. Они не только меняют всю жизнь, но и сопровождают ее до последней черты.

Амит вспомнил, какое раздражение вызвал у него этот египтянин из-за того, что прилетел на стареньком «ЯКе», не представлявшем для Израиля никакого интереса. Тем не менее Амит позаботился о том, чтобы Хилми был принят с особой теплотой. Полученная информация о египетских ВВС оказалась бесценной для аналитиков Мосада. К тому же этот капитан публично осудил египетскую интервенцию в Йемене, а сотрудники арабского отдела израильского радиовещания сделали с ним несколько часовых передач, побивших по рейтингу все рекорды.

Помнил Амит и свои беседы с этим внешне спокойным немногословным человеком. Хилми скептически оценивал шансы Израиля на выживание во враждебном арабском окружении.

— Вы, — сказал он, — пренебрегаете своей многовековой уникальностью во имя фантазии и химеры и хотите укорениться на земле, которая вот уже две тысячи лет вам не принадлежит.

Упрямый гордый араб получил щедрую награду и хорошую

работу. Стал экспертом по арабским ВВС в одном из отделов Мосада. Но Хилми не хотел жить в еврейском государстве. Он решил переселиться в Аргентину и начать там новую жизнь. Мосад снабдил его документами, инструкциями и деньгами, дал адрес фирмы, где новому иммигранту предстояло работать.

Его путь к гибели начался с того, что он отправил открытку матери в Каир, перехваченную египетской контрразведкой. Дальнейшее было делом техники.

В Буэнос-Айресе Хилми затосковал, пристрастился к алкоголю. Он возненавидел поглотивший его огромный чужой город. Вечера проводил в баре под вывеской, пульсирующей алым светом. Шел однажды по темному кривому переулку и вдруг увидел алое мерцание.

Народу в баре было немного. Тихая музыка не раздражала. Похожий на робота бармен — араб из Кувейта — налил ему порцию виски. С тех пор он и зачастил сюда в нарушение полученных инструкций.

Однажды в этот бар случайно забрела красивая женщина, села на высокий табурет напротив бармена и заговорила с ним по-арабски. Выяснилось, что это египтянка, работающая по найму в одной из местных торговых фирм.

Поздно ночью она пригласила Хилми к себе. Уже в такси он почуял опасность, но не смог преодолеть странной инерции, не позволяющей людям останавливаться, когда принято важное, пусть даже заведомо неправильное решение. На квартире этой женщины и взяли Хилми агенты египетской разведки, оказавшиеся на сей раз на уровне поставленной задачи.

Через египетское посольство в деревянном ящике его переправили в Египет. Последний месяц жизни этого человека был страшен. Его пытали. Казнь его запечатлела видеокассета, которую прокручивали потом всем египетским летчикам.

— Он любил чувственные удовольствия и погиб из-за женщины, которая этого не стоила, — сказал Меир Амит. — А вообще-то ты, Эзер, прав. Командующему ВВС нужен «МИГ-21»? Значит, надо его достать. На то я и начальник Мосада.

* * *

Лениво накрапывал осенний дождик, был уже вечер, когда у здания израильского посольства в Париже остановился человек. Он несколько секунд помедлил, прежде чем нажал кнопку звонка у железных ворот. Огляделся — не следит ли кто за ним, — но улица была пустынной.

Ворота открылись.

— Сейчас приема нет, — сказал охранник, оглядывая его очень внимательными и очень спокойными глазами.

— У меня срочное дело к военному атташе, — сказал посетитель на плохом английском.

— Его нет. Приходите завтра утром.

— А кто есть? Завтра я не смогу прийти.

Охранник хотел захлопнуть ворота, но что-то в голосе назойливого посетителя его остановило.

— Сейчас здесь только второй секретарь посольства.

— Хорошо, проводите меня к нему.

Второй секретарь принял посетителя в своем кабинете, где стол, для солидности, был завален всякими бумагами. Несколько секунд помолчал, бесцеремонно рассматривая гостя. Предложил сесть, но тот остался стоять. Это был человек лет сорока пяти, с аккуратными усиками и темными глазами, в которых где-то глубоко затаилось выражение смутного беспокойства.

Посетитель сразу перешел к делу:

— Я — еврей из Ирака. Имени своего я вам не скажу, и вы меня никогда больше не увидите. К вам я пришел лишь потому, что меня просил об этом человек, которому я не мог отказать. Он велел передать, что если вы хотите заполучить «МИГ-21», то должны позвонить в Багдаде вот по этому номеру и попросить к телефону Юсуфа.

Посетитель положил на стол смятую бумажку. Секретарь посольства даже не взглянул на нее. Он вскинул на гостя повеселевшие глаза и сказал:

— Значит, «МИГ-21»? И для этого достаточно позвонить кому-то в Багдаде по телефону? Вы, наверно, и сами понимаете, что это несерьезно. Но, может быть, вы сообщите нам какую-то дополнительную информацию?

— Мне больше нечего сказать. Прощайте.

Гость кивнул и вышел, аккуратно прикрыв за собою дверь. Второй секретарь взял бумажку. На ней был записан лишь телефонный номер.

«Чепуха какая-то, — сказал он себе. — Очередная мистификация. Житья нет от этих психов. Такое насочиняют, а мы потом на проверку время и деньги тратим. С ног сбиваемся. „МИГ-21“ предлагает на блюдечке».

Он порвал бумажку и бросил в корзину. Позвонил жене и сказал, что они еще успеют в кино на последний сеанс. Посидел немного в своем вращающемся кресле. С наслаждением выкурил сигарету — третью за этот день. Потом встал и решительно направился к выходу.

Уже подходя к машине, замедлил шаг — и столь же решительно вернулся. Достал из корзины обрывки злополучной бумажки, склеил скотчем и стал писать докладную уполномоченному Мосада в посольстве.

* * *

Начав читать рапорт парижского сотрудника, Меир Амит почувствовал себя, как гончий пес, взявший наконец след. Он долго разглядывал склеенную скотчем бумажку. Цифры были выведены наискосок, неровно, по-видимому, торопливой рукой.

В тот же день начальник Мосада собрал у себя в кабинете своих людей. Их было немного, человек пять, но это были лучшие из лучших. Коротко изложив суть дела, Амит попросил каждого высказаться. Никто не торопился. Все знали, что их шеф готов в походе за этой игрушкой не одну пару башмаков износить. Тем не менее, оценка присутствующих была однозначной: ерунда все это, скорее всего, или, что еще хуже, попытка иракской контрразведки устроить Мосаду ловушку.

Слово взял начальник оперативного отдела Яаков Штерн, бывший офицер Пальмаха, сотрудник Мосада со дня его основания. Гибкость мышления в сочетании с энергией и находчивостью позволяла ему развязывать самые запутанные узлы неразрешимых, казалось бы, задач. Амит ценил его чрезвычайно.

— Мы, по всей вероятности, имеем дело с провокацией, — сказал он. — И все же проверить телефонный номер в Багдаде необходимо. История настолько неимоверная, что вполне может оказаться правдой. Задача в том, кому поручить проверку. Мы не можем рисковать агентурной сетью в Багдаде. Если этот мифический Юсуф работает на иракскую контрразведку, то тот, кто ему позвонит, окажется у нее в лапах, и пытки развяжут ему язык. Мы должны отправить в Багдад человека опытного, серьезного, уравновешенного, не имеющего к Мосаду никакого отношения, знающего арабский язык, не вызывающего подозрений. Если даже его возьмут, то он никого не выдаст, потому что ему некого будет выдавать. И еще одно. Поручая кому-то такое задание, мы просто обязаны предупредить, что оно связано со смертельной опасностью. Где взять такого человека?

— Есть у меня один парень. Думаю, он нам подойдет, — сказал Меир Амит.

Ему нелегко было произнести эти слова, ибо имелся в виду Амос Манцур, которого он знал с детства. Бывший парашютист,

офицер запаса, свободно владеющий шестью языками — в том числе и арабским, докторант Иерусалимского университета, сын его старинного товарища. Отец Амоса умер несколько лет назад, но Меир не забывал эту семью. Звонил. Бывал в гостях у Амоса и его матери. Ему очень не хотелось поручать парню такое задание, но он понимал, что лучшего кандидата не найти.

Амос Манцур, худощавый, пропорционально сложенный, появился в кабинете Меира Амита уже на следующий день. Узнав в чем дело, пришел в восторг.

— Это здорово, Меир, — сказал он, ероша волосы. — Помнишь, как я затащил тебя и папу на спектакль нашего школьного драмкружка? Ты еще сказал, что я, вероятно, стану актером, потому что у меня несомненный талант. Актером я так и не стал, но сыграть в твоем шоу могу, не сомневайся.

Меира Амита такой энтузиазм отнюдь не порадовал.

— Тебе предстоит сыграть в покер со смертью. Если, не дай Бог, все сорвется, то тебе никто не сможет помочь. У тебя не будет номеров телефонов, по которым ты мог бы позвонить. Не будет друзей, которые предоставили бы тебе убежище. Тебе не к кому будет взывать о помощи, не на что надеяться. И если я, зная это, все же посылаю тебя в Багдад, то лишь потому, что для Израиля на сегодняшний день «МИГ-21» ценнее твоей жизни. Но я прошу тебя хорошо подумать, прежде чем соглашаться на мое предложение.

— Оставь, Меир, — усмехнулся Амос. — Приглашая меня сюда, ты ведь отлично знал, что я соглашусь.

— Ну разумеется, — неохотно признал Меир Амит, хотя полной уверенности в этом у него не было. — И все же прикрытие у тебя будет, и вполне надежное. Ты поедешь в Багдад с британским паспортом, представителем солидной европейской фирмы, производящей уникальные приборы для дозировки лекарств. Даже американцы закупают эти приборы, но основная сфера деловых интересов фирмы находится в арабском мире. Так вот, если Юсуф провокатор и ты окажешься в их власти, то это предприятие придется ликвидировать, но в этом случае у меня будут более веские причины для расстройства.

Амос взглянул на него с признательностью.

— Да, но я ведь ни черта в этих делах не понимаю, и приборы, о которых ты говоришь, для меня, что для собаки компьютер. Как же я буду их рекламировать?

— Это как раз не проблема, — улыбнулся Амит, — наши специалисты за две недели так тебя натаскают, что ты обретешь новую профессию.

Они помолчали. Каждый думал о своем.

Амос Манцур повел плечом, гоня неприятные мысли.

— Меир, а что самое главное для разведчика?

По лбу Меира Амита, по щеке скользнула легкая тень и затерялась где-то в уголках глаз.

— Мой друг Аарон Ярив говорит, что разведка — это опиум и человек может превратиться в наркомана, если перестанет видеть лес из-за обилия деревьев. Хороший разведчик умеет фиксировать мельчайшие детали, не теряя из вида главной задачи. Очень важно для разведчика не только освоиться в чуждом мире, но и полюбить его, сохраняя при этом способность к абстрактному мышлению и к трезвой оценке ситуации. Хороший разведчик — это умение выживать в самых неблагоприятных обстоятельствах. И наконец, хороший разведчик — это раздвоение личности, что, как известно, болезнь, от которой нелегко потом избавиться…

Целый месяц ушел на детальную разработку «Операции 007» и психологическую подготовку Амоса. Меир Амит требовал уделять такой подготовке агентов особое внимание с тех пор, как два года назад произошла история, вошедшая в «анналы» Мосада.

Сложилось так, что нужно было послать в Бейрут надежного человека для выяснения обстоятельств одного запутанного дела. Ливан тогда был Швейцарией Ближнего Востока. Агентам Мосада гораздо легче работалось в Бейруте, чем в любой другой арабской столице.

После тщательного отбора остался только один кандидат, подходивший по всем статьям. Боевой офицер, энергичный, собранный, целеустремленный. Редчайшее воплощение положительных качеств. Он с легкостью прошел самые каверзные психотесты. Получая последние инструкции от Яакова Штерна, снисходительно улыбался. Мол, нашел, кого учить.

Прибыв в Бейрут, агент взял такси и отправился в отель, где для него был зарезервирован номер. Закрылся в нем и наотрез отказался выходить. Как позже выяснилось, чиновник в аэропорту слишком внимательно проверял его фальшивые документы, что и вызвало нервный шок. Присланный местным резидентом Мосада человек не смог вытащить его из отеля даже для того, чтобы отправить в Израиль. Никто не знал, что делать. Было ясно, что странное поведение этого туриста вскоре вызовет нежелательный ажиотаж и ситуация выйдет из-под контроля.

Пришлось Меиру Амиту обращаться за помощью к ЦРУ. Врач американского посольства в Бейруте усыпил агента, после чего тот был благополучно посажен на самолет и вернулся в Израиль — отнюдь не триумфатором.

Это потом Амит с улыбкой вспоминал об этой истории, а

тогда он был чрезвычайно далек от того, чтобы видеть ее юмористическую сторону.

* * *

Когда Амос Манцур оказался на территории багдадского аэропорта, электронное табло показывало пять часов вечера.

Он не помнил, как прошел таможенный контроль. Запомнились лишь твердые невыразительные глаза краснолицего мужчины с пышными усами, вертевшего в руках его паспорт. Он не помнил, как добрался до улицы Саадан в центре Багдада, где в добротном старом отеле для него был зарезервирован номер.

Взяв ключи, Амос остановился у расположенной в холле оранжереи, привлеченный терпким запахом экзотических растений. Корни их росли прямо из бугристых стволов и уходили в землю, переплетаясь, как паутина. Уже в номере, понимая, насколько важно не терять самоконтроля, он попытался разобраться в своих ощущениях. Легкость во всем теле, сухость во рту и состояние истерической приподнятости, похожее на эйфорию. Из зеркала на него смотрели чужие глаза с растерянным и, как ему показалось, жалким выражением. С ясностью, похожей на озарение, он понял, что больше не властен над собственной жизнью, увлекаемой куда-то внешней силой, и испугался подступающей болезни воли.

— Так не пойдет, — сказал он себе. Открыл настежь двери, распахнул окна, избавляясь от замкнутого пространства.

А ночью кошмаром навязался сон. В углу появилась черная собака, все увеличиваясь в размерах. Вдруг она махнула к нему на грудь и приблизила морду к его лицу. Прямо перед собой увидел Амос глаза зверя, но столько сочувствия и понимания светилось в них, что кошмар куда-то исчез, чтобы больше уже не появляться.

Следующие четыре дня Амос Манцур занимался работой коммивояжера и вошел во вкус. Он побывал в Министерстве здравоохранения, посетил аптеки и больницы. Ему удалось заключить несколько весьма выгодных для фирмы торговых сделок. Он отдалял, насколько мог, минуту, когда придется позвонить по телефону, номер которого навсегда запечатлелся в его мозгу. Но настал день, когда дальше тянуть было нельзя.

Чтобы обезопасить себя, Амос пригласил на ужин в ресторан чиновника Минздрава, человека простого и душевного, несложный внутренний мир которого не таил в себе никакой угрозы. Выбрав меню, Амос извинился, сказал, что ему необходимо срочно позвонить, и вышел. Ему казалось, что за ним

наблюдают сотни невидимых глаз. Вспотевшей рукой набрал номер.

— Алло, — произнес далекий голос.

— Это Юсуф?

— А кто его спрашивает?

Амос растерялся. Такого полученные им инструкции не предусматривали.

— Один знакомый, — вышел он из положения.

Пауза затянулась. Амос несколько раз глубоко вздохнул, стараясь успокоиться.

— Юсуф слушает, — услышал он другой, более низкий голос. И снова растерялся.

— Я приехал издалека, чтобы увидеться с вами, — произнес он слова, опять же не предусмотренные инструкцией.

— Вы тот человек, который встречался с моим другом?

— Ну, да, — обреченно признал Амос.

— Приходите завтра в двенадцать дня в кафе «Вавилон». Как я вас узнаю?

— Я буду в клетчатом пиджаке.

— Хорошо. До свиданья.

…Вернувшись в отель, Амос полночи просидел в тупом отчаянии. Он вел себя как мальчишка — и если это ловушка, то нет ему спасения. Это он, а не Юсуф должен был выбрать место и время контакта. Это он должен был спросить приметы Юсуфа. Тогда он, никому не бросаясь в глаза, прогуливался бы себе комфортно у места встречи и при первых признаках опасности мог бы незаметно исчезнуть. Теперь же ничего не переиграешь. Ему предстояло кроликом лезть прямо к удаву в пасть.

«Ох, и взгреет же меня Меир, если я выберусь из этой истории», — пробормотал он. Мысль о том, чтобы не явиться на встречу, даже не пришла ему в голову.

Кафе «Вавилон», расположенное в центре Багдада, — заведение роскошное, рассчитанное в основном на туристов. Там всегда людно. Амос ничем не выделялся среди посетителей, говоривших на всех языках. Он занял пустовавший боковой столик и стал ждать.

Ровно в двенадцать низкий голос за его спиной произнес: «Разрешите?» К столику подсел человек лет шестидесяти, в черном костюме и белоснежной рубашке, с маленькой шапочкой на голове, почти не прикрывавшей крепкого черепа с пушистыми белыми волосами. У него оказалось желтоватого цвета лицо и темные живые глаза.

Амос так долго ждал этой минуты, что сейчас смотрел на него с изумлением, как на материализовавшийся призрак.

— Спасибо, что вы нашли время мне позвонить, — сказал Юсуф таким тоном, словно для Амоса Манцура это было плевое дело, отнюдь не сопряженное со смертельным риском.

Амос уже пришел в себя и ощутил громадное облегчение, ибо почему-то решил, что этот человек не может иметь ничего общего с иракской контрразведкой. Вместе с тем он почувствовал к старику инстинктивное недоверие, ибо тот вполне мог оказаться аферистом или вымогателем.

Тщательно подбирая слова, он сказал:

— Мои друзья весьма заинтересованы в товаре, который вы предлагаете.

— Вы имеете в виду «МИГ-21»? — спокойно произнес Юсуф.

У Амоса мурашки прошли по коже. Он молча кивнул.

— Дело вполне может выгореть, но обойдется вам недешево, — продолжил Юсуф. — Впрочем, об этом мы побеседуем не здесь. Давайте завтра встретимся, пообедаем вместе, а потом прогуляемся по парку. Там и поговорим.

— Не скрою от вас, что мне лично все это кажется фантазией из арабских сказок, — произнес Амос обретшим твердость голосом. — И если вы меня не убедите в том, что ваше предложение реально, то я не смогу убедить в этом своих друзей.

— Мы все обсудим завтра, — улыбнулся Юсуф.

На следующий день Юсуф пригласил его в ресторан, расположенный в старинном дворце с мощенным мозаикой полом, со стенами, отделанными инкрустированным кедром, с расцвеченными лазурью окнами.

Амос смутно помнил, как шли они потом по улицам лениво ворочавшегося в послеполуденной дремоте города, как очутились на увитой плющом скамейке в отдаленном уголке большого парка, где было множество цветов такой правильной формы, что они казались вырезанными из жести.

— Здесь нам никто не помешает, — сказал Юсуф, — и я расскажу вам все, что вашим друзьям полезно знать.

* * *

Юсуф родился в Багдаде, в бедной еврейской семье. Ребенком его отдали в услужение в богатый дом христиан-маронитов, где позаботились о том, чтобы смышленого мальчика обучили грамоте. Родители Юсуфа вскоре умерли, и тогда дом, где он жил, стал его домом. Со временем все забыли, что он всего лишь

слуга. В нем рано проявилось сочетание философского склада ума с практической сметкой. Он был грустным скептиком, умевшим тем не менее находить рациональное начало в самых безумных завихрениях жизни. В деловой же сфере вполне мог считаться образцом удачливого коммерсанта, чрезвычайно расчетливого и изобретательного. Хозяйство, доходы, расходы, торговые операции — вообще все материальное благополучие дома зависело от него. Он был ангелом-хранителем этой семьи. К нему обращались за советом по всем проблемам, включая самые интимные. Его мнение считалось решающим на семейных советах. Нынешний глава клана вырос на его руках. Потом Юсуф с такой же заботливой нежностью вырастил его сына. Глубокие потрясения начинаются обычно с незначительных событий. Однажды глава семейного клана изъявил желание вложить крупную сумму в сомнительную коммерческую операцию. Юсуф был категорически против. Начался спор, оба разгорячились.

— Да кто ты такой? — бросил вдруг глава клана. — Человек без роду, без племени. Без нашей семьи ты ничто.

Юсуф, сразу ощутивший силу нанесенного ему удара, молча удалился в свою комнату. Через полчаса дверь отворилась и вошел глава семьи. Его лицо выражало сильнейшую боль, в глазах стояли слезы

— Я сделал подлость. Ради Бога, прости меня, — сказал он. По арабскому обычаю они обнялись и расцеловались.

«Он прав, — сказал себе Юсуф, обдумывая этот инцидент с обычной своей основательностью. — Я действительно без них ничто. Человек без роду, без племени. Но так не должно быть». Впервые за последние пятьдесят лет вспомнил он о своем происхождении. В Багдаде в те времена было уже мало евреев, но почти все они ютились вокруг единственной в городе синагоги. Душой этой маленькой общины был раввин, обучавший свою паству Божественному закону с рвением и добросовестностью. Двери его дома были открыты для всех желающих. Раскрылись они и для Юсуфа. Евреи быстро отдали должное его жизненной умудренности и практическому уму, и со временем он стал играть видную роль в жизни общины.

Об Израиле евреи говорили редко и всегда с опаской, ибо это было сопряжено со смертельным риском, но им легче было переносить тяготы жизни от одного лишь сознания, что где-то существует еврейское государство. Как-то рабби разъяснил ему, что возрождение Израиля — это награда Всевышнего избранному народу за то, что тот следовал постулатам данной ему веры, не смешивался с другими племенами и, несмотря на все перенесенные страдания, никогда не восставал против

неисповедимой воли Его. Конечно, не само государство награда, а приход Мессии, который скоро уже явит себя миру в Израиле, на Святой земле. Юсуф после этой беседы все чаще думал об Израиле, к которому ощутил сильную привязанность. И он нашел простой способ, как оказаться полезным и семье, и Израилю.

Единственный сын главы клана Мунир Редфа считался одним из лучших иракских пилотов и был заместителем командира эскадрильи новых «МИГов». От него и слышал Юсуф о необыкновенных качествах этого самолета и о том, что американцы и израильтяне выложили бы миллионы, чтобы его заполучить.

Тем временем положение маронитов в Ираке стало ухудшаться. Это сказалось и на материальном благополучии семьи, все больше походившей на утес, горделиво возвышающийся над морем, в то время как основание его уже размыто и он вот-вот рухнет. Однажды Мунир Редфа рассказал, что в Москву направлена большая группа пилотов осваивать «МИГ-21» и среди них нет ни одного маронита. «Не гарцевать мне на такой лошадке, когда они вернутся», — подытожил он с грустной усмешкой.

Проанализировав ситуацию, Юсуф решил, что сможет уговорить мальчика доставить русский самолет в Израиль в обмен на вывоз из Ирака всей семьи и такое вознаграждение, которое позволило бы ей существовать в безопасном месте на привычном материальном уровне. Он послал в Париж надежного человека и стал ждать в полной уверенности, что израильтяне откликнутся.

Выслушав эту историю, Амос почему-то отнесся к ней с полным доверием. Он только спросил, какую сумму Юсуф считает достаточной для реализации своего плана.

— Полмиллиона фунтов стерлингов. Думаю, что этого хватит для семьи. Для себя мне ничего не надо, — ответил Юсуф.

Амос Манцур и глазом не моргнул, услышав столь внушительную цифру. В конце концов, он свою задачу выполнил, а там пусть Меир решает.

— Я передам своим друзьям ваши условия, — сказал он. — С вами свяжутся.

* * *

Амос, конечно, не рассчитывал, что его встретят с цветами и шампанским, но все же немного расстроился оказанным ему приемом. Меир вообще куда-то исчез, а Яаков Штерн даже не стал

его ни о чем расспрашивать. Просто велел идти домой и не выходить оттуда, пока не напишет отчета о своей миссии, не упуская ни единой детали.

— Завтра в семь утра наш посыльный заберет твою работу, а в десять вечера мы с Меиром ждем тебя в его кабинете. Ну? Что же ты сидишь?

Когда Манцур был уже в дверях, Штерн его окликнул:

— Амос!

Он обернулся.

— А из тебя лет через пять может получиться неплохой разведчик, — сказал Штерн — и засмеялся.

В кабинете начальника Мосада в назначенный час Амоса ждали пять человек, из которых он знал только Меира и Яакова. Остальных ему не представили.

— Рад, что ты здесь, мой мальчик, — сказал Амит, крепко пожав его руку. — А сейчас расскажи нам то, о чем ты уже написал в своем отчете. Возможно, припомнится что-нибудь в спешке упущенное. Даже мельчайшие нюансы очень важны.

— И ты считаешь, что этот Юсуф заслуживает нашего доверия? — спросил широкоплечий человек в костюме, выглядевшем на нем, как с чужого плеча.

— На меня он произвел хорошее впечатление, думаю, что он искренен и правдив, — ответил Амос.

— Пока ты был там, мы здесь времени не теряли и кое-что выяснили, — вступил в беседу Яаков Штерн. — Твой Юсуф уже много лет является управляющим в маронитской семье. Тут все верно. И еврейская кровь течет в его жилах, хоть и разбавленная. Отец у него — еврей, принявший мусульманство. Мать — арабка. Он несколько раз посещал синагогу, но, по-видимому, лишь для того, чтобы связаться с евреями и использовать их в своих целях. Его внезапно обретенная привязанность к Израилю, разумеется, вздор. Хорошо еще, если мы имеем дело только с вымогателем. Нет у нас пока уверенности в том, что он не работает на иракскую разведку и не устраивает нам ловушку.

— Этого не может быть, — сказал ошеломленный Амос.

— Все может быть, — встал со своего кресла Меир Амит. — Но для нас главное, что иракский летчик, капитан Мунир Редфа действительно принадлежит к семейному клану, с которым связан Юсуф. Тут он не солгал. И какое нам дело до его истинных побуждений? Он предлагает позарез нужный нам товар за большие деньги. Мы рискуем потерять полмиллиона фунтов стерлингов. С другой стороны, никогда еще у нас не было столь реальных шансов заполучить эту игрушку. Я считаю, что при таком раскладе можно играть.

— Не только деньгами мы рискуем, Меир, — тихо сказал седой человек с моложавым лицом. — Не лучше ли не зарываться?

— Ну да… Если Юсуф — вражеский агент, то моя голова полетит сразу, — усмехнулся Меир Амит.

— Тебе решать, — произнес седой.

— Можно отозвать из Ирака наших агентов на время операции, — вмешался Яаков Штерн. — Но, Меир, этот Юсуф ведь действительно личность, не внушающая доверия. Разумеется, если ты решишь вести эту опасную игру до конца, то все мы отбросим скептицизм и будем зверски работать.

— Я уже решил, — сказал Амит. — Конечно, если мне позвонит начальник иракской контрразведки и скажет: «Коллега, а по каким соображениям ты лезешь в такую дешевую ловушку?» — то решение будет пересмотрено.

Все засмеялись. Меир Амит даже не улыбнулся.

— Но вы, конечно, правы, — нехотя признал он. — Юсуф и мне не очень нравится. Значит, нужно выйти на прямую связь с самим Редфой, после чего этого хитреца можно будет вывести из игры. Я буду курировать всю операцию, а тебе, Яаков, предстоит заниматься вопросами, связанными с ее оперативным планированием. Так что сохрани какую-то часть своего скептицизма. В разумной пропорции это вещь необходимая.

Тебе же, Амос, придется вновь отправиться в Багдад. Все инструкции получишь позднее. Ты должен будешь убедить своего иракского друга в том, что поездка Редфы в Европу совершенно необходима для успешного завершения сделки. И скажешь Юсуфу, что его условия мы принимаем.

* * *

На этот раз Юсуф привел гостя в небольшую харчевню на окраине Багдада. С удивлением почуял Амос хорошо ему знакомый запах еврейской кухни, который ни с чем не спутаешь. Хозяйка, пожилая дама, дружелюбно их встретила и пригласила в маленькую боковую комнату, где стоял всего лишь один стол, накрытый белоснежной скатертью.

— Хозяйка очень похожа на еврейку, — заметил Амос.

— Она и есть еврейка, — спокойно ответил Юсуф и продолжал, как бы не замечая изумления гостя: — Здесь нам никто не помешает. К тому же это единственное место в Багдаде, где можно получить обед, изготовленный по всем правилам еврейской кулинарии. Принадлежит это заведение превосходным

поварам и моим друзьям. Евреи здесь появляются редко, потому что боятся. Но и среди арабов есть немало ценителей еврейской кухни. Что вы скажете, например, о тушеной баранине с чесноком и хреном, с золотистой изюмной подливкой?

— Да, — сказал Амос неуверенным голосом, — но это место… не слишком ли оно на виду?

— Будьте спокойны, — усмехнулся Юсуф. — Никто не станет искать израильского шпиона в еврейском ресторанчике.

За обедом перешли к делам.

— Мои друзья принимают ваши условия, — произнес Амос. — Но знает ли уже капитан Редфа о вашем плане и сколько времени, по-вашему, потребуется для его осуществления?

— Глава семьи дал согласие, почти не раздумывая. Он понимает, что здесь у нас нет будущего. От прежнего нашего материального благополучия уже мало что осталось, и мой план — это единственный выход. Мунир же сначала пришел в ужас и впервые за всю свою жизнь повысил на меня голос. Когда успокоился, то признал, что в моем замысле есть рациональное зерно. Но он не желает работать на Израиль, ибо считает это предательством. Вот если бы можно было убедить мальчика в том, что российский самолет нужен не только Израилю, но и всему западному миру, то, думаю, это решило бы проблему.

— Вы могли бы уговорить вашего летчика отправиться на недельку в Европу — скажем, в Рим? Без этого наши дальнейшие контакты теряют всякий смысл. Надеюсь, вы это понимаете?

— Ничего нет проще, — сразу ответил Юсуф. — Жена мальчика страдает сильнейшими мигренями, иракские врачи ей помочь не могут, и начальство уже разрешило Муниру вывезти ее в Европу на лечение. В Рим так в Рим. Вам остается только определить срок. Но давайте еще раз обговорим условия. В прошлый раз мы лишь вскользь их коснулись.

В швейцарский банк на мое имя вы внесете чек в размере половины уже оговоренной суммы. Мунир привезет мне соответствующий документ. Остальное — после доставки товара. Что же касается семьи в составе двенадцати человек, то ее нужно вывезти в первую очередь, ибо Мунир не станет действовать, пока его близкие не будут в безопасности. И последнее — сущая мелочь. Надеюсь, ваши друзья не откажутся оплатить лечение Джамили, его жены?

Юсуф умолк, выжидающе глядя на Амоса.

«А он тот еще фрукт, — подумал Амос. — Яаков был прав. Своего не упустит». Вслух же сказал:

— Я не уполномочен решать такие вопросы. Думаю, что мои друзья отнесутся к вашим требованиям с пониманием. Но главное

сейчас — это поездка Редфы. Встреча моих друзей с ним высветлит ситуацию. С вами свяжутся. Ждите.

* * *

Кафе «Эльдорадо», расположенное в одном из центральных районов Рима, принадлежало итальянскому еврею, работавшему на Мосад. Днем обычно столики пустовали, но вечером сюда было трудно попасть без предварительного заказа. Кафе пользовалось успехом благодаря хорошей кухне и певице, которая в не очень строгом наряде переходила от столика к столику с микрофоном в руках, ловко парируя фривольные замечания посетителей. Пела она на четырех языках без малейшего акцента, и никто не мог определить ее национальности. Заинтересовавшемуся этим вопросом Меиру Амиту владелец заведения сообщил, что она русская.

Здесь 22 января 1966 года встретился Мунир Редфа с резидентом Мосада в Риме, подключенным Амитом к операции из-за респектабельной внешности и ласкового проникновенного голоса. Такие голоса бывают обычно либо у праведников, либо у отъявленных лжецов. Резидент не был ни тем, ни другим, но голос его зачаровывал почти мгновенно, вызывая у людей столь необходимое разведчику чувство доверия.

У иракского летчика оказались далекие глаза и властный тон человека, привыкшего, чтобы с ним считались.

— Не будем тратить дорогого времени, — сказал Редфа. — Я еще не принял окончательного решения. Как вы убедите меня в том, что выполните все условия, о которых с вами договорился Юсуф? И, самое важное, — вы не получите товара, пока моя семья не окажется в полной безопасности. Вы не знаете иракцев и не понимаете, чем я рискую. Это страшные люди.

— Мы все понимаем, — мягко произнес резидент. Его голос странно успокаивал. — Вы правы, капитан, и времени у нас в обрез. Слежки за вами не обнаружено. Вы спокойно можете — предупредив, разумеется, жену — исчезнуть из Рима на несколько дней и отправиться туда, где с вами встретятся люди очень высокого ранга. Они, я уверен, сумеют развеять ваши опасения.

Редфа быстро взглянул на него. Спросил удивленно:

— Вы предлагаете мне отправиться в Израиль?

Резидент улыбнулся:

— А почему бы и нет? Вы ничем не рискуете. Вашего отсутствия никто не заметит. И разве вам не хочется увидеть то место, где вам, возможно, придется пожить некоторое время? Что

же касается вашего решения, то оно целиком и полностью зависит от вас. Меня просили вам сообщить, что давить на вас никто не будет.

Это был хорошо рассчитанный ход ложного выбора, когда тот, кто подчиняется чужой воле, сохраняет ощущение, что он свободен в своих решениях.

— Что ж, — после короткого раздумья произнес Ред-фа, — я не привык отступать — ни в большом, ни в малом, и готов хоть в ад спуститься, чтобы довести дело до конца.

— У людей, которые вас там встретят, нет ни рогов, ни хвостов. Вы в этом сами убедитесь, — сказал резидент.

Меир Амит и Яаков Штерн наблюдали за этой встречей из отдельного кабинета на втором этаже. Амит остался доволен. Иракский летчик — высокий, широкоплечий, несколько тяжеловатый для пилота, с точными и четкими контурами лица — производил солидное впечатление.

— Ну, Яаков, — сказал начальник Мосада. — Может, моя интуиция ни хрена не стоит, но я готов ручаться, что этот парень нас не подведет.

На протяжении многих лет упорно муссировались слухи о том, что Редфа увел иракский «МИГ» лишь потому, что влюбился в красавицу американку, работавшую одновременно и на ЦРУ, и на Мосад, мимолетно возникшую в Багдаде специально для того, чтобы его обольстить. Прообраз Никиты из знаменитого телесериала. Она, дескать, пообещала отдаться ему в Риме, и он, как олень в брачный гон, рванул за ней — сначала в Италию, затем в Израиль.

А там — пошло-поехало.

Увы, романтика подобного рода отсутствует в этой истории. Мосад вообще пользуется женскими услугами гораздо реже, чем другие разведки. Объясняется это специфическим отношением ислама к женщине. Ни один уважающий себя араб не станет толковать с женщиной о делах. А раз это так, то зачем нужны Мосаду агенты слабого пола?

Лев Копелев пишет в своих воспоминаниях, что Анна Ахматова относилась к пророку Мухаммеду как к личному своему врагу. Может быть, только одного Дантеса ненавидела она больше.

«Магомет половину человечества засадил в тюрьму, — говорила Ахматова. — Мои прабабки, ногайские царевны, жеребцов диких объезживали, мужиков нагайками учили. А пришел ислам — и всех их позамыкали в гаремах, где они зачахли».

* * *

С 26 по 30 января Мунир Редфа был тайным гостем Израиля. Из аэропорта его повезли куда-то по улицам чужого города в чужой стране, воспринимавшейся в том мире, который он навсегда покидал, как квинтэссенция зла. Мелькание красных и зеленых огней на перекрестках лишь оттеняло неожиданно возникшее чувство непоправимой печали. Прошлого уже не было. Будущее еще не наступило. Сознание застыло на мертвой точке. Никогда еще он не находился так близко к бредовому затмению — и как раз в тот момент, когда больше всего нуждался в ясности мышления.

Редфе сказали, что его везут к важному израильскому генералу. Встретивший же его человек был похож скорее на рачительного хозяина преуспевающей фирмы. Спокойный, неторопливый, грубовато-доброжелательный, он сразу заговорил о том, что Редфу мучило больше всего:

— Капитан, ваш самолет необходим не только нам. Если вы его сюда доставите, то поможете человечеству защитить себя от угрозы тоталитарного рабства. В Израиле сейчас находится с визитом помощник американского государственного секретаря Джон Иглтон. По моей просьбе он завтра встретится с вами, чтобы поблагодарить вас от имени Соединенных Штатов за то, что вы собираетесь сделать. Вас воспринимают не как предателя, а как солдата свободного мира. Но решение вы должны принять уже сейчас. Если вы скажете «нет», то спокойно уедете отсюда и забудете о нашем существовании. Если же решение будет положительным, то начнем действовать. Время не ждет.

— Решение уже принято, — медленно произнес Редфа. — Но не скрою от вас, генерал, что мне страшно от непоправимых последствий того поступка, который я собираюсь совершить.

— Все человеческие поступки, в сущности, непоправимы, ибо создают новые реалии. Того же, что предначертано человеку, ничто изменить не может. Вы бы никогда не пришли к этой идее, если бы вам не суждено было ее осуществить. Что же касается денежного вознаграждения…

— Нет, нет, — с каким-то даже испугом перебил Редфа, — меня другое беспокоит…

— Я понимаю, — мягко произнес Амит, — судьба вашей семьи. Даю вам честное слово, что вся ваша семья будет вывезена в безопасное место в тот самый момент, когда пилотируемый вами самолет возьмет курс на Израиль. Эти две фазы операции лучше всего осуществлять одновременно во избежание нежелательных эксцессов.

Мунир Редфа почему-то сразу понял, что вполне может положиться на слово этого человека.

Он потом смутно помнил четыре до предела насыщенных дня, проведенных в Израиле. Стерлось из памяти, что говорил ему Иглтон — высокий представительный мужчина в роговых очках, в костюме модного покроя. Лучше запомнилась встреча с командующим ВВС Мордехаем Ходом, сменившем на этом посту Эзера Вейцмана, ставшего к тому времени начальником оперативного отдела генштаба.

Зато незабываемым оказалось посещение базы ВВС в Хацоре, где Редфа был потрясен изумительным профессионализмом технического персонала, работавшего по графику, уплотненному до невероятного предела.

Всего семь минут требовалось израильским кудесникам, чтобы подготовить вернувшийся из тренировочного полета самолет к новому вылету. У иракских механиков на это уходило свыше трех часов. Сам Мордехай Ход — единственный, введенный в курс дела, — показывал иракскому летчику свое «хозяйство» и охотно отвечал на его вопросы.

Редфа был и поражен, и тронут таким доверием.

И конечно же, специалисты Мосада отрабатывали с ним все детали предстоящей операции. Был разработан код, по которому Редфа мог отправлять в Европу шифрованные сообщения. Оттуда они сразу же должны были поступать на стол к Меиру Амиту.

Вновь и вновь выверялся маршрут из Ирака в Израиль. Основная проблема заключалась в том, что самолеты этого типа обслуживались исключительно советскими специалистами, заполнявшими — на всякий случай — баки с горючим лишь наполовину.

Точные расчеты показывали, что этого в обрез хватало для задуманного перелета.

— Это как раз меня мало волнует, — сказал Редфа Амиту. — Русских у нас никто не любит из-за их пренебрежительно-высокомерного отношения к арабам. Я найду способ обмануть их и вылететь с полным запасом горючего. Хуже то, что меня должны на время перевести в Киркук — командиром эскадрильи «МИГ-17». Вас это не очень устраивает. Верно?

Меир Амит побледнел, услышав эту новость, и Редфа поспешил его успокоить:

— Это действительно на время, пока не выздоровеет прежний командир, разбившийся на своем гоночном мотоцикле. Но он уже пошел на поправку, так что не расстраивайтесь по этому поводу, генерал.

Амит не забыл своего последнего разговора с Вейцманом и

решил, что настало время эффектного подведения итога. Он позвонил ему и пригласил на ужин в хорошо известный обоим ресторан в Яффо.

— Эзер, — сказал Амит, — я знаю, что ты очень занят. Но если ты не придешь сегодня в восемь вечера, то будешь жалеть потом всю оставшуюся жизнь.

Это был рыбный ресторан для гурманов. В холле посетители могли полюбоваться огромной витриной с омарами, лангустами и диковинными рыбами на украшенных водорослями блюдах со льдом. В зале на стенках висели картины израильских художников. Столики, утопавшие в цветах, здесь стояли не впритык, что создавало атмосферу уютной интимности.

Вейцман запаздывал, и Амит заказал устриц, рыбный суп, жареную форель с гарниром, белое вино. Редфа полностью положился на его вкус.

— Господи, — сказал появившийся Вейцман, одобрительно оглядывая сервировку стола, — ты даже не представляешь, Меир, как все это кстати. Но я, конечно, понимаю, что ты подготовил какой-то сюрприз.

И он с любопытством посмотрел на высокого человека с печальными глазами, вставшего ему навстречу.

— Эзер, — сказал Амит, — познакомься с нашим другом, капитаном иракских ВВС Муниром Редфой. Он пилотирует самолет, который тебя так интересует, и настолько любезен, что мы вскоре получим возможность ознакомиться с этой игрушкой поближе.

Вейцман так растерялся, что даже не сразу пожал протянутую Муниром руку. Может быть, впервые в жизни он, не терявшийся в любых ситуациях, не находил слов.

— Это неимоверно, — сказал он наконец. — Я, конечно, знал, что от Меира можно ожидать чего угодно. И все же… Я сейчас приду в себя… Хорошо?

Меир улыбнулся. Сюрприз удался на славу.

На следующий день Мунир Редфа вернулся в Италию, а оттуда — в Багдад.

Теперь нужно было получить санкцию главы правительства. Амит позвонил Леви Эшколю и попросил о встрече по очень важному делу.

— Ладно, Меир, — благодушно сказал премьер-министр, — приходи ко мне сегодня на обед.

Амита такая честь отнюдь не порадовала. У Эшколя был больной желудок, и его обед состоял из жидкой каши с бульоном. Это меню никогда не менялось. Покончив с бульоном, начальник

Мосада изложил суть дела. Эшколь некоторое время молчал, обдумывая услышанное и посмеиваясь по своему обыкновению.

— Ай-ай-ай, Меир, — сказал он наконец. — Ты заставляешь премьер-министра санкционировать кражу имущества у суверенного государства, члена ООН? Мне будет трудно простить тебя, но я очень постараюсь.

Зато в сильнейшее возбуждение пришел секретарь канцелярии премьера Яаков Герцог.

— Но какова будет советская реакция на угон «МИГа»? — с округлившимися глазами спросил он Амита.

— Думаю, Советский Союз не посмеет напасть на нас без объявления войны, — пожал плечами начальник Мосада.

* * *

17 февраля прилетела первая шифровка из Багдада: «Вскоре приеду вместе с пенициллином. Привет моим новым друзьям. Дома все здоровы. До свидания». 29 апреля — вторая шифровка: «Сумел добиться перевода в отделение внутренних болезней. В июле буду уже на месте. Пенициллин надеюсь доставить в том же месяце. Всем привет». И наконец, 17 июля поступает последнее сообщение от Мунира Редфы: «Я уже на месте. Занимаюсь проблемой пенициллина. Скоро вы его получите. В начале августа моя жена с детьми будет за границей, где передаст вам письмо. Всем привет». Стиль шифровок свидетельствовал об удивительном спокойствии иракского пилота. Меир Амит и его сотрудники этим похвастаться не могли и в нетерпении грызли ногти.

Получив третье сообщение Редфы, Амит сказал:

— Теперь остается позаботиться о том, чтобы наши асы его не сбили. А то ведь ухлопают за милую душу, и еще награждать их придется за хорошую работу.

По распоряжению Амита специалисты Мосада изготовили фальшивое письмо, якобы поступившее через американский канал от неизвестного арабского летчика. В нем этот летчик, решивший по причинам личного характера перелететь в Израиль на самолете «МИГ-21» в первой половине августа, очень просит, чтобы его встретили как гостя, а не как врага.

Письмо, написанное на фирменной голубой бумаге иракских ВВС, было датировано первым августа 1966 года. С этим документом ознакомили всех командиров патрульных эскадрилий, и ни один не усомнился в его подлинности.

Тем временем жена Редфы, Джамиля, с двумя детьми

прибыла в Париж, где сотрудники Мосада поселили их на заранее подготовленной квартире. Джамиля привезла письмо от мужа: «Товар поступит 12 или 15 августа. Ваш друг».

Одновременно агенты Мосада приступили к осуществлению операции по вывозу из Ирака всей семьи Мунира Редфы — девяти человек, включая Юсуфа. План был прост и потому надежен.

В Багдаде летом очень жарко. Состоятельные семьи имели обыкновение проводить время, когда солнце не проявляет никакого милосердия, в горных районах Курдистана. Восстание курдов ограничило такую возможность, но все же у подножия гор оставались еще спокойные места. Туда-то и отправилась на отдых маронитская семья.

Лидер курдских повстанцев Мустафа Барзани был слишком многим Израилю обязан, чтобы не выполнить такой пустяковой просьбы, как тайный вывоз за пределы Ирака какой-то семьи. И она была вывезена августовской ночью курдскими партизанами на выносливых низкорослых мулах в недоступную для иракцев зону, откуда два вертолета переправили всех в соседний Иран.

Произошло это, как и обещал Меир Амит Муниру Редфе, в тот самый день, когда пилотируемый им «МИГ» перелетел в Израиль.

* * *

15 августа 1966 года заместитель командира эскадрильи «МИГ-21» капитан Мунир Редфа отправился в патрульный полет. Баки с горючим были заполнены до отказа, как он и хотел. Он сам удивлялся своему спокойствию. О недавнем смятении не осталось даже смутной памяти. Он жил уже вне прошлого, которое с каждой минутой полета отдалялось от него на световые годы.

Самолет шел на высоте одиннадцати тысяч метров. Где-то далеко внизу остались облака, похожие на белый пушистый мех, сиявшие мертвым отраженным светом.

И вдруг кабина наполнилась дымом. Где-то произошло короткое замыкание. Редфа знал, что это несерьезно, что он вполне может продолжить полет, но после недолгого колебания развернул самолет и вскоре приземлился на своем аэродроме.

— Зачем ты это сделал? — спросил его потом Меир Амит.

— Я же обещал вам новый с иголочки «МИГ» и не хотел, чтобы вы получили его с изъяном, — последовал ответ.

Амит с изумлением понял, что иракский летчик не видит ничего особенного в своем поступке.

Дефект быстро устранили, и на следующий день капитан

Мунир Редфа вновь поднял в воздух свой самолет и взял курс на запад. На этот раз он прихватил с собой пухлый том, содержавший бесценные схемы и инструкции.

Ни иракские, ни иорданские радары не засекли затерявшуюся далеко в небе серебряную точку. В условленном квадрате, уже над Мертвым морем, «МИГ» встретили два израильских «миража» и присоединились к нему почетным эскортом.

Три самолета один за другим приземлились на базе израильских ВВС в Хацоре.

900 километров опасного пути остались позади.

Часы показывали 7 часов 55 минут утра 16 августа 1966 года.

Это была сенсация. «Едиот ахронот» и «Маарив» вышли в тот день дополнительными тиражами. Радиостанции мира на всех языках трубили про эту новость.

Лавровые венки достались начальнику генштаба Ицхаку Рабину, командующему ВВС Мордехаю Ходу, начальнику военной разведки Аарону Яриву. Нигде ни единым словом не упоминалось о причастности Мосада к этому делу.

Официальная версия гласила, что иракский летчик перелетел в Израиль по обстоятельствам личного характера, без всякого участия каких-либо внешних факторов.

Меир Амит и его штаб следили за этим «фестивалем» по радио. Слушая один из убедительных комментариев, Меир Амит сказал Амосу Манцуру:

— А может, мы с тобой, мой мальчик, действительно не имеем ко всему этому никакого отношения?

17 августа Мунир Редфа встречал свою жену и детей. Он пожелал остаться в форме иракского летчика и пошел им навстречу твердым шагом. Летный комбинезон и шлем в руках — вот и все, что еще связывало его с прошлым.

Иракский пилот и члены его семьи получили оговоренное вознаграждение и решили остаться в Израиле, ибо только в еврейском государстве могли чувствовать себя в безопасности.

Редфа много лет проработал летным инструктором.

Меир Амит часто вспоминал о нем, но никогда больше с ним не встречался. К чему?

У каждого своя жизнь и своя судьба.

* * *

Израильские специалисты набросились на вражеский самолет номер один, как волки на овцу. В течение нескольких суток он

был разобран полностью, вплоть до мельчайших деталей, и снова собран. Все его особенности скрупулезно изучались. Когда израильтяне удовлетворили свою «любознательность», за дело взялись американцы. Уже спустя месяц в израильских ВВС знали об этом самолете все.

Меньше чем через год после описанных событий началась Шестидневная война. Большинство вражеских самолетов были уничтожены в ангарах и на взлетных полосах. Египетские «МИГи», сумевшие все же взлететь, были сбиты в воздушных боях израильскими «миражами» с изумительной легкостью. Их выбивали, как уток в тире. Весь мир восхищался мастерством израильских летчиков, и лишь немногие знали, что не только в этом дело.

«МИГ-21» — великолепная боевая машина, но израильские специалисты нашли его «ахиллесову пяту». У русского истребителя не было электронной системы зажигания. Его зажигание базировалось на простом горючем, и даже легчайшее попадание в бензобак тут же превращало самолет в огненный шар. Хорошо натренированные израильские асы били прямо в «ахиллесову пяту», не оставляя египетским летчикам никаких шансов.

2 мая 1968 года, по случаю двадцатой годовщины независимости государства, в Иерусалиме был устроен большой военный парад. Заодно отмечалась и ослепительная победа в Шестидневной войне, вошедшая в анналы военного искусства.

Ровно в десять утра в небе над городом появился выкрашенный в красный цвет самолет. Полмиллиона зрителей приветствовали его.

Это был «МИГ-21».

Израильское правительство решило открыть парад этим самолетом…

Хроники памяти

АНАТОЛИЙ ЯКОБСОН ЮЛИЙ МАРГОЛИН ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ НАТАН АЛЬТЕРМАН

ХРОНИКИ ПАМЯТИ

Поэзия как форма жизни

К тому времени, когда меня с Йоной ненадолго связала странная дружба, о ней уже ходили легенды. Она успела все испытать, все изведать. И при всем том было в ней нечто такое, из-за чего вся скверна мира не могла запачкать ее.

Как-то я ей сказал:

— Ты живешь на пределе чувств, потому что твоя жизнь определяет твою поэзию.

— Ты ошибаешься, — последовал ответ. — Это поэзия определяет всю мою жизнь…

Тель-авивская богема семидесятых годов старалась подражать ей в стиле жизни. Йона же не следовала моде, а создавала ее.

Тема расколотости мира — стержень ее поэзии. Йона ведет непрерывный диалог со своим внутренним «я». Ее стихи с рваными краями, с ритмическими перебоями, с нарочито усложненной ассоциативностью тревожат душу. У стихов тоже есть душа, и это душа их автора.

Йона однажды вскользь упомянула о страхе, который она испытывает перед чистым листом бумаги. Многие писатели и поэты это понимают. Когда человек пишет прозу или стихи — он знает, что никаких оправданий быть не может. Для него это, прежде всего, личный экзамен. Выигрыш или проигрыш. Можно, конечно, тешить себя самообманом, но третьего не дано.

Йона же считала, что она всегда выигрывает. И была права. Потому что для Йоны ставкой в этой «игре в бисер» была ее жизнь, неотделимая от ее поэзии.

Проиграла она только один раз — но такому противнику, которому мы все проигрываем в конечном итоге. Рано или поздно.

* * *

Познакомились мы осенью 1965 года, вскоре после того, как я приехал в Иерусалим, отлично сознавая, что уже не покину этот город. Цепь случайностей, определяющих человеческую судьбу, сложилась для меня так, что мне некуда было возвращаться. У меня не было никаких иллюзий. Я был человеком свободным во всех смыслах, с какими-то смутными надеждами на что-то невыразимое.

Я еще не знал тогда, что большинство людей становятся пленниками собственной жизни после того, как окончательно

определяется их судьба, превращая существование в не всегда удобное сочетание монотонных привычек. Люди подчиняются им, как узник тюремному распорядку, и смиряются с крушением своих надежд, как смиряются с кончиной родных и близких.

Помню похожее на боль разочарование, охватившее меня, когда я впервые сошел с автобуса на иерусалимскую землю. Воздух густой, тяжелый. Низкие одноэтажные и двухэтажные облезлые домики на центральной улице Яффо, которым явно не придавали очарования покосившиеся ставни, покрытые грязно-бурой потрескавшейся краской. Было обидно оттого, что город оказался таким тусклым. Даже солнечный блеск не веселил душу.

Прошло немного времени — и я уже с удивлением вспоминал свое первое впечатление.

Медленно, неотвратимо попадаешь под очарование Иерусалима. Этот город не покоряет, а заколдовывает, и в какой-то момент начинаешь понимать, что он — единственно возможная реальность, что все, что ты когда-то знал и любил, осталось в ином измерении.

Многоэтажных домов в Иерусалиме тридцатипятилетней давности почти не было. Кнессет еще не имел тогда собственного здания, и избранники нации собирались в заурядном особняке на улице Кинг-Джордж. Их можно было увидеть в кафе «Атара», где они коротали время в перерывах между заседаниями.

«Атара» было излюбленным местом встреч ветеранов Пальмаха. Их беззаветные характеры, идеологический героизм и мечты о счастливом общественном устройстве остались невостребованными в Израиле шестидесятых годов. В кафе они просиживали часами, ругая перерожденцев — своих вчерашних товарищей, пристроившихся к государственному пирогу.

Однажды я видел, как из «Атары» вышли Даян с Вейцманом. Даян, находившийся тогда в оппозиции, что-то доказывал, взмахивая рукой. Вейцман, в ладно сидевшей на нем форме командующего ВВС, красивый, еще молодой, небрежно слушал с неизменной своей иронической улыбкой на тонких губах. Меня поразило, что никто не обращал на них внимания.

В кафе «Таамон», напротив старого кнессета, собирались левые радикалы из движения «Мацпен». По сравнению с ними члены нынешнего «Мереца» выглядят безобидными травоядными, резвящимися на государственной ниве. «Мацпен» выступал за превращение Израиля в палестинское государство с сохранением за евреями некоторых гражданских прав. Активисты «Мацпена», в основном студенты, остро жалели «угнетаемых» арабов, словно предчувствуя, что тех ожидает в Шестидневную войну.

«Таамон» существует и сегодня, но он давно уже превратился

в символ однополой любви. В этом кафе назначают друг другу свидания педерасты.

Времена меняются…

Самые же мои приятные воспоминания связаны с кафе «Ориент», находившимся на стыке улиц Кинг-Джордж и Гистадрут. Теперь там салон парфюмерной фирмы.

«Ориент» представлял собой огромный холл, разделенный деревянной перегородкой на два помещения. В первом находилась столовая, в вечерние и ночные часы превращавшаяся в бар. Прелесть «Ориента» заключалась еще и в том, что он работал круглосуточно. Днем там ели. Ночью пили. В столовой всегда можно было получить за вполне доступную цену горячую похлебку и сносное жаркое. Клиентами столовой были бедные студенты и деклассированные элементы, воспринимавшие хроническое свое безденежье как самое весомое доказательство несовершенства мироздания. Еще одной достопримечательностью «Ориента» считались филантропические наклонности его хозяина. На столы ставился нарезанный хлеб, и тот, у кого не было денег на обед, мог, взяв стакан чая, уминать его сколько душе угодно, стыдливо прикрывшись газетой.

Мне самому приходилось пользоваться газетой для этой цели. Хлеб был свежий и вкусный.

Во втором помещении играли в шахматы. Иногда на деньги.

Я там как-то заработал несколько лир, с трудом выиграв партию у толстяка апоплексического вида, хорошо чувствовавшего позицию, но совсем не сведущего в теории. Вечером мы с Йоной собирались в бар, и нужны были деньги.

В те времена духовная жизнь в Иерусалиме пульсировала в вечерние и ночные часы в многочисленных кафе и барах. У поэтов были свои любимые места, у художников — свои. Все они знали, где могут встретить друг друга. В барах вспыхивали дискуссии, читались стихи и даже ставились спектакли. Наркотиками тогда не злоупотребляли, но пили много. Чуть сладковатый запах дешевого алкоголя витал в каждом злачном месте. Рюмка «Экстра-файна» обостряла чувства и придавала сердечность даже политическим дискуссиям.

В одну из пятниц мы с Йоной начали пить в «Бахусе», похожем на глубокий красный колодец, продолжили в «Сарамелле», хозяином которой был легендарный грузин с репутацией не то героя, не то головореза, и закончили в «Ориенте» — уже под утро. Потом пошли в «Имку» — слушать, как величественно вздымаются и опадают звуки органа.

Вся эта жизнь клубилась в самом центре города, в пяти минутах ходьбы от границы. Живое тело Иерусалима было

разрезано колючей проволокой, разделено наспех сооруженной уродливой стеной и нейтральной полосой, где не давали забыть о разрушении и гибели остовы нескольких разбитых домов с пустыми глазницами.

Дальше шла зубчатая стена Старого города, ощетинившаяся пулеметными гнездами.

А за ней слепило глаза золотисто-лимонное сияние Храмовой горы с двумя назойливо-величественными мечетями, возвышающимися над нашей национальной святыней.

Нам казалось, что настоящий Иерусалим был там, куда нас не пускали. Еврейские кварталы ютились вокруг него, как бедные родственники…

Иногда без всякой видимой причины легионеры открывали пальбу. Пулеметные очереди бичом щелкали по улице Яффо, по еврейским домам, расположенным вдоль нейтральной полосы. Люди разбегались, прятались по подворотням, а когда стрельба обрывалась, как ни в чем не бывало шли по своим делам.

Но такое бывало редко. У маленького Израиля были острые зубы, и он знал, как себя защищать. В то время мы еще были страной фермеров и воинов, не ведавшей страха, не знавшей поражений.

Времена меняются.

* * *

Первую свою ночь в Иерусалиме я провел в университете, в каком-то клиновидном разломе между двумя скалистыми глыбами у здания библиотеки — и основательно продрог. Нужно было позаботиться о крыше над головой. Был у меня адрес дальних родственников, но идти к ним не хотелось. Оставив на потом свои заботы, я пошел в читальный зал, где можно было полистать журналы и свежие газеты.

Парень, сидевший напротив входа, читал польский эмигрантский журнал «Культура», интересовавший и меня.

Недостаток мест такого рода заключается в том, что в них нельзя курить, и вскоре мы оба оказались в холле, где я и познакомился с Янеком — светловолосым молодым человеком с надменным лицом и крупным, похожим на клюв, носом. Он приехал из Польши за два года до меня, повинуясь неожиданному внутреннему импульсу, и остался здесь, хоть и относился к Израилю с высоко-мерно-снисходительным равнодушием.

— Я не мог жить в абсурдном мире рабов, лакеев и растлителей душ, — обронил он как-то. — Лучше уж иметь дело с

евреями.

Но это была не вся правда. Что-то случилось с ним там, в Польше, резцом прошлось по душе, оборвало стремительную порывистость его натуры. Иногда на него накатывало. Светлые глаза становились совсем пустыми, он замирал, словно его отключало невидимое реле, но почти сразу же встряхивал головой и улыбался, как бы прося прощения за то, что отлучился по не терпящему отлагательства делу.

— В твоей жизни было что-то, о чем ты хотел бы забыть? — спросил я как-то за бутылкой. Он сказал, что человек может сколько угодно сожалеть о содеянном, но будущего, порожденного всего лишь одним неверным поступком, изменить нельзя. И больше никогда не говорил об этом.

Янек разбирался в философии и истории, был неплохим полемистом, любителем марочных вин и женщин. Я ценил его дар почти женской прозрачности восприятия, придававший беседам с ним оттенок странной непринужденности, похожей на легкое опьянение. Он изучал психологию и социологию, но дальше первого семестра не пошел, ибо не мог довести до конца ни одного дела, требующего продолжительной умственной сосредоточенности и известной последовательности усилий.

Потом между нами пробежала черная кошка, и, когда через несколько лет я встретил его все в том же университете, тень досады мелькнула по его лицу, и он отвернулся. У меня это не вызвало сожаления, потому что к тому времени он для меня как будто бы умер, хотя был жив-здоров и бродил где-то рядом.

В день же нашего знакомства он, узнав, что мне негде жить, усмехнулся: «Тебе повезло».

Выяснилось, что у него сумасшедший роман со студенткой, которой состоятельные родители купили двухкомнатную квартиру в Иерусалиме. Янек переехал к ней, но свою комнату в Нотр-Дам (он пояснил, что это нечто среднее между гостиницей и общежитием) на всякий случай оставил за собой.

— Ты можешь там жить до тех пор, пока Ирис не пошлет меня к такой-то матери, — предложил он, и я с радостью согласился. Когда через полгода Ирис послала его, как он и предполагал, — меня в Нотр-Дам уже не было.

В комнате Янека я прожил месяцев пять, отдав должное его хорошо подобранной польской библиотечке, где обнаружил Казанову и маркиза Де Сада, что позволило мне существенно пополнить свое образование — правда, всего лишь в одной специфической области. Гораздо существеннее, что я нашел на его тумбочке изданный в Париже томик израильских рассказов Марека Хласко. О нем я слышал от своих польских друзей в

Варшаве. О нем, пряча глаза, рассказывали мне девушки в кибуце Ган-Шмуэль, которых он щедро одаривал своей благосклонностью, пока его не выгнали за беспробудное пьянство и моральное разложение.

В Польше он был запрещен еще до своей вынужденной эмиграции, и в Нотр-Дам я прочитал его впервые.

Он сам тяготился своим жестоким талантом, всюду превращавшим его в прокаженного. Нигде не находилось лепрозория по его мерке. Он добровольно ушел на самое дно жизни, чтобы дышать запахом гнили, упадка, разложения. Он постиг и описал безмерность человеческого отчаяния, бессилие любви, тщетность надежды. Но, странное дело, его рассказы не оставляют ощущения безысходности.

Почему? Я не знаю. Таково уж свойство его дарования.

В Израиль он приехал в шестидесятые годы по приглашению газеты «Маарив». Ему обещали оплатить расходы на дорогу и гостиницу, посулили высокие гонорары за серию репортажей. В результате — обманули, не заплатили ни копейки. Несколько рассказов Хласко на израильскую тему «Маарив» все же напечатал, прежде чем выставил за дверь писателя-отщепенца.

И он застрял на несколько лет в Израиле — дервиш, лишенный родины и крова, обнищавший пропойца, до костей изглоданный тоской, которая хуже смерти.

Он написал об Израиле книгу рассказов, но у нас ее не любят, потому что в галерее созданных им образов нет сионистов-гуманистов. Его герои — бродяги, проститутки, опустившиеся, погибшие люди.

— Такого Израиля не существует, — говорили ему.

Разрешения на работу у него не было, и он умирал с голоду, пока наконец не устроился на стекольный завод под чужой фамилией, выдав себя за еврея.

А дальше произошло нечто, описанное самим Хласко в его автобиографической книге «Красивые, двадцатилетние».

И я позволю себе привести из этой книги небольшой отрывок, потому что, на мой взгляд, лучше этого польского изгоя об Израиле не написал никто:

> «Через несколько месяцев я нашел работу получше и пришел на завод, чтобы дружески со всеми попрощаться. К моему удивлению, один из бывших коллег отказался пожать мне руку.
>
> — Почему?
>
> — Потому что ты шейгец, а не Йорам Бухбиндер-Пресс.

— У тебя было полгода времени, — сказал я. — Почему ты не заявил в полицию?

— Потому что когда ты сюда пришел, я знал, что ты голодаешь и ищешь работу. Не подам я тебе руки, не жди. Будь проклят твой народ, и ты сам, и твоя земля.

Так себя ведут в Израиле евреи, которые две тысячи лет скитались по свету, которых били, мучили, унижали, прогнали через все тюрьмы и лагеря мира. Государство Израиль образовалось в тысяча девятьсот сорок восьмом году. Во время боев за Иерусалим солдат, нарушивших дисциплину, наказывали только одним способом: на какое-то время убирали с передовой, и это была самая страшная кара для еврея, который сотни лет служил объектом насмешек и издевательств. Евреи умели воевать и если подставлялись под пули, то лишь потому, что никогда не забывали, входя в дом, произносить: „Слушай, Израиль. Господь Бог наш — Господь единый, и земля у нас одна“. И они обрели свою землю, и, если Бог и милосердие действительно существуют, никогда ее не потеряют. Каждый истинно верующий человек должен носить на груди вместе с крестом звезду Давида, пока не будет уничтожен последний антисемит и пока его тело не обратится в прах, который со стыдом примет многострадальная земля».

Марек Хласко умер в 1969 году в Соединенных Штатах от передозировки наркотика, не дожив до тридцати пяти.

Йона, прочитавшая в «Маариве» один из его рассказов, сказала, что прозу следует писать именно так: с отрешенностью врача, составляющего историю болезни.

* * *

Оба города — еврейский и арабский — жили своей жизнью по обе стороны разделявшей их стены. Нотр-Дам — старый монастырь, построенный в середине девятнадцатого века для приема паломников, — корабельным бушпритом слегка выдвигаясь вперед, примыкал к разделявшему Иерусалим шву.

Война изменила облик Нотр-Дам. Левое его крыло было разрушено. О паломниках пришлось забыть, и семьдесят уцелевших келий превратились в дешевые гостиничные номера. Железная кровать, двустворчатый шкаф, умывальник, общий туалет в коридоре — все это вполне устраивало нашедших здесь

приют людей свободных, одиноких, временно или навсегда уставших от тягот жизни. У многих из них не осталось ничего, кроме дорогих воспоминаний, исчезающих обычно только вместе с человеком.

На крыше, у каменной статуи Девы Марии, скорбно глядящей в ту сторону, где когда-то вели на Голгофу ее сына, за бруствером из наполненных землей мешков сидели у ручных пулеметов наши солдаты, не обращая внимания на туристов, поднимавшихся сюда, чтобы полюбоваться восходящим солнцем, заливавшим Храмовую гору трепетным маревом.

Ветер доносил оттуда слабый запах пряностей, гортанные крики погонщиков мулов и отрывистые голоса легионеров.

А в час закатного великолепия в воздухе над Храмовой горой появлялось нежное мерцание, какого нет больше нигде на земле.

Память вспышкой магния способна озарить самые темные ниши в том укромном месте души, где хранятся наши воспоминания. И тогда вдруг наплывают из прошлого, вновь обретая реальные очертания, смутные, давно исчезнувшие тени. Существуют ли они где-нибудь еще, кроме моей памяти?

Прямо надо мной жила старая женщина, потерявшая в Катастрофе мужа и двоих детей, убитых на ее глазах. Спасительная пелена безумия позволяла ей хоть как-то существовать, но иногда по ночам оживало ее сердце, окаменевшее от тоски по утраченным детям. Вздымался вдруг пронизанный страданием вопль, бился о стены Нотр-Дам, вырывался наружу. Пару раз не понимавшие, в чем дело, легионеры открывали пальбу — потом привыкли.

На третьем этаже, в самом конце коридора, жила старая римская матрона, работавшая в больнице для прокаженных, — про нее говорили, что она двоюродная сестра Модильяни. Ее компаньон — рыжевато-бурый кот-дуэлянт с выцарапанным глазом — всюду сопровождал свою госпожу, почтительно отставая от нее на один шаг. Время от времени матрона исчезала куда-то, и Йона предложила однажды проникнуть в ее номер, чтобы полюбоваться рисунками знаменитого художника. Считалось, что она держит их в большом коричневом сундуке, занимавшем чуть ли не половину номера. Не помню уже, почему мы так и не осуществили эту идею.

Юная марокканка, сбежавшая из дому из-за деспотизма отца и занявшаяся проституцией, жила, как и я, на втором этаже. Круг ее клиентуры не отличался особым шиком — шоферы, грузчики, арабы, пожилые люди, искавшие запретных удовольствий.

Сталкиваясь в коридоре, мы даже не здоровались, но однажды я встретил ее в ночном баре, и она подсела к моему

столику, торопливо сказав: «Не угощай, не надо. Ты ведь бедный студент».

Выяснилось, что она мечтает прикопить денег, уехать туда, где ее никто не знает, и выйти замуж.

Потом ее кто-то позвал, и она ушла дразнящей походкой, слегка раскачиваясь, словно под ногами у нее была корабельная палуба.

На первом этаже жил неопределенного возраста нищий музыкант. У него были воспаленные глаза — по-видимому, от алкоголя и бессонницы, грязноватая щетина на щеках. Он ни с кем не разговаривал, ибо для таких людей слова теряют всякий смысл, как и все относящееся к покинутому ими миру. Его имущество состояло из скрипки в потертом футляре. Каждое утро в неизменном черном костюме, не утратившем очертаний, свойственных этому виду одежды, в чистой белой рубашке появлялся он на улице Бен-Иегуда, всегда на одном и том же месте, аккуратно ставил у ног шляпу, доставал скрипку и играл одну и ту же мелодию, по-видимому, собственного сочинения. Невыразимого страдания были полны извлекаемые им звуки. Ему щедро подавали, но однажды из подъезда выбежала молодая женщина и сказала:

— Вы играете под моими окнами. Больше я этого не могу вынести. Пожалуйста, уйдите куда-нибудь, или я покончу с собой.

— Хорошо, мадам, — ответил он и ушел, как всегда небритый и спокойный.

Напротив меня жил Азиз — араб из Галилеи, студент, как и я, посещавший лекции профессора Тальмона. Характер у него был ровный, общительный, и мне нравилось с ним беседовать.

Когда мне в руки попало старое русское издание Корана в переводе Саблукова, я спросил его:

— Азиз, как объяснить противоречия в вашей священной книге? Мухаммед, например, одновременно призывал и к священной войне против неверных, и к веротерпимости.

Он усмехнулся:

— Мухаммед был не только пророком, но и поэтом. Тебе этого не понять, потому что в переводах исчезают аромат и божественное свечение его слов. Несмотря на кажущиеся противоречия, Корану присуща внутренняя цельность. Что же касается твоего вопроса, то тут вообще нет никакого противоречия, ибо цель джихада заключается не в насильственном обращении неверных в ислам, а в том, чтобы заставить их покориться исламу.

В другой раз он сказал: «Вы никогда не укоренитесь здесь, если не отвернетесь от Запада и не научитесь понимать Восток.

Мудрость Востока — это фатализм и терпение. Мы умеем ждать».

Когда после Шестидневной войны я встретил Азиза в университетском кафетерии, он был угрюм и мрачен.

— Вы встали на путь экспансии — и погибнете, — предупредил он, прежде чем мы расстались навсегда.

Комната Йоны находилась на третьем этаже.

* * *

Было около двух часов ночи. Я лежал на кровати и лениво перелистывал Коран, тщетно пытаясь уловить то самое свечение слов, о котором мне толковал Азиз.

В дверь постучали.

— Открыто, — сказал я удивившись, ибо никого не ждал.

Вошла девушка, которой я никогда раньше не видел, и спросила:

— У тебя есть сигареты и кофе?

Уже не удивляясь, я заварил кофе, и мы, протрепавшись до рассветных часов, расстались, испытывая друг к другу особый род симпатии, основанный на почти интимном доверии, что крайне редко бывает даже после гораздо более продолжительного общения.

Йоне шел тогда двадцать первый год. Черные волосы свободно спадали на шею и плечи, прикрывая часть лица. Темные спокойные глаза хранили обманчивое выражение мечтательной наивности. Она не была красавицей, хотя временами казалась очень красивой, но ее жесты, слова, голос обладали непонятным очарованием, вдребезги разбивавшим любую предвзятость или антипатию. Возможно, это объяснялось тем, что даже мимолетный контакт с Йоной означал соприкосновение с притягательным миром высокого эмоционального и духовного накала.

Для меня же все встало на свои места уже в нашу первую встречу, когда Йона сказала, что пишет стихи — «лучше которых не бывает».

Я сразу понял, что судьба свела меня не с версификатором, усвоившим чужую тональность, чужую образность и непроизвольно выдающим их за свои, а с поэтом высшей пробы. Поэзия — это ведь не род занятий, а мироощущение. Йона была бы поэтом, даже если бы не написала ни единой строчки. Она принадлежала к тем немногим, кому дано выразить, запечатлеть, а затем и приобщить нас с вами к тому, что Мандельштам называл «шумом времени». Все мы живем во временных вихрях,

уносящих неизвестно куда. Вектор каждого из нас пересекается с осью мироздания. Но у поэта этот вектор находится под иным углом, что позволяет ему увидеть обыденные вещи в ином ракурсе и даже ощутить и запечатлеть нечто призрачное, неуловимое, скрытое от нас. Эта особенность часто является причиной отчуждения поэта от реалий повседневной жизни и заставляет его вырабатывать свое специфическое отношение к ним.

Йона понимала жизнь как гармоничное сочетание высокого и низменного. Высокое она воспринимала как данность — в этой сфере у нее не было никакой ущербности, — а низменное постигала эмпирическим путем.

— Запреты, — говорила она, — накладываются людьми из страха и лицемерия. Человек может и должен распоряжаться своей жизнью, как пожелает. Это его право.

Своим правом Йона пользовалась очень широко. Она погружалась в сомнамбулический мир алкоголя и наркотиков, участвовала в оргиях, крутила роман с лесбиянкой и даже побывала в сумасшедшем доме, хотя ее психическая неуравновешенность была всего лишь следствием остроты чувственного восприятия.

Говорят, что если женщина любит, то она не изменяет. Это неверно. Изменяет, не переставая при этом любить. Непреодолимая женская натура заставляет ее надкусить запретный плод, чтобы сразу выбросить его и вернуться в лоно добродетели как ни в чем не бывало.

Йона, надкусившая чуть ли не все запретные плоды, сумела тем не менее остаться сама собой, не претерпев ни малейшего ущерба.

А любила она по-настоящему только свои стихи.

Как-то забежав к ней на традиционную уже утреннюю чашку кофе, я застал ее в расстроенных чувствах.

— Знаешь, — сказала она, — ночью мне приснились стихи необычайной красоты. Проснувшись, я их забыла.

— Ты должна научиться писать во сне, — предложил я серьезно.

Вечером она потащила меня на прогулку в Меа-Шеарим.

В черных своих одеждах, как в доспехах, надежно ограждающих от скверны жизни, спешили куда-то евреи, не признающие еврейского государства, созданного руками безбожников.

Йона была в облегающих джинсах и пестрой кофточке. Некоторые из обитателей квартала бросали на нее взгляды, заставлявшие усомниться в их нравственности.

— Они воплощают наше благословенное и проклятое наследство, за которое приходится из поколения в поколение платить страданиями и кровью, — задумчиво сказала Йона.

— Но если бы не они, то, скорее всего, и нас бы сегодня не было, — заметил я.

— Ты имеешь в виду евреев?

— Именно.

— Не думаю, чтобы мир очень уж об этом сожалел, в особенности арабы, — засмеялась Йона.

— По-моему, не следует говорить такие вещи после Гитлера.

— Говорить можно все, — припечатала Йона этот диалог.

Потом мы были у нее. Нашлось полбутылки красного теплого вина, и она до рассвета читала мне стихи медленным своим, чуть хрипловатым голосом. Я, обалдевший от алкоголя и впечатлений, почти не улавливал их порывистой музыки, но знал, что они прекрасны.

* * *

Журналист Игаль Сарна написал о жизни Йоны Волах целую книгу, в которой проследил ее путь от пеленок до мучительной смерти. Фундаментальная эта биография, насыщенная фактами и деталями, еще долго будет вызывать вполне оправданный интерес. Дни своей героини Сарна расписывает чуть ли не по часам. Мы многое узнаем о ее поисках, метаниях, любовных увлечениях, пристрастиях и антипатиях, Мы видим Йону в быту и в сумасшедшем доме. Мы получаем представление о ее характере, темпераменте, личных и литературных делах. Но поэта, улавливающего «шум времени», всегда и при любых обстоятельствах чувствующего его ритмическую пульсацию, — в книге Сарны нет. Причина ясна. Сам он этого шума не чувствовал и даже не догадывался о его существовании.

Целые две главы в своей книге уделил Сарна пребыванию Йоны в Нотр-Дам. Пользуюсь случаем, чтобы исправить неточности его изложения, касающиеся меня лично. Сарна пишет, что я, добиваясь благосклонности Йоны, читал ей стихи Пастернака.

На самом деле было иначе.

Однажды Йона взяла меня с собой в гости к англоязычному поэту, жившему в экзотической мансарде в Эйн-Кереме. Я попытался увильнуть, ибо не любил появляться в незнакомых компаниях, где кто-нибудь обязательно спросит: «Неужели в Советском Союзе плохо относятся к евреям?»

Но одна из особенностей Йоны заключалась в том, что любая ее просьба исполнялась. Почему-то никому и в голову не приходило ответить ей отказом.

Вечер у поэта незаметно перешел в кутеж. Пили все тот же «Экстра-файн». Читали стихи. Кто-то бренчал на гитаре. У всех этих людей было то, чего не было у меня. Язык, корни, ощущение причастности ко всему, что нас окружало.

— А теперь послушаем русские стихи, — сказала вдруг Йона.

Делать было нечего. Я встал и прочел пастернаковское стихотворение из цикла «Разрыв». Полупьяные мальчики и девочки слушали музыку чужих слов с напряженным вниманием. Каким-то чутьем они поняли, что из всех прозвучавших здесь стихов эти — самые лучшие.

— Повтори последнюю строфу, — попросила Йона.

Я послушно прочитал:

Я не держу. Иди, благотвори.
Ступай к другим. Уже написан «Вертер».
А в наши дни и воздух пахнет смертью.
Открыть окно, что жилы отворить.

— Переведи!

Я попытался.

— Окно и жилы — какая точная ассоциация, — сказала Йона. — Ты говоришь, Пастернак? Я запомню.

Сарна пишет также, что однажды двое «русских» — Владимир и Алексис, как два самца, сцепились в коридоре за право войти в комнату к нежной девушке Йоне.

И это я оставляю на его совести.

Алексис был наивным мечтательным мальчиком из семьи выходцев из Бухареста. По какой-то прихоти Йона обратила на него мимолетное внимание, после чего ей не стало покоя. До того дошло, что она выносить не могла его по-собачьи преданных глаз. Когда же он предложил ей отправиться вместе с ним в Южный Вьетнам, чтобы сражаться на стороне Вьетконга, она послала его подальше. Однажды вечером, когда я был у Йоны, он ввалился пьяный, стал провоцировать ссору. Я вывел его в коридор, где он попытался меня ударить. Потом заплакал — горько, безутешно. Пришлось увести Алексиса в его номер и уложить спать. На следующий день он исчез из Нотр-Дам, и больше я его никогда не видел.

* * *

Вечерние прогулки Йоны по Иерусалиму почти всегда приводили ее в Тальбие, где на небольшом расстоянии друг от друга высятся каменные стены, отделяющие от мира жизни два островка скорби и страдания: дом умалишенных и лепрозорий. Свое пребывание в сумасшедшем доме Йона вспоминала почти с нежностью, расценивала как великолепное романтическое приключение. К обители же прокаженных относилась со страхом, в котором было, однако, нечто притягательное. Ей хотелось побывать и там, но так, чтобы не заразиться страшной болезнью.

— Это желание исчезло, как только я представила язвы и рубцы на своем теле, гнилой рот, вывороченные веки, потерю голоса и зрения. Нет уж! Моя готовность рисковать собой так далеко не простирается, — сказала Йона, когда мы впервые подошли к этому месту.

— В Средние века, — заметил я, — прокаженных вели в церковь, клали на катафалк, покрывали черным саваном, на грудь насыпали немного земли — в знак символических похорон — и лишь после этого отправляли в лепрозорий.

— Они и есть живые мертвецы, — подытожила Йона и, резко повернувшись, пошла прочь.

Больше на эту тему мы не говорили. Зато о своем пребывании в сумасшедшем доме она рассказывала много и охотно.

— Понимаешь, в какой-то момент я вдруг поняла, что у меня крыша поехала. Бессонница. Бред. Галлюцинации. Мания преследования. Сумеречное состояние души, — рассказывала Йона, щеголяя знанием психиатрической терминологии. — К тому же я хорошо чувствовала себя только в окружении психов. Все положительное, нормальное вызывало тошнотворное чувство. Соседи называли меня «психованной дочкой Эстер». И вот, получая освобождение от армии из-за душевного своего дискомфорта, я, неожиданно для себя, попросила направление в Тальбие, каковое и было мне выдано с неприличной даже поспешностью.

— Еще Платон изгнал поэтов из своего идеального государства, поскольку считал, что они склонны предаваться безумным и вредным фантазиям, — сказал я, и Йона, к тому времени Платона еще не одолевшая, его идею одобрила. Она тоже считала, что поэт не может быть полезным членом общества в общепринятом понимании.

В Тальбие Йону принял заведующий отделением доктор Марсель Ахшель — человек, так и не нашедший применения своим жизненным силам и тяготящийся их нестерпимой полнотой. Он считал, что взрыв безумия не уничтожает душу, а открывает перед ней новые перспективы, которыми люди пока не

научились пользоваться. «Творческий акт возможен лишь в состоянии разрушительного для устоявшейся структуры души экстаза», — говорил доктор Ахшель и предпочитал безумцев с творческим потенциалом душевно здоровым бездарностям.

Йона, очаровавшая его сразу и бесповоротно, восприняла это как должное, ибо и не такие крепости сдавались при одном ее появлении.

Два часа продолжалась их первая встреча. Ахшель жмурился от удовольствия, слушая обжигающие монологи своей новой пациентки. Он не прописал ей никаких лекарств, ибо совсем не желал подавлять ее способности к самовыражению.

Йона получила отдельную комнату с видом на стену Старого города, чтобы она могла спокойно писать и рисовать, а регулярные беседы с ней стали для скучающего доктора отрадой жизни. И еще одну привилегию, пожалуй самую ценную, предоставил своей гостье доктор Ахшель. Она могла уходить и возвращаться, когда пожелает. Доктор не хотел ущемлять ее свободу.

В сумасшедшем доме в Тальбие написала Йона большинство стихов, вошедших позднее в ее первую книгу «Дварим»[2]. Восторженно покачивая головой, подшивал доктор Ахшель все написанное привилегированной пациенткой к истории ее болезни.

Настал день, когда Йона сказала ему:

— Доктор, моя попытка сойти с ума не удалась, и я скоро уйду от вас.

— Не раньше, чем ты попробуешь вот это. — Доктор Ахшель раскрыл ладонь, на которой лежала голубоватая пилюля. Отвечая на вопросительный взгляд Йоны, пояснил: — Это новое лекарство, находящееся пока в экспериментальной стадии. Оно раскрепощает подсознание и позволяет заглянуть в его скрытые глубины. Для людей творческих — вещь неоценимая. Приняв это, ты останешься наедине со своей душой. И знай, что я здесь, в этом кабинете, в любую минуту приду к тебе на помощь в случае необходимости.

Это и было знаменитое ЛСД — пилюля счастья и экстаза, с которой психиатры того времени связывали так и не оправдавшиеся надежды. Доктор Ахшель не знал тогда, что снятие закрывающей подсознание печати не менее опасно, чем освобождение от заклятия железных сосудов, в которые царь Шломо заключил побежденных им демонов.

Иона взяла пилюлю и как-то очень буднично, как таблетку аспирина, проглотила ее.

— Теперь иди к себе, — ласково сказал доктор.

Сначала ничего не происходило. Постепенно начали сгущаться сверкающие красками тени, а за ними заклубился мрак, из которого угрожающе наплывали бесформенные фигуры.

Но тут тихо зазвучала музыка, полная неземного ликования, и они исчезли в расширяющемся пространстве, где, переливаясь всеми цветами радуги, неслись в космический беспредел пульсирующие влажные шары.

Йона вбежала в комнату доктора, распахнула окно — и заплакала.

— Почему ты плачешь? — услышала она далекий голос.

— Потому что это прекрасно.

И вдруг перед собой увидела она гильотину в багровых тонах, от которой отделились и заскользили прямо к ней кривляющиеся тени. Йона побежала в ванную, чтобы спрятаться, открыла зачем-то кран — и испугалась, когда из него потекла кровь.

Она поспешно вернулась в свою комнату, легла на кровать и закрыла глаза. И услышала безумный рев, несшийся из каких-то неведомых адских глубин. С надрывным исступлением зазвучала гигантская труба, и медленным маршем прошли в никуда шеренги одетых в хаки мертвецов, среди которых промелькнуло лицо ее отца Михаэля.

Она не знала, сколько времени это продолжалось. Доктор Ахшель записал потом все, что она видела и слышала.

Уходя из обители скорби, Йона выпросила у доктора Ахшеля несколько «волшебных» пилюль.

* * *

— Я рассказала тебе все это с корыстной целью, — заметила Йона улыбаясь. — Дело в том, что ЛСД — вещь опасная. В какой-то момент мне показалось, что у меня выросли крылья, и я выбросилась бы из окна, если бы доктор Ахшель не удержал меня. Вот я и хочу, чтобы ты присутствовал при следующем моем эксперименте.

Мне оставалось лишь сказать, что я полностью в ее распоряжении.

Второе погружение в бездны подсознания Йона осуществила в той самой мансарде в Эйн-Кереме, вместе со своей подругой из сумасшедшего дома, крашеной блондинкой бальзаковского возраста. Несколько лет назад имя этой женщины, отравившей жену своего любовника, известного израильского поэта, знала вся страна. Яд, который она подсыпала в тарелку соперницы, был какого-то особого свойства, ибо, несмотря на все усилия, врачи

так и не смогли спасти несчастную от мучительной смерти. Факт этот, несомненно, повлиял на судей, приговоривших отравительницу к пожизненному тюремному заключению. Доктор Ахшель добился, однако, перевода этой дамы в свое заведение, где она пользовалась почти такими же привилегиями, как Йона.

Эта женщина с застывшим в глазах выражением легкого презрения, что вообще казалось необъяснимым, вызывала томительное раздражение и беспокойство. Йоне, ценившей в людях способность радикально решать свои проблемы, она импонировала.

Сам же эксперимент не произвел на меня особого впечатления — вероятно, потому, что я воспринимал происходящее лишь зрительно, не имея возможности ни понять, ни осмыслить внутренние переживания его участников. Просто стоял у окна в позе статуи командора и наблюдал.

Йона в какой-то момент бросилась что-то судорожно писать, а блондинка два часа просидела на диване в полной неподвижности с полузакрытыми глазами. На лбу у нее выступили крупные капли пота.

Когда все закончилось, Йона сказала:

— Все. Больше я к этой пакости не прикоснусь. К чему тиранить душу и без того больную?

К мыслям о смерти Йона возвращалась неоднократно. Связано это, по-видимому, было с ее отцом Михаэлем, погибшим в Войну за независимость, когда ей едва исполнилось четыре года. Она его помнила и очень любила.

В памяти возникают обрывки долгого нашего разговора.

Йона говорила, что смерть ждет появления каждой жизни, как свою законную добычу, и готова ждать хоть тысячу лет, ибо у нее в запасе вечность, а у человека нет ничего, кроме иллюзий. Если ее отец перешел грань, отделяющую жизнь от смерти, то и она сможет.

— Есть у меня какое-то предназначение в этом мире. Вот выполню его — и умру, — упрямо повторяла Йона.

Вместе с тем ощущение безграничных возможностей жизни редко покидало ее.

Однажды ей приснилось, что стоит она на высокой горе, покрытой цветами удивительной красоты, и составляет из них венки и букеты. Чудесный луг при этом ничуть не меняется, потому что на месте сорванных цветов тут же вырастают новые.

* * *

Отчуждение наше началось после появления в ее жизни Тадеуша — франтоватого студента. Этот «злой мальчик» со вкусом одевался, полировал ногти, носил роговые очки — для солидности — и туфли на толстой подошве, чтобы казаться повыше.

Он считал себя анархистом, презирал Израиль, восхищался Гитлером и называл евреев проказой человечества и квинтэссенцией зла. Познакомились мы в университете, где вместе посещали лекции профессора Тальмона.

Тадеуш был начитан, красноречив и любил выдавать себя за крутого малого, несмотря на женственную мягкость характера. У меня он вызывал холодное любопытство, ибо до него я не встречал человека с начисто атрофированной нравственной нервной системой. Он был убежден, что бескорыстного добра вообще не бывает, что и у добрых, и у злых поступков один источник — честолюбие и удовольствие.

Способности у Тадеуша были, но фатальная легковесность и безволие обрекали на провал все его начинания.

Родители Тадеуша прибыли из Варшавы в Палестину в тридцатые годы, чтобы совместно с братьями-арабами участвовать в созидании социально справедливого общества.

Тадеуш родился в Тель-Авиве сразу после войны. Когда ребенку не исполнилось еще и двух лет, родители, разочаровавшись в сионистском рабочем движении, вернулись в Польшу, где с энтузиазмом включились в строительство социализма сталинского толка. В 1959 году их, как и многих других коммунистов-евреев, вынудили уехать из гомулковской Польши, и они вновь очутились в Тель-Авиве.

Получилось так, что Тадеуш вырос между двумя мирами, не укоренившись ни в одном из них.

В школе он увлекался музыкой, подавал надежды, но и музыку бросил, ибо не мог заниматься делом, требующим постоянных усилий.

Зато своим длинным, тонким, чувствительным пальцам Тадеуш применение нашел.

— Как анархист, я не признаю частной собственности, — говорил он и с гордостью называл себя экспроприатором. На практике это выражалось в том, что Тадеуш виртуозно чистил чужие карманы и не брезговал квартирными кражами, которые совершал при помощи особого рода отмычек.

В довершение всего у этого человека была своеобразная манера самоутверждения. Демонстрируя свою «крутость», он любил бить людей по лицу и проделывал это обычно в присутствии знакомых девочек — на улице или в магазине, без

всякого повода, мгновенно взвинтив себя до нужного состояния. Жертвами его становились люди кроткие, интеллигентного вида, из тех, что не дают сдачи, а ящерицей ускользают от обидчиков. Таких Тадеуш чувствовал безошибочно. Правда, однажды произошел прокол, и ему вломили так, что он три дня нигде не появлялся из-за распухшей физиономии.

Йона в своей погоне за экстравагантностью неизбежно должна была прийти к пустоте. Уже одно это имя — Тадеуш — очаровало ее. Она видела в нем человека, не вписывающегося в окружающую среду и имеющего поэтому право жить по своим собственным законам.

Тадеуш переселился к ней, и наши утренние рандеву за чашкой кофе прекратились. Ей тогда никто не был нужен, кроме него. Встретив меня как-то в коридоре, Йона сообщила, что они скоро поженятся. Мне в это трудно было поверить.

— Думаю, что теперь ты действительно сошла с ума, — сказал я.

Тадеуш, забежавший однажды ко мне за сигаретами, долго говорил о том, как прекрасно они заживут после свадьбы. Его родители купят им дом на лоне природы, где они вместе скоротают жизнь, занимаясь искусством и любовью. Парень выглядел ошалевшим от счастья.

А через несколько дней вечером зашла Йона.

— Никакой свадьбы не будет, — сказала она.

— Почему?

— Потому что это не для меня. Я не могу связывать себя, жить с кем-то, заботиться о чужой жизни. Я должна писать. Моя прежняя манера себя исчерпала. Я могу и должна писать лучше и иначе. А с ним я вообще ничего не пишу.

И она, усмехнувшись, добавила:

— Знаешь, какова его самая задушевная мечта? Стать сенатором и разъезжать в черном «кадиллаке».

Я понял, насколько эфемерно счастье Тадеуша, и мне стало его жалко.

Йону же он раздражал все больше и больше, и она уже открыто называла его мелким жуликом с психологией банковского клерка. К тому же Йона обнаружила, что он роется в ее личных вещах и крадет из ее архива письма и стихи. Произошло то, что должно было произойти.

Йона порвала с Тадеушем, когда до их свадьбы оставались считанные дни, и уехала в Тель-Авив.

Нотр-дамский период в ее жизни кончился.

Тадеуш искал утешения в вине, упивался своим несчастьем. Каждый вечер его можно было встретить в баре.

Однажды в «Сарамелле» к его столику подсел Дан Шомрон, приятель Йоны, с каким-то американцем, путешествующим для собственного удовольствия.

Утешая Тадеуша, много пили, покуривали травку. Уже под утро, когда вся компания была в известном состоянии, Тадеуш потребовал, чтобы его немедленно отвезли в Тель-Авив.

— Я только посмотрю на ее окна, и мы тут же вернемся, — умолял он. Шомрон, добрая душа, согласился, и они отправились на его стареньком «шевроле».

Дан вел машину, Тадеуш сидел рядом, а американец спал на заднем сиденье. На полпути к Тель-Авиву задремавший Дан потерял контроль над управлением. «Шевроле» занесло, и в него врезался шедший сзади черный «кадиллак» похоронной компании «Хевра кадиша». Водитель «кадиллака» вез покойника из Иерусалима в Бат-Ям и почему-то очень спешил.

Вышло, как в песне: «Все, и шофер, получили увечья, только который в гробу — ничего». Даже еще хуже. Американец погиб на месте. Дан врезался хмельной головой в ветровое стекло — и получил травму черепа.

Лицо его настолько исполосовало осколками, что даже пластическая хирургия не очень помогла. Тадеуш отделался выбитыми зубами и легким испугом.

Когда Йоне сообщили, что Тадеуш попал в аварию, она засмеялась: «С ним ничего не может случиться».

Навестив в иерусалимской больнице Дана, Йона не поинтересовалась, что с Тадеушем и где он находится. Для нее этот человек уже превратился в ничто.

Тадеуш, проживший потом ничем не примечательную жизнь, даже имени Йоны не мог слышать без скрежета зубовного. Но, узнав о ее смерти, — заплакал.

…В 1966 году вышел первый сборник Йоны, и я был поражен зрелостью ее мастерства. Мерцающий мир гротеска и фантасмагории, не имеющий ничего общего с реалиями окружающей жизни. Чувственная мощь и чувствительность, борьба хаоса и гармонии, трепет обнаженных нервов, нежность и грубая эротика, легкие переходы от житейской низменности в заоблачные эмпиреи. И наконец, сквозная тема безысходности бытия.

Встречаться к тому времени мы уже перестали. У нее была своя жизнь. У меня — своя.

* * *

Прошло девять лет. Не помню уже, с какой целью, оказался я вблизи торгового центра на улице Дизенгоф в Тель-Авиве, задумавшись, брел куда-то. И вдруг услышал: «Володья!»

Она всегда мягко произносила мое имя, и мне не нужно было оборачиваться, чтобы узнать, кому принадлежит этот голос.

— Йона!

С ней был загорелый мужчина средних лет, с тревожным, как мне показалось, выражением глаз. Йона что-то ему сказала, и он ушел, не оборачиваясь.

И вот мы опять в кафе, как девять лет назад. Она мало изменилась, хотя черты лица немного отяжелели. Я попытался выразить свое восхищение по поводу ее первого сборника, но она поморщилась:

— Ах, оставь! Моя вторая книга «Шней ганим»[3] намного лучше. А вообще-то в моей жизни было все, и, по сути, не было ничего. Все ушло в слова… в слова. А слова — после того, как они написаны, — тоже уходят. Я к ним равнодушна. Вот ничего и не остается.

Детали этой последней нашей встречи стерлись из моей памяти. Помню только, что Йона не очень охотно рассказывала о себе. По моей просьбе прочла несколько последних своих стихотворений. На прощанье сказала:

— Ты все так же много читаешь? Бросай это занятие. Не читать надо, а писать.

Больше мы не виделись.

Йона умерла от рака на сорок первом году жизни, после долгих мучений. Страдания не привели ее к вере в Бога. Она верила в свои личные, лишь ей принадлежащие ад и рай, но эта вера не имела отношения ни к одной из существующих религий.

Многие считают, что после смерти Натана Альтермана именно Йона заняла вакантное место первого поэта. Предпосылки для столь максималистской оценки имеются. Йона возглавляла авангардистское направление «Молодая поэзия», отрицавшее Альтермана и его школу с тем же пылом, с каким в тридцатые годы Шленский и Альтерман ниспровергали Бялика и его последователей. Известно ведь, что в искусстве изначально заложена тяга к обновлению.

Казалось бы, что общего у Йоны Волах с Натаном Альтерманом, ставшим классиком еще при жизни, отличавшимся утонченностью стиля и — при всем богатстве его поэтической палитры — не выходившим за рамки классических канонов?

Но когда я спросил Йону, кого она считает первым поэтом Израиля, она, не задумываясь, назвала Альтермана. И пояснила:

— Для него поэзия — это форма жизни.

Тогда я не понял, что она имела в виду.
Теперь — понимаю.

Страсти по Альтерману

Жизнь Альтермана — одна из самых простых, что даются в удел человеку. И если мы расставим биографические вехи, то увидим, как мало они нам говорят. Ибо факты биографии Альтермана — это всего лишь роговая оболочка, забор, надежно ограждающий его внутренний мир от нескромных взоров.

Важно не то, что происходило с ним в жизни, — значительно его внутреннее «Я», увидеть и почувствовать которое можно только изнутри, из глубины. Идеальная оптика для этого — творчество, дневники, письма. Именно они позволяют, сменив перспективу, бросить взгляд во внутренние покои души, как сквозь щель в занавешенном окне.

Важнейшая функция души заключается в осуществлении человеком своего предназначения. Иными словами, изначально заложенной в нем жизненной программы, реализующейся в процессе взаимодействия внутреннего «Я» с окружающим внешним миром. Лишь когда речь идет о людях калибра Альтермана, этот процесс выходит за рамки личного нашего опыта.

Жизнь Альтермана отличается внешним благополучием… Он никогда не знал ни нужды, ни голода. Не воевал. Правда, Ицхак Саде, ставивший Альтермана выше всех поэтов, несколько раз во время Войны за независимость брал его с собой в армию, но всегда заботился, чтобы во время сражений он находился в тылу.

— Национальный поэт, — заявил Саде, — не может протирать брюки в тель-авивских кафе, когда решается судьба его народа.

— Брось, — усмехнулся Альтерман, — ты держишь меня при себе, чтобы было с кем выпить и потрепаться после боя…

Лицевая сторона его жизни вообще не отличается резкими перепадами.

Родился в 1910 году в Варшаве. Его родители — Ицхак и Белла — были учителями. В бурный период после мировой войны и большевистской революции семья долго скиталась по Восточной Европе, пока не осела в Тель-Авиве. Будущему поэту было тогда пятнадцать.

Ицхак Альтерман был человеком проницательным, умевшим распознавать грязь и кровь за красивым идеологическим фасадом. Благодаря отцу Натан, в отличие от Авраама Шлёнского, Александра Пена и многих других творцов новой ивритской культуры, никогда не испытывал нежных чувств к советскому режиму.

Ицхак Альтерман, которому обретенная родина грезилась «цветущим садом», хотел, чтобы его сын стал агрономом. Натан, с детства писавший стихи на иврите и смутно ощущавший уже свое призвание, не противился отцовской воле. Для еврейских иммигрантов в подмандатной Палестине сельское хозяйство было тогда важнее поэзии.

Закончив в 1929 году престижную тель-авивскую гимназию «Герцлия», Натан отправился в Сорбонну изучать земледелие. Позднее продолжил это занятие в сельскохозяйственном институте в Нанси, где и получил диплом агронома. Впрочем, по этой специальности не проработал ни одного дня.

Зато несколько лет во Франции оказались чрезвычайно важными для становления Альтермана как поэта и человека. Он взял от Парижа все, что этот город мог дать.

В Париже он осознал универсальность культуры и ощутил гармонию мира как сочетание самых невероятных вещей.

В Париже он понял, что в основе человеческого существования лежит безысходность, и с тех пор трагическое мироощущение уже не покидало его.

Летом 1932 года Натан Альтерман возвращается в Палестину уже сформировавшимся поэтом. Стихи его все чаще появляются в печати и воспринимаются как явление в интеллектуальном мире Тель-Авива.

Совсем иным был тогда этот город. К экзотическому арабскому Яффо примыкали уродливые коробки еврейских домов. Кто думал тогда о красотах архитектуры?

А рядом с ними, на песке у самого моря, разместились палатки, где обитала тогдашняя интеллектуальная элита. Это были люди, открытые не только дующим с моря ветрам, но и всем веяниям искусства.

Они принесли в город солнца и песка сформировавшую их европейскую культуру, но рафинированное это растение так и не прижилось на левантийской почве.

В Тель-Авиве жили и работали классики — Бялик, Агнон и Ахад ха-Ам. Их упорно теснили на обочину молодые бунтари — Шлёнский, Ратош и Альтерман.

В Тель-Авиве выходили две солидные газеты — «Давар» и «Гаарец». На подмостках тель-авивских театров шли те же пьесы, что и в Париже. В маленьком городишке, где-то на задворках Британской империи, пульсировала духовная жизнь, не имевшая ничего общего с провинциальной затхлостью. Сегодня тот период специфической тель-авивской культуры ассоциируется у нас в первую очередь с именем Альтермана.

* * *

Эпиграфом к творчеству Натана Альтермана я бы поставил слова Поля Элюара: «Улавливая то, что еще смутно нарождается в жизни, поэт учит нас наслаждаться чистейшим языком — языком уличного бродяги и мудреца, женщины, ребенка и безумца. Нужно только пожелать, и тут раскроются подлинные чудеса».

Альтерман был и творцом таких подлинных чудес, и, быть может, самым выдающимся реформатором окаменевшего от древности языка. Его поэзия, впитавшая в себя разговорную лексику, придала ивриту несвойственную ему прежде легкость.

Суда, в Средние века доставлявшие в Европу пряности с Антильских островов, пропитывались чудесными ароматами. Такое магическое преображение, облагораживающее вещественную реальность, вызволяющее предмет из тисков изначально уготованного ему удела, и есть самая ценная особенность поэтической субстанции Альтермана.

Возвращая слову ничем не скованную выразительную экспрессию, Альтерман создал собственную систему ритмов, образов, интонации. Его стихи покоряют сразу. Нечто подобное происходит с нами, когда мы впервые видим Венеру Боттичелли, внезапно возникшую из глубин океана.

Если уж проводить аналогии, то Альтермана можно считать и Маяковским, и Блоком новейшей ивритской поэзии. Национальным поэтом он стал вовсе не оттого, что откликался на злобу дня, как Маяковский, или выступал за целостный и неделимый Израиль, как Ури Цви Гринберг.

Впечатляет уже широта его творческого диапазона. Годами он писал злободневные стихотворные фельетоны в газетах «Гаарец» и «Давар» под рубрикой «А-тур а-швии» — «Седьмая колонка», запечатлевшие динамику жизни в Эрец-Исраэль в канун и после обретения государственной независимости.

Для стихотворной своей летописи Альтерман создал емкую форму, в которой метроном как бы исчезает, повинуясь легкой поступи стиха. Вкрапленные в поэтический текст фрагменты ритмической прозы расширяют повествовательные возможности этого жанра.

«Седьмая колонка» пользовалась огромной популярностью. Номера газеты с фельетонами Альтермана передавались из рук в руки, хранились, как реликвии. Британские власти, получавшие от Альтермана стихотворные пощечины, иногда запрещали публикацию его фельетонов, но они все равно находили путь к читателю, становясь частью «еврейского самиздата» того времени.

Доставалось от Альтермана и бюрократическому аппарату,

формировавшемуся в возрожденном Израиле с пугающей быстротой.

В 60-х годах он выступил против политики «избирательной» алии.

В Марокко эмиссары Сохнута отбирали только молодых и здоровых людей. Лишь они получали право на жизнь в Израиле. Семейные узы при этом в расчет не принимались. Молодых увозили, а их родителей оставляли, обрекая на безысходность одинокой старости. Посланцы Сохнута вели себя в Марокко, как плантаторы на невольничьем рынке. Кандидаты в репатрианты проверялись, как рабочий скот. Люди с физическими недостатками тут же браковались.

Внимание Альтермана привлекла опубликованная в газете заметка о судьбе марокканского еврея Давида Данино. Он был физически ущербен — прихрамывал при ходьбе, припадая на левую ногу, что не укрылось от бдительного сохнутовского ока.

— А ну-ка пробегись, — велел Данино человек, от которого зависела его судьба.

Данино побежал. И так велико было его желание добраться до Земли обетованной, что он и не ощутил, как пронесся отмеченное расстояние.

На основе простенькой этой истории Альтерман написал стихотворение, ассоциирующееся с библейским стихом «Не устрашись, слуга мой Иаков» (Исайя, 44:2).

В стихотворении, пронизанном реминисценциями высшего трансцендентного смысла, судьбу Данино припечатывает сам Господь:

> Не устрашись, слуга мой Данино.
> Беги, я побегу с тобою вместе.
> И если Мой народ в Моей стране установил такой закон,
> То мы его с тобой нарушим оба.

В лапидарном этом эпизоде Поэт увидел смутный отблеск той неодолимой силы, которая хранила еврейский народ среди кровавых завихрений его четырехтысячелетней истории.

* * *

Катастрофа европейского еврейства потрясла Альтермана. Публикация поэмы «День памяти и борцы гетто» сделала поэта чуть ли не изгоем в кругах молодых интеллектуалов, презиравших еврейство диаспоры, безнадежно пропитанное

рабской психологией. Они ссылались на пример Моисея, водившего по пустыне свой народ до тех пор, пока не вымерло рожденное в рабстве поколение. Согласно их теории, Земля обетованная изначально предназначалась для людей свободных и сильных духом.

Катастрофа подобные настроения лишь укрепила. В интеллектуальных кругах Тель-Авива любили порассуждать о еврейских овечках, покорно бредущих под ножи нацистских мясников.

Евреи, уцелевшие в горниле Катастрофы и добравшиеся до Эрец-Исраэль — после того, как прошли все круги ада, испытали ужасы лагерей, муки унижения и голода, издевательства палачей, стремившихся сломить их волю к жизни и сопротивлению, — натолкнулись здесь на стену непонимания и даже враждебности.

Особенно тяжко пришлось их детям, прозванным сверстниками в школах «детьми мыла». К счастью, не один только Натан Альтерман видел в Катастрофе общенациональную нашу трагедию.

В своей поэме Альтерман пошел так далеко, что открыто выступил в защиту юденратов — еврейских органов самоуправления, созданных нацистами на оккупированных территориях.

Остается лишь удивляться проницательности поэта. Сегодня историки, опираясь на факты, ставшие известными лишь в сравнительно недавнее время, совсем иначе оценивают роль юденратов, чем тогда. С членов юденратов снято клеймо нацистских пособников.

Тогда же их считали позором еврейского народа.

Альтерман одним из первых понял, что эти люди в большей своей части не шкурники, не предатели. Горчайшая им выпала доля, и то, что они не уклонились от нее, хоть и могли, — делает их почти святыми.

Уникальность Катастрофы в человеческой истории, где геноцид — далеко не редкость, явилась следствием особого удела, предназначенного евреям в рамках расовой нацистской доктрины.

Если славянские племена должны были составить гигантский резервуар рабского труда на завоеванных «тысячелетним» рейхом необозримых пространствах Востока, то иудейское племя изначально обрекалось на тотальное истребление. Обращение в рабство неполноценных славянских народов Гитлер планировал начать с уничтожения их интеллектуальной элиты, резонно полагая, что лишенное органа мысли народное тело не сможет осознать своего положения.

Совсем иными были планы нацистов относительно еврейской элиты. Ей предназначалось стать проводником смерти. Для этой цели и были созданы юденраты, в которые вошли влиятельные евреи — раввины, ученые, писатели, общественные деятели, врачи, инженеры.

Юденраты считались в гетто вершителями судеб. Они ведали распределением продуктов. Они отвечали за порядок. Они составляли списки обреченных на смерть и обеспечивали их явку в пункты депортации.

Нечто сатанинское есть в том, что геноцид осуществлялся с еврейской помощью. Чтобы этого добиться, нацисты прибегали к ухищрениям, державшим жертвы в заблуждении — вплоть до входа в газовые камеры.

Нацисты не отнимали у обреченных последней надежды. Газовые камеры маскировались под «душевые», где, повышая у несчастных жизненный тонус, бросались в глаза плакаты: «Чистота! Гигиена! Вши опасны для твоего здоровья!»

Люди сразу начинали верить, что вытащили счастливый билетик в разыгрываемой смертью лотерее, что отныне с ними будут обращаться более человечно.

Убийцам легче и спокойнее работается, когда жертвы на что-то надеются. Поэтому и кольцо уготованной евреям участи сжималось не сразу. Страшного конца нельзя было избежать, но его можно было отсрочить хоть на несколько дней. Жизнь обреченных можно было хоть как-то облегчить, и члены юденратов, имевшие непосредственный контакт с убийцами, делали, в этом смысле, что могли.

Иное дело, что они почти ничего не могли. Их ждала гибель, как и всех.

Судьба же этих людей выглядит особенно горькой, ибо они искали — не для себя, для своего народа — жалости и милосердия там, где их не было и не могло быть.

Тем не менее они, как и все, до конца надеялись на что-то, ибо в конечном итоге весь смысл человеческой жизни сводится к ожиданию и надежде.

Своему другу Абе Ковнеру — бывшему узнику гетто и командиру партизанского отряда — Натан Альтерман сказал:

«Никто не убедит меня в том, что цвет нашей нации составляли подонки. Если бы я оказался в гетто, то был бы с юденратами».

* * *

Независимо от «гражданской музы» развивалась гармоническая поэзия Альтермана, его философская лирика, пронизанная трагическим мироощущением. По Альтерману, хаотическому неразборью этого мира противостоит вселенская гармония, высшая идея мироздания, постичь которую у нас не больше шансов, чем у обезьяны.

Поэму «Песни о казнях египетских» (1944) некоторые критики склонны расценивать как отклик на Катастрофу европейского еврейства. Если это и так, то Катастрофа послужила для Альтермана импульсом для создания произведения на все времена.

Он далеко уходит от классической библейской трактовки событий, происшедших в Древнем Египте за тысячу триста лет до новой эры.

Для него Египет символизирует все человечество, в муках и боли стремящееся к какому-то идеалу, самому человечеству неизвестному, но изначально заложенному в нем Творцом всего сущего.

Смысл жизни, возможно, и есть в постоянном умирании и в вечном возрождении и обновлении.

Но оставим в стороне философию.

«Песни о казнях египетских» — одно из самых совершенных творений Альтермана.

Сгущенная метафоричность, стремительное движение стиха завораживают, а сплетение мышц и нервов в каждой строфе и осязаемая зрительность образов заставляют вспомнить великие произведения живописи.

Так получилось, что мои друзья Геннадий Беззубов и Игорь Бяльский перевели одну и ту же главу из этой поэмы. Сами судите, какой из них лучше:

КРОВЬ

Ночь лопнула, Амон, весь город встал, когда,
Озера обагрив, приблудная звезда.
Огонь свой разлила, привычный мир круша —
От девичьих кудрей до нищего гроша.

Зрачком кровавым грош запламенел в грязи.
Истошно девушка кричит: «Господь, спаси!»
Оцепенела, руки заломив, она.
В колодец ухнуло ведро. Лишь звон до дна.

Кто спал и кто не спал, всех алым залило.
Волнами женских кос колодец заплело.
Ресницы сожжены, губ обгорелых бред…
«Отец», — взывает сын. «Мой первенец», — в ответ.

Кружит меня, отец, кружит, но нет, не в танце.
Иссох я, как песок. Дай мне к тебе прижаться
В час бедствия, отец. Хоть обними в ночи,
Хоть каплею воды мне губы омочи.

Сынок, здесь только кровь, все кровь, а не вода,
Затем, что прежде кровь лилась здесь, как вода.
В колодце тьма стоит, красны глаза у стад,
Ведь кровь когда лилась, не содрогался град.

Я жаждой истомлен, отец, а кровь не пьют…
Над городом горит, сынок, звезда приблуд.
И пламя вод ее, отец, ползет к нам, как расплав.
Слепая кровь ее, сынок, бушует, нас объяв.

Перевод с иврита Геннадия Беззубова

КРОВЬ

Столица, твой подол задрал бесстыжий свет.
Чужой звезды огонь простёр кровавый след
И выжег ночь до дна колодцев и озёр.
И вся краса видна, и нищеты позор.
Рассыпанных волос летит густая медь.
И нету больше слёз, и впору онеметь.
И самый жалкий грош… И девичья коса…
И огненная дрожь… И алая роса.

Колодец в небеса стремит багровый зной,
и стук ведра сухой по тишине ночной.
Проснулся или спишь — для всех один конец.
«Отец», — заплакал сын. «Да», — прошептал отец.

— Отец, я весь дрожу… я умираю… пить…
Прошу тебя, отец, не дай мне умереть.
Спаси меня, отец… Ну сделай что-нибудь…

Хоть капельку воды в колодце раздобудь.

— Сыночек, только кровь… В колодцах нет воды.
Здесь проливали кровь, не видя в том беды.
Здесь кровь лилась рекой, но люди никогда
Не думали о том, что кончится вода.

— Отец, я весь горю… хоть капельку воды…
— Мой сын, столица вся в крови чужой звезды…
— Отец, но ей нельзя наполнить наш кувшин…
— Но пламя этих волн обнимет нас, мой сын…

Перевод с иврита Игоря Бяльского

Поэзия хоть в принципе и непереводима, но воссоздаваема. Лучшим переводчикам, к счастью не так уж редко, удается все же, после всех мыслимых вивисекций, сохранить в новой ипостаси стиха дух оригинала.

Художник Александр Окунь как-то сказал: «Я могу скопировать картину любого мастера, но только не Рембрандта, ибо не понимаю, как он получал свой цветовой эффект…»

Переводить гениев, не поняв, как они получают свои «цветовые эффекты», — гиблое занятие.

У Николая Тихонова есть баллада о Давиде — привилегированном живописце французской революции и наполеоновской империи. Кисть Давида запечатлела убийство Марата — там, где оно произошло, — в ванной. На полотне видна рука убийцы — Шарлоты Корде. В балладе Тихонова поклонник художника его спрашивает: «Но, гражданин Давид, к чему рука убийцы патриота?»

Давид отвечает:

Шарлота неразумное дитя,
И след ее с картины мною изгнан.
Но так хорош цвет кисти до локтя
Темно-вишневой густотой обрызган…

Без сохранения — любыми средствами, любым способом — «темно-вишневой густоты» оригинала даже самый техничный перевод будет походить на гальванизированного покойника.

Не случайно лучшие переводчики — это лучшие поэты.

В сборнике же Альтермана, изданном «Библиотекой Алия», удач до обидного мало. Но все же они есть. Одна из них —

перевод стихотворения «Рассвет после бури», сделанный талантливой израильской поэтессой Леей Гольдберг. Достаточно привести строфу из него, чтобы стало ясно: это работа мастера.

…Но пахнет улица
Еще дождем,
И памятник, сияя
Мокрыми глазами,
С моста глядится в водоем…

«Памятник, сияя мокрыми глазами» — это уж точно бабочка…

* * *

Творческое наследие поэта огромно. Вышедшие в свет пятнадцать солидных томов включают большую часть написанного, хотя далеко не все. Правда, поэзия Альтермана теперь представлена полно. Кроме всех сборников — от первого «Звезды на улице» до последнего «Голубиный город», — в собрание вошло множество стихов из периодики и архива поэта. Просто поражаешься этой титанической работоспособности.

Фундаментальная биография Натана Альтермана, начатая его другом детства Менахемом Дорманом и завершенная Дворой Гилулой, дает ответы на многие вопросы.

Альтерман рано понял, что без сохранения внутренней цельности ему не выполнить своего предназначения. Требуется для этого еще и полная самоотдача профессиональному целеустремленному труду. Нужна особая энергия, мужество особой закалки, чтобы оградить свою самобытность и сберечь внутренний жар, без которого никогда не добиться волшебного свечения слов.

Отсюда — конфликт с внешним миром, который у каждого художника выявляется по-разному.

Товарищ юности Альтермана Пинхас Лендер вспоминает:

«От него веяло скрытым холодом, не допускавшим ни малейшей фамильярности. Застенчивая улыбка, не сходившая с губ, как бы защищала его и придавала обаяние всей его угловатой фигуре, высокой, с непомерно длинными ногами и руками, похожими на жерди. Ходил он раскачиваясь, взмахивая своими жердями, очень напоминал „корабль пустыни“ на марше, то есть верблюда. Говорил же мало и неохотно, как бы выталкивая слова откуда-то из глубины, с удивлением прислушиваясь к их

звучанию. Иногда часами не произносил ни единого слова, и я понимал, что он находится сейчас в своем внутреннем мире, куда никому нет доступа…»

Можно добавить, что был он простодушен, щедр, мягок, обаятелен. И еще был скрытен, чужд пафосу, театральности. Охранял свой внутренний мир от любых посягательств с фанатизмом скряги, берегущего сундук с сокровищами.

У него было множество друзей, и все же он обрекал себя на одиночество, ибо считал надежным только этот вид самозащиты. Ему пришлось слишком многим пожертвовать, чтобы сберечь изощренность восприятия и утонченность чувств. То, что было благом для поэзии, для него обернулось несчастьем.

Ему нужен был допинг, чтобы тянуть свою лямку, и таким допингом стал для него алкоголь…

В каждом человеке есть нечто такое, в чем он не признается даже на Страшном суде, что-то инфернальное, загнанное глубоко в подсознание. Попросту говоря, в каждом из нас уживаются и доктор Джекиль, и мистер Хайд.

Альтерман после чрезмерного возлияния становился зол, хмур, агрессивен и неприятен. Невыносим даже для ближайших друзей. Он и сам понимал, что алкоголь подавляет в нем Джекиля и выпускает на волю Хайда. Излишне говорить, какой горестной тенью ложилось это на его жизнь. Обычно после каждого дебоша мистера Хайда Альтерман исступленно работал.

Йехезкель Вайнштейн — хозяин известного в богемных кругах бара — вспоминает: «Благодаря своей профессии я научился квалифицировать выпивох. Некоторые пьют для веселья. Некоторые, надравшись, плачут. Есть и такие, которым возлияние развязывает язык. Натан же, дойдя до определенной стадии, пел русские и ивритские песни. Пьянел он быстро. От двух-трех рюмок. Для меня же его пение было сигналом. Я знал, что он уже хорош, и не давал ему больше горячительных напитков. Натан впадал в транс и норовил меня ударить. Иногда ему это удавалось. Но на следующий день он обязательно являлся, чтобы спросить смущенно, не слишком ли хватил меня вчера…»

Поэт Яаков Орланд — друг и собутыльник Альтермана — даже посвятил балладу его пагубному пристрастию. Орланд писал обычно верлибром. Его тянуло к эпичности. Вот отрывок из этой баллады, не нуждающийся в комментариях:

Между первой рюмкой и третьей он был, как всегда,
спокоен,
мудр, блестящ, ироничен, проницателен, молчалив.
Между третьей рюмкой и пятой распахивалось его

сердце,
благословенное Господом, милостивое, благое,
и всех тогда одаряла щедрость его души.
Ну, а после шестой и дальше Сатана царил в его сердце,
вытаптывая и истребляя в нем все, что от Бога…
И друзья, даже самые верные, не могли выносить его больше.
Монстр исступленный, злобный, ощеривался на мир,
поражая всех этой метаморфозой.
Зло внедрялось в него, ему становилось худо,
и трудно было поверить, что это язык поэта
изрыгает кощунства, которых не стерпит бумага.
Рахели не было рядом в ужасные те мгновенья.
И да простит его Бог, что таким он к ней возвращался.
И да простит и меня за то, что об этом пишу…

Орланд, переживший своего друга более чем на три десятилетия, скончавшийся уже в XXI веке, на склоне дней любил вспоминать о том, как Альтерман спас ему жизнь:

«Случилось так, что жизнь как-то незаметно утратила для меня всякий смысл и я перестал улавливать ее волнующее мерцание. Я и раньше знал и тоску, и печаль, и чувство неудовлетворенности, но такого безмерного отчаяния, такой безысходной тоски мне еще не доводилось испытывать. Мир медленно исчезал, и похожее на смертную истому томление всецело овладело мной. Смерть показалась вдруг желанным избавлением, и я написал Альтерману о своем решении покончить с собой, отметив, что он единственный человек, с кем мне хотелось попрощаться. Отправляя письмо, я уже мысленно видел Натана, мчащегося ко мне в тревоге, и скорбно подумал, что даже не открою ему дверь.

Прошел день, а Натана все не было. Прошел еще день. Потом еще один.

Я разозлился. Вот как! Ему наплевать! Ну, так выскажу же ему напоследок все, что о нем думаю. Натан встретил меня с теплой открытой улыбкой, которую я так любил. И сказал: „Я так и знал, что ты прибежишь выяснять отношения. А люди, которые этим занимаются, с собой не кончают“».

Альтерман вырубался обычно между двенадцатой и четырнадцатой рюмкой. Он бледнел, начиналось скольжение в бесконечную темную бездну, находившуюся где-то за пределами Вселенной, вне времени и пространства, похожую, вероятно, на

ту, которая предшествует смерти. Он переставал видеть, думать, чувствовать. Это была реализация подсознательного желания исчезнуть, как исчезают сны, достичь абсолютного покоя, не обремененного ни заботами, ни мыслями, ни воспоминаниями.

Его верные оруженосцы, сами едва державшиеся на ногах, несли тело «павшего гладиатора» по улицам спящего города. В три часа ночи раздавался звонок в его квартире, и дверь распахивалась сразу, словно только и ждала этого сигнала. Женщина в халате встречала их на пороге. Смутное выражение нежности и печали на мгновение появлялось на ее лице.

— Ну, — говорила Рахель будничным голосом, — положите его вон там, на диван. Только не шумите, а то ребенок проснется…

* * *

Две женщины, две музы, два ангела находились рядом с ним, оберегали его

Им он обязан решительно всем. Без них его жизнь была бы каторгой — и только…

Правда, была у него еще и обожаемая дочь Тирца, унаследовавшая от матери талант драматической актрисы, а от отца поэтический дар.

Поэт — это не профессия. Тот, кто наделен способностью ощущать в виде внутренних звуковых ритмов пульсирующую гармонию мироздания, и есть поэт. К гармонии, о которой мы говорим, неприменимы общепринятые критерии добра и зла, а это значит, что ее поэтическое восприятие неизмеримо шире любых стандартов. Возвышенное и низменное единосущно в поэтическом мироощущении.

Тирца этой гармонии не воспринимала. Она боготворила отца и не могла смириться с темными провалами в его жизни. Нет, она никогда не переставала его любить, но к этой любви примешивалось чувство горечи, вызванное обманувшими ее ожидания иллюзиями.

Жизнь Тирцы сложилась трагически. Она играла в театре, писала неплохие стихи, дважды была замужем, металась, остро переживала свою неприкаянность и беззащитность перед скверной бытия. Она испытывала страх перед жизнью, что не раз становилось причиной нервных стрессов. Впрочем, второе ее замужество оказалось удачным. Она стала матерью двоих чудесных детей, обрела и покой, и веру в себя.

Через семь лет после смерти отца Тирца погибла… Смерть ее

была одной из тех нелепостей, без которых немыслим окружающий нас мир. Просто мыла окно в своей квартире — и сорвалась. Расшиблась о мостовую…

* * *

Рахель Маркус, драматическая актриса, была женой Альтермана. Он встретил ее в 1935 году в тель-авивском кафе «Ливанский снег», где собирались художники и поэты.

«С той поры, как я увидела его, — вспоминает Рахель, — я не смотрела больше ни на кого на свете всю свою дальнейшую жизнь». И еще рассказывает Рахель: «С Натаном я жила, как у подножья действующего вулкана. Знаешь ведь, что извержение может произойти в любую минуту. Неделями тянется абсолютное спокойствие. Натан погружен в себя. В нем идет напряженная внутренняя работа. Я понимаю, что происходит, и воспринимаю как должное его уход от действительности. Не то чтобы меня это не печалило или не огорчало. Просто я смирялась. И ждала… Зато какое это было счастье, когда Натан читал мне свое новое творение. Это поднимало меня на такие высоты, каких мне бы никогда не достичь без него. Душевный взлет, который я переживала в эти минуты, суждено испытать лишь очень немногим. Я всегда знала, что нелегко быть женой большого поэта. И не испугалась. Есть во мне сила для того, чтобы выдержать все. Я никогда на него не сердилась… Мое кредо — это слова Ноэми из пьесы Натана „Корчма духов“: „Ну, а если я расплатилась за все, то разве не имею на это права? Разве не может один человек подарить другому свою душу? Да, душу. В обмен надушу, на мечту, на иную жизнь? Подарить просто так…“»

Циля Биндер, художница, была его Прекрасной Дамой. Когда они встретились, ей было девятнадцать, а ему — за сорок…

Однажды Альтерман увидел в кафе девушку с нежным овалом лица. Вот и все. С тех пор — свыше двадцати лет — ее жизнь не сходила с орбиты его жизни. Она была счастлива, потому что любила, и страдала из-за того, что так мало значила в его жизни. Так ей казалось…

Вот отрывок из ее письма, из которого сразу становится ясно, как эта женщина умела любить: «Мой Альтерман, что мне делать с моей тоской по тебе? Что мне делать с моей любовью, которая становится все огромней с каждым часом, с каждой минутой? Она больше и сильнее меня. Помоги мне, мой Альтерман. Ведь мне суждено навсегда остаться на обочине твоей жизни. Никогда ты не будешь моим. Никогда мне не гладить твоих рубашек. А ведь

для меня это было бы высшим счастьем. Мне ничего не надо в жизни, кроме твоей любви…»

Рахель знала о существовании Цили. И сумела подавить в себе и боль, и ревность…

Трагедия этих запутанных отношений имела достойный финал.

* * *

17 марта 1970 года Альтерман лег в больницу на операцию язвы желудка. После операции он не пришел в сознание. Рахель и Тирца не отходили от его постели. Вот что записал в своем дневнике Менахем Дорман:

«19 марта. Я пришел в больницу довольно рано. В коридоре сидела Рахель, усталая, напряженная. Я молча сел рядом. Она спросила:

— Ты в хороших отношениях с Цилей?

— Ну да, — признал я не без смущения.

— Натан считал, что у него рак, — сказала Рахель. — Ложась в больницу, он просил меня передать кое-что Циле. Я хочу ее видеть. Не сегодня… Может быть, завтра… Скажи Циле, что она нужна мне… Ты ведь знаешь, я не могла ее ненавидеть. Никогда не сказала о ней дурного слова… Да и в чем она виновата? Любовь — это не преступление… Тирца — иной породы. Для нее сама мысль о том, что Натан мне изменяет, — была невыносимой. Натан с трудом сумел убедить ее, что с этой женщиной у него все кончено. У Тирцы был нервный срыв, когда она узнала правду…»

Покинув больницу, где уже царила особая атмосфера горестной печали, предшествующая обычно смерти близкого человека, Менахем Дорман поехал к Циле. Прямая, с сухими воспаленными глазами, с окаменевшим от горя лицом, она, выслушав его, направилась к машине, не сказав ни слова.

Менахем Дорман много лет был в курсе запутанных личных дел своего друга. Он не только хорошо знал и Рахель, и Цилю, но и пользовался их полным доверием, ибо обе женщины бессознательно переносили на него часть той нежности, которую испытывали к Альтерману. Не было у Дормана убийственной для чувств объективности, и временами он испытывал странную душевную тяжесть, словно бог весть каким образом и сам был повинен в том, что Натан даже не пытался разрубить этот «гордиев узел».

Иногда всем сердцем был Дорман на стороне одинокой женщины, двадцать лет прожившей под знаком запретной любви.

Вспоминая ее тяжелые губы и строгое выражение скользящего медленного взгляда, он понимал, отчего сама мысль о возможности разрыва с ней была для Альтермана невыносима…

Тогда в его дневнике, который он с похвальным педантизмом вел почти каждый день, появлялись записи, пронизанные чувством раздражения в отношении Рахели.

Рахель Маркус была хорошей актрисой, играла с холодной самозабвенной отрешенностью и любила свою профессию не менее сильно, чем свою семью. Ее память напоминала неупорядоченный архив, настолько была забита пьесами и драматическими сценами из обширнейшего ее репертуара. В дни спектаклей и репетиций — а их бывало великое множество — Рахель исчезала на целые дни, не забыв, однако, приготовить обед Натану и Тирце.

Дорман упрекал ее в том, что она так и не сумела создать мужу семейный уют. Он считал, что жена большого поэта не должна иметь собственной творческой жизни.

Тем не менее Дорман хорошо знал, что значит Рахель для Альтермана, и временами чувствовал душевную вину перед ней за несправедливость дневниковых своих оценок. И тогда в дневнике его возникали записи о Циле, полные сдержанной неприязни.

«Почему ее все жалеют? — изумлялся Дорман. — Она ведь, в сущности, ничем не пожертвовала. О жертве можно было бы говорить, если бы она ушла от Натана. Цилю же такой вариант абсолютно не устраивал. Она сама выбрала свою судьбу, и нельзя ее за это ни осуждать, ни жалеть».

Дорман запечатлел в дневнике встречу двух этих женщин у постели умирающего.

Циля — в черном платье, еще молодая, изящная, полностью сохранившая повелительное свое обаяние…

И Рахель — пожилая уже дама, располневшая, небрежно одетая, с поблекшим лицом.

«Даже если Натан выживет, я никогда не смогу рассказать ему о молчаливом этом поединке, по своему драматическому накалу превосходящем даже его творческое воображение», — решил Дорман.

* * *

Натан Альтерман умер, не приходя в сознание, 28 марта 1970 года. В своем завещании он просил похоронить его без речей и почестей, «как простого еврея среди простых евреев».

Четвертую часть своего имущества Альтерман завещал Циле Биндер. «Она пожертвовала для меня гораздо большим, — написал он, — но тут уж ничего не поделаешь…»

Завещание Альтермана было исполнено в точности. На похоронах же его произошло нечто не заслуживающее, на наш взгляд, забвения.

У открытой могилы вперед протиснулся какой-то еврей неказистого вида и заслонил от Тирцы тело отца. Ее муж довольно бесцеремонно отстранил его. Тирца подумала, что это ведь и есть один из тех простых евреев, о которых писал отец в своем завещании. Ей стало стыдно. Почти инстинктивно схватив этого еврея за руку, она вернула его на прежнее место

Как раз в этот момент возник Моше Даян. Увидев, что дочь Альтермана держит за руку какого-то еврея, Даян его обнял. И сказал все, что принято говорить в таких случаях. Подошедший президент государства последовал примеру Даяна. Никому не известный простой еврей оказался вдруг в центре всеобщего внимания. Журналисты бросились его искать после похорон, но еврей этот исчез, словно его поглотила земля…

И Тирца решила, что это был сам пророк Элиягу…

Несостоявшаяся встреча

В Израиль моя семья прибыла из Варшавы весной 1965 года. В Лоде нас встретил Виктор, троюродный брат моего отчима. Они не виделись свыше тридцати лет и встретились уже пожилыми людьми, уставшими от превратностей жизни. Оба плакали.

В отличие от моего отчима, потратившего молодость на штудирование логики и философии в Берлине и в Варшаве, Виктор с тридцатых годов обживал с таким трудом обретаемую родину. И фермером, и воином приходилось ему бывать.

В Войну за независимость он сражался в полку Хаима Ласкова — том самом, который прикрыл беспорядочное отступление наших разбитых под Латруном частей. Был ранен.

Этот невысокий добродушный крепыш с лицом интеллигентного рабочего обладал даром вызывать в людях мгновенную симпатию. Даже те, кто видели его впервые, проникались к нему абсолютным доверием. Как-то сразу становилось ясно, что такому человеку можно дать на сохранение хоть миллион — без расписки, под честное слово, а потом прийти через год-два и все получить обратно без проблем.

Себя Виктор называл сионистом социалистической ориентации и был приверженцем бен-гурионовской партии.

В Тель-Авиве, в двухэтажном домике Виктора с небольшим ухоженным садиком, предметом гордости хозяина, мы и провели первые наши недели в Израиле.

Я хорошо помню, как ранним апрельским утром отправился зачем-то в район старой автобусной станции. В красной дымке маячили автобусы, возвышаясь над толпой подобно допотопным животным. На каждом углу лоснилось на вращающихся вертелах овечье мясо, совершая ритуальный свой танец под музыку, гремевшую в магазинах с баснословно дешевыми радиоприемниками необычайной красоты. Виктор сказал, что работают они от силы неделю, после чего их можно использовать только в качестве предметов интерьера.

Дома здесь были специально приспособлены для торговли. В первом этаже не было ни окон, ни дверей — лишь стальные жалюзи, взметенные вверх так, что каждый мог бросить взгляд туда, вглубь, где неясными очертаниями возвышались в полумраке под аркадами груды товаров.

Лавки, походившие на пещеру Аладдина, украшали узорчатые ткани и разноцветные бусы, словно для приманки дикарей.

Слегка обалдев от этого крикливого великолепия, я

встрепенулся, увидев букинистическую лавку, узким туннелем уходящую куда-то в глубь обширного двора. И нырнул в ее распахнутый зев.

Груды книг на всех языках, кроме русского. Я задержался у польской полки. И тут, рядом с сочинениями Сенкевича, бросилась мне в глаза родная кириллица. Какая-то русская книга сиротливо прислонилась к шеренге гордых поляков.

Я взял ее в руки. Имя автора — Юлий Марголин — мне ничего не говорило, но название я оценил сразу: «Путешествие в страну Зэ-ка».

Автор наделил хотя бы географией сонмы несчастных, раздавленных государством несвободы где-то там, в белом безмолвии.

Книга Марголина была моей первой покупкой в Израиле и, наверно, самой удачной за все прожитые здесь годы.

Вернувшись, я остался в садике, сел на увитую плющом скамейку, раскрыл книгу — и уже не мог оторваться. Особая тональность этой книги, ее почти интимная доверительность исключали возможность малейшей фальши.

Марголин рассказывал о страшных вещах языком будничным и простым, без пафоса и красивостей.

Стиль не создается, а возникает сам по себе, и подлинное мастерство никогда не бросается в глаза.

Да кто же он такой, этот Марголин?

Первые сведения о нем я получил от Виктора. Увидев у меня эту книгу, он потемнел лицом:

— Охота тебе это читать. Марголин — наш махровый реакционер. Апологет холодной войны. Живет он в трех кварталах отсюда и все пытается проповедовать свои бредовые идеи, которые никому не интересны.

— Никакой он не апологет, а хороший писатель, — сказал я угрюмо.

— Да? Ну-ка дай книгу.

Виктор почти вырвал ее из моих рук и стал перелистывать. Лицо его покраснело. Он тяжело задышал и вдруг швырнул книгу в открытое окно.

Это было так дико, что я растерялся. Тяжелое молчание длилось несколько секунд. Потом Виктор резко поднялся, вышел в сад и тут же вернулся со злополучной книгой.

— Прости, — сказал он примирительно. — Я не должен был так поступать. Твоя книга упала прямо на куст роз, и шип уколол мне палец. Ты, наверно, усмотришь тут какую-то символику. Если это и символика, то очень дешевая, мой дорогой.

Виктор помолчал, порылся в аптечке, заклеил палец

пластырем и продолжил:

— Ты только посмотри, что этот мерзавец пишет. — Он ткнул пальцем в строчки, и я прочел: «Советско-немецкая война была для нас войной горилл и каннибалов. Обе стороны были нечеловеческим искажением всего святого и дорогого нам».

— Ну и что? — спросил я наивно. — Разве это неправда?

— Какая правда?! — закричал Виктор. — Красная армия спасла евреев. Он что, не знает? Да как он смеет отождествлять социализм с нацизмом! Я сам ненавижу Сталина за искажение великой идеи. Но твой Марголин — враг социализма. Ну, ткнули его носом в лагерное дерьмо. Так он, вместо того чтобы промыть нос, ходит и твердит, что весь мир провонял.

Виктор осекся и посмотрел на меня. Я молчал.

Глаза его вновь стали печальными и добрыми, и он спросил заботливо:

— Скажи, а ты обедал?

Виктор умер через несколько лет от сердечного приступа. Он был хорошим человеком, и я искренне горевал о нем.

Но вот что написал сам Марголин о таких людях в послесловии к своей книге: «Отношение к проблеме советских лагерей является для меня ныне пробным камнем в оценках порядочности человека. Не в меньшей мере, чем отношение к антисемитизму.

В самом деле, достаточно упомянуть о жертвах лагерей, чтобы у людей, которые при каждой другой оказии полны медовой доброты и демократической отзывчивости на малейшее несовершенство мира, вдруг выросли волчьи клыки и обнаружилась абсолютная невосприимчивость слуха и ожесточение сердца — как в известном рассказе Стивенсона о м-ре Джекилле и м-ре Хайде».

* * *

Я не собираюсь анализировать книгу Марголина. Ограничусь несколькими замечаниями.

У Марголина был предшественник. Данте Алигьери

Читателю это мое утверждение может показаться преувеличением.

С одной стороны — величайшее творение всех времен, по праву увенчанное бессмертием. С другой — книга — хорошая, важная, нужная. Но, если говорить откровенно, есть в мировой литературе книги и посильнее «Путешествия в страну Зэ-ка».

Я далек от того, чтобы сравнивать художественные

достоинства «Божественной комедии» с произведением Марголина. Имеется в виду нечто совсем иное. При всей несоизмеримости судьбы и таланта есть в чертах этих двух людей печать некоего родства.

Ведь в чем суть «Божественной комедии», если отрешиться от граненых терцин флорентийского «рифмача» — так называл себя сам Данте, дабы отмежеваться от поэтов, пишущих по-латыни и без рифмовки?

В обожествлении личности.

И действительно — если в начале всего сущего «было Слово», то почему бы гению словесной магии не поставить мощью слова обожествленный свой дух рядом с первоначальным Словом у самого престола Создателя?

Рай — конечная цель загробного странствования поэта. Но путь к обители высшего блаженства лежит через чистилище и ад, обнажающие всю меру человеческой уязвимости и несовершенства.

Самообожествление Данте наивно, стихийно, простодушно, хоть и является следствием целенаправленной субъективности.

Преданный сын церкви, он верил во все ее догматы. Его нельзя было заподозрить в ереси. И хотя вся «Божественная комедия» преисполнена славословиями в адрес Данте, его не упрекнешь ни в кощунстве, ни в отсутствии скромности. Ведь это другие превозносят его до небес, а он лишь слушает с сокрушенным видом, как бы подавленный собственным величием.

Вергилий целует его в уста со словами: «Благословенна мать, родившая тебя, гордая душа». Данте скромно молчит. Да и что тут скажешь?

Для Данте нет ничего более ценного, чем человеческая личность.

И для Марголина тоже.

Эпиграфом к своему труду он мог бы поставить слова, начертанные на вратах дантовского ада:

> Я увожу к отверженным селеньям,
> Я увожу туда, где вечный стон,
> Я увожу к погибшим поколеньям.

Но если Данте возвеличил личность, то Марголин сумел сохранить ее в условиях пострашнее тех, которые изобразил великий флорентиец в песнях своего «Ада».

В дантовском аду грешники несут наказание за преступления, которые они совершили *как личности*. Их и карают *как личностей*, ибо разрушение структуры души и утрата вследствие этого

личностного мироощущения лишило бы наказание всякого смысла.

В аду же Марголина личность не наказывалась, а уничтожалась путем «расчеловечения и обезличения» — марголинские определения.

В «Путешествии в страну Зэ-ка» подробно рассказывается, как это происходило. Против этого процесса и восстал Марголин, и, что самое поразительное, победил.

Борьба человека за сохранение себя как личности в нечеловеческих условиях — основной стержень его книги.

Эпизод же с «лагерной гиеной», по-моему, вообще не имеет аналога в мировой литературе. Речь идет о «человеке со сросшимися черными бровями, цыганского типа, с бегающими глазами и мягким влажным ртом», терроризировавшем Марголина — рафинированного польского интеллигента, «Укропа Помидорыча», личность в лагерных условиях абсолютно беспомощную. Так «гиене», во всяком случае, казалось.

Но когда он украл у терявшего силы Марголина последний кусок хлеба, произошло невероятное. Утонченный интеллектуал, доктор философии, почти уже доходяга, избил его до утраты пульса.

Все поздравляли Марголина, как именинника. Но вот как он сам оценил то, что произошло: «Мне не было весело, и я был полон стыда, унижения и горя. В этот день я прошел еще один этап расчеловечения. Я сделал то, что было противно моей сущности. Среди переживаний, которых я никогда не прощу лагерю и мрачным его создателям, — на всю жизнь останется в памяти моей этот удар в лицо — который на одну короткую минуту сделал из меня их сообщника, их последователя и ученика».

Возведение в абсолют человеческой личности и роднит Марголина с Данте. Оба они прошли через ад: Данте — виртуально, а Марголин — всем своим человеческим естеством. Чтобы добраться до рая, который им виделся одинаково, если отбросить условности и поэтические красоты.

Для Данте он заключался в том, чтобы лицезреть Беатриче, восседающую у престола Святой Троицы.

Рай Марголина — это маленькая комната в Тель-Авиве, где у накрытого стола ждала его, погибающего, любимая женщина.

* * *

Прошло пять лет со времени моего приезда в Израиль.

Приходилось заниматься разными вещами, но Марголина я старался из виду не терять. Иногда попадались на глаза его публикации в зарубежной российской прессе. В Израиле же его имя было окружено враждебным молчанием.

Как раз в то время наступили долгожданные перемены. Мы с Мишей Левиным стали издавать журнал «Ами». Первый номер «Ами» мы сварганили на обычной пишущей машинке, придав ему привычный для новых израильских граждан самиздатский вид. Материалов на второй номер тоже хватало, но мы призадумались. Что-то не клеилось. Журнал получался без души.

— Слушай, Фромер, — сказал мой друг и соредактор, — журналу нужен добрый ментор, который своим пером, авторитетом и мудрыми советами укрепил бы наши хилые интеллектуальные возможности. Давай обратимся к Марголину.

Я, разумеется, не стал возражать.

Не откладывая в долгий ящик, мы тут же позвонили Юлию Борисовичу, и он, узнав, в чем дело, очень обрадовался. Ведь это нас он ждал долгие годы в созданной вокруг него атмосфере почти вакуумного одиночества. За нас боролся, для нас писал, в нас верил.

«Приезжайте, ребята. Я вас жду», — закончил он разговор.

Мы должны были встретиться 20 января 1971 года. В пять часов вечера.

19 января Юлий Борисович Марголин умер.

…Второй номер «Ами» вышел с некрологом о нем и с тремя его работами. Он успел отложить их для нас. Мы получили эти тексты от его вдовы Евы Ефимовны.

Ну а у журнала начались неприятности.

* * *

22 февраля 2001 года, выступая на вечере, посвященном столетию Марголина, Геула Коэн назвала его одним из тридцати шести праведников, на которых держится мир.

Их всегда 36, этих праведников. Как только один из них умирает — рождается другой.

Как-то не очень верится, что праведников так много, но то, что Марголин один из них, — это уж точно. Ведь хранит же что-то этот мир от разрушения. Поиск справедливости, смысла, гармонии, красоты, надежды — не такое уж гиблое дело, если человечество до сих пор существует.

Анатолий Якобсон назвал Марголина «человеком, который олицетворял красоту и гордость человечества».

К Марголину применимы слова Мандельштама, сказанные о Чаадаеве: «Идея организовала его личность, не только ум, дала этой личности строй, архитектуру, подчинила ее себе всю без остатка, и в награду за это подчинение подарила ей абсолютную свободу».

Я часто думаю о Марголине.

Это был человек, осененный особой благодатью, спасавшей его в концлагере, сопровождавшей в интеллектуальных поисках, в любви, в жизни, в литературе. Она была присуща лишь ему одному, но содержала в себе нечто очень важное для нас всех.

Знавшие его рассказывают о безмерности его ума, о необычайном его обаянии, глубине, великодушии. Все ощущали исходивший от него мощный духовный импульс — так кошки улавливают электричество, сгустившееся в потемневших тучах.

Это был человек, опередивший свое время.

В стране победившего сионизма тон задавали функционеры, требовавшие не дразнить советского медведя, а то он, мол, разорвет находящихся в его берлоге евреев. Медведя, мол, следует подкармливать и всячески ублажать. Тогда он сам отпустит этих евреев — таких тощих и невкусных.

Марголин активно выступал против такого лакейского подхода и требовал активной борьбы с советской рабовладельческой системой, резонно полагая, что это — единственный путь к освобождению советских евреев.

Он не любил, когда его называли антикоммунистом. Он не был «анти». Он был «за». За честь, достоинство, свободу, либеральные ценности, подлинную духовную гармонию.

Это был Дон Кихот, ненавидевший рабство во всех его ипостасях, сражавшийся с косностью, тупостью, недальновидностью тогдашнего израильского истеблишмента.

Ох уж эти серебряные рыцари месяца на резвых лошадках, в блестящих латах, с острыми мечами и копьями. Они не раз повергали наземь тощего идальго с немощным телом, бросившего им вызов на своей жалкой кляче. Но они могли сколько угодно колоть его своими копьями.

Все равно Дульсинея Тобосская — самая прекрасная женщина в мире, а серебряные рыцари — всего лишь переодетые цирюльники.

Иерусалим — «Москва — Петушки»

Михаилу Левину

Книга Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки» — явление в российской словесности уникальное. Не менее уникальна ее судьба. Написанная на кабельных работах в Шереметьево в 1969 году, она мгновенно разошлась в самиздатских копиях и вскоре попала на Запад, где ни одно русское издательство не решилось опубликовать «яростную инвективу в адрес великого народа» (так охарактеризовал шедевр Ерофеева редактор одного из старейших русскоязычных изданий на Западе). В конце концов проза, или, если хотите, поэма, Ерофеева была издана в Израиле, что тоже свидетельствует о необычайности ее судьбы.

«Москва — Петушки» увидели свет летом 1973 года, в третьем и последнем номере журнала «Ами» — нашем с Михаилом Левиным детище, которое мы около трех лет тащили на своих плечах. В ту пору мы рыскали по всему Израилю в поисках материалов, ошивались в различных учреждениях и министерствах, выбивая деньги, как ландскнехты, предлагая свои услуги кому угодно, готовые отдаться любой партии в качестве полномочных представителей полумифической молодежно-студенческой ассоциации выходцев из СССР.

Первый номер «Ами», похожий на сброшюрованные материалы самиздата, мы издали в декабре 1970 года на средства этой самой ассоциации, которая тут же тихо скончалась, не выдержав бремени такого расхода.

Второй номер был издан только через полгода на средства Гистадрута, и сам генсек израильских профсоюзов хавер (товарищ) Бен-Аарон выписал нам на это «святое дело» чек. Мы даже хотели сохранить его как реликвию, но чувство долга перед журналом победило.

И наконец, третий, Веничкин, номер появился благодаря щедрости Независимой либеральной партии. Вот кому обязан Ерофеев своей всемирной славой! Увы, и эта партия вскоре угасла, подорвав изданием Венички свои финансовые возможности.

Вышло так: «Два Рима падоша, третий стоит, а четвертому не быти». С присущей мне скромностью отмечу, что два первых номера «Ами» тоже были ничего. В особенности второй, с форматом журнала «Огонек», с двумя черно-белыми пятнами на обложке, похожими на устремившихся в полет жареных гусей. Именно во втором номере впервые были опубликованы тексты

песен Высоцкого, Галича и Кима. Мы, в сущности, застолбили новую жилу во владениях поэзии. Ибо это теперь ясно, что хорошие миннезингеры — в первую очередь поэты, тексты которых могут и должны жить самостоятельной жизнью. Четверть века назад очевидность эта была ясна далеко не всем.

Кстати, со вторым номером вышла накладка-неразбериха, затянувшаяся по сегодняшний день. Корректур пять держали мы с Левиным, каждое слово выверили, а про обложку забыли… Получив в типографии готовый тираж, мы с ужасом увидели на обложке журнала, рядом с названием, цифру два и слово «май». И все… А год-то какой? Лишь по одному из объявлений на последней журнальной странице можно сегодня вычислить, что год был 1971-й. В результате совсем недавно ко мне обратились из музея Высоцкого в Москве с просьбой уточнить дату первой публикации его текстов.

И все же лишь третий номер, говоря словами одного из его авторов, польского сатирика Станислава Ежи Леца, растворившегося в Веничкиной тени, стал «эпохальным событием, имеющим переломное значение». Мы с Левиным сразу же оказались на описанной Зиновьевым «зияющей вершине».

— Ребята, — спрашивал я друзей и знакомых, — как третий номер?

— Еще бы, — отвечали мне, — Веничка.

— Ну а профессор Тальман, палиндромоны Гершуни, Лец? — интересовался я.

Друзья смотрели на меня округлившимися от изумления глазами.

— «Москва — Петушки», — отвечали они с осторожной снисходительностью.

Один из моих приятелей — человек ядовитый, сухой и обаятельный — даже поинтересовался:

— Что пришлет вам Ерофеев в следующий номер?

Все читали Веничку. Кто обращал внимание на Тельмана, Леца, Гершуни? На великолепный венок сонетов Радыгина? Все сразу хватались за гениальную прозу, игнорируя не только проникновенные речи раскошелившихся либералов, предваряющие журнал, но и все остальное. Как писал Ерофеев: «Даже не прочитав фразы: „И немедленно выпил…“»

* * *

Мы прекратили издавать журнал не только потому, что по причинам, о которых будет рассказано ниже, общественные

организации и государственные учреждения перестали «доиться». Деньги в конце концов не функция. Их всегда можно достать. В особенности после такого успеха. Под залог Веничкиного имени. Но в том-то и дело, что Веничка поднял журнал на недосягаемую высоту и тем самым погубил его. Ошеломляющий успех связал нам руки. И очень скоро истина забрезжила перед нами. Мы поняли, что завоеванную высоту можно удержать лишь в том случае, если четвертого номера никогда не будет…

— Веничка больше ничего не напишет, — сказал мой друг и соредактор.

— Почему? — удивился я.

— Он ему не позволит.

— Кто?

— Автор поэмы «Москва — Петушки».

Левин ошибся. Ерофеев, правда, не опубликовал больше ни одной страницы прозы. Мифический роман «Шостакович» (не о композиторе), который не видел никто и никогда, — не в счет. Но Веничка остался верен себе, и его разбойничьи набеги на литературные бастионы завершились созданием еще двух произведений: эссе «Розанов глазами эксцентрика» и трагедии «Вальпургиева ночь, или Шаги командора».

После выхода третьего номера известный эмигрантский публицист сказал раздраженно: «Ерофеев — это железная маска. Бред. Мистификация какого-нибудь маститого прозаика».

Мне осталось лишь пожать плечами. В природе не существовало прозаика, способного на столь гениальную мистификацию.

Вскоре выяснилось, что Ерофеев существует в земной своей ипостаси. Появились люди, его знавшие. Но удивительное дело — никто не мог описать словами его расплывчатый ускользающий облик.

— Какой он, Веничка? — расспрашивали мы.

— Ну, — мялись те, кому выпала честь пообщаться с автором гениальной прозы, — голубоглазый блондин. Похож на Есенина. Глушит все без разбору. Но мы лишь потом узнали, что он писатель. Это так странно: Ерофеев и…

* * *

Уже через год после того как Ерофеев заявил о себе со страниц «Ами» как власть имеющий, его книга была переведена на добрый десяток языков. Его печатали, переводили и грабили все, кто могли.

А мы ловили смутные отголоски его похождений. Ерофеев гулял по Москве, как киплинговский кот по крышам. Всех шокируя, всем импонируя. То там, то здесь возникая на один миг, чтобы исчезнуть навеки. Казалось, что его, как Агасфера, влечет куда-то непреодолимая сила. Прочь от семьи, прочь от людей, прочь от литературы.

Гойя как-то обронил с восхитительной дерзостью, что даже самая благополучнейшая из жизней — «это такая тоска». Жизнь Ерофеева — добровольного изгоя, бродяги — не укладывается ни в какие рамки. Кажется, что человек этот — вне времени и пространства. Да так оно, впрочем, и есть.

Герой поэмы «Москва — Петушки» — не существует в реалиях нашего измерения. Окружающие нас реалии превращаются в форму его самосознания и трансформируются в ней. Но ведь «Москва — Петушки» — это тот классический случай, когда герой и автор слиты воедино. Я почти уверен, что творение Ерофеева сложилось в его душе не как сочетание идей и образов, а как единое целое. Ему оставалось только выплеснуть наружу свой шедевр.

Сразу оговоримся, что термин этот уместен, лишь когда творцу удается создать в искусстве новую — неожиданную и небывалую — форму существования.

Ерофееву удалось, и это стало его проклятием. Автор «Москва — Петушки» превратился в его злейшего врага — в этом смысле Левин был прав. Венедикт Ерофеев разработал одну-единственную идею — но она вместила в себя все остальные. Написанная им вещь оказалось настолько совершенной, что в дальнейшем обрекала его только на подражание самому себе. Венедикт еще пробовал бороться с этим наваждением — менял жанры, и даже не без успеха, но пора уже признать, что в литературе он останется только как автор гениальной поэмы.

* * *

Слава Ерофеева все растет — хотя, казалось бы, куда уж больше. «Москва — Петушки», превращенные в пьесу, не сходят со сцены. Критики с похвальным усердием трудятся в «ерофеевских копях».

Хуже обстоит дело с мемуарным жанром. Лучшие воспоминания о Венедикте принадлежат Лене Игнатовой. А ведь не так уж много лет отделяют нас от Ерофеева живого. Живы еще люди, его знавшие, — ерофеевские друзья-собутыльники. Казалось, им бы и карты в руки, и большое плавание. Но вряд ли

мы дождемся от них чего-то существенного.

Рассказать о Веничке… Кому вообще такая задача по плечу? К тому же Санчо Пансы не пишут воспоминаний о Дон Кихотах… Кстати, в отличие от героя великой книги Сервантеса, у Венедикта Ерофеева было двое оруженосцев, сопровождавших его на своих прагматичных осликах.

Вадим Тихонов и Игорь Авдиев. Обоих обессмертил Веничка, сделав персонажами своего шедевра. Оба были его закадычными приятелями. Вадим Тихонов — тот самый «первенец», которому Венедикт посвятил свою поэму. И было за что. Вот как сам Веничка описал свое знакомство с Вадей:

«Во Владимире мне сказали: „Ерофеев, больше вы не жилец в общежитии“. И приходит абсолютно незнакомый человек и говорит: „Ерофейчик. Ты Ерофейчик?“ Я говорю: „Как то есть Ерофейчик?“ — „Нет, я спрашиваю: ты Ерофейчик?“ Я говорю: „Ну, допустим, Ерофейчик“. — „Значит, ты Ерофейчик?“ Я говорю: „Ну, в конце концов, Ерофейчик“. — „Прошу покорно в мою квартиру. Она без вас пустует. Я предоставляю вам политическое убежище“».

Последнее место Вадиной службы — смотритель на сельском кладбище.

Игорь Авдиев — личность не менее колоритная.

Оба еще живы, но вряд ли возьмутся за перо из-за подорванного по известной причине здоровья. Но их устные рассказы, записанные корреспондентом «Комсомольской правды», — свидетельства настолько ценные, что забвения не заслуживают. Привожу несколько отрывков для полноты картины.

Рассказывает Вадим Тихонов:

«Как-то то я Веничку от смерти спас. Это была удивительная история. Он любил одну женщину в Орехово-Зуево — совершенно до безумия. Но это не мешало ему ходить к другой — он ее туда аж из Владимира привез. Веничка разрывался надвое: то к ореховской, то к владимирской. Первой говорил: „Не серчай, дурочка. Ну раз она ко мне приехала, я же должен с ней повидаться“. А той объяснял совсем по-другому: „Я же не к ней приехал, а к тебе, но мне и с ней тоже посидеть надо“. Это Юлия Р. Была такая. Строгая и неприступная комсомольская богиня. Однажды в пылу ревности она схватила ружье и пальнула в Ерофеева. Слава Богу, заряд оказался холостым, а то бы нашему Веничке тяжко пришлось. Ружье я выхватил. Смотрю, мой Ерофеич лежит на земле белый как снег. „Ничего, — говорю, — успокойся. Сейчас пойдем ворон стрелять“.

Веничка не мыслил своего существования без женщин. Они его безумно любили и всегда стояли перед ним на коленях. Ну,

как у Пушкина…

Ерофеев умер, и я остался „вторым алкоголиком на Руси“. Первым был Веничка…»

А вот из рассказов Игоря Авдиева, он же Черноусый. Веничка сделал его министром обороны Петушинской республики:

«Выпивка была для него работой. Он так говорил: „Человек отличается от животного тем, что пьет водку. От выпивки человеческое тело становится дряблым, а душа твердой“. Когда выпить было нечего, мы изобретали коктейли. О них Веничка в поэме написал. Все составляющие компоненты перепробовали. Однажды даже какое-то германское средство на синтетической основе пили. У Венички начались такие страшные почечные колики, что он, бедняга, по полу катался. Я его спрашиваю: „Тебе действительно совсем плохо?“ А он говорит: „„В месяце чудесном мае распустились почки“. Помнишь, как у Гейне?“

Сохранить остроумие, когда испытываешь такие муки, мог только Ерофеев…

Он угас ранним утром 11 мая 1990 года в пустой больнице (праздники были). Я собрал его вещи, взял ботинки и отправился в морг — переодевать Веничку. Он похоронен на Новокунцевском кладбище. Каждый год мы ходим на его скромную могилку. Вспоминаем, пьем портвейн. А над кладбищем в это время тихо и незримо пролетают Веничкины Ангелы…»

* * *

В том же «чудесном мае» 1990 года пришла в больницу к умирающему Венедикту Ира Якир. Он уже не реагировал на исчезающий этот мир. У изголовья стояла его сестра, монотонно повторявшая: «Веня, Веня, нашего папу реабилитировали. Ты слышишь, Веня?»

Но Веня не слышал. И не мог оценить трагический комизм чисто ерофеевской ситуации. Умирающему сыну сообщают о посмертной реабилитации отца, сгинувшего в сталинском застенке много лет назад…

Венина сестра показала Ире только что полученную справку о реабилитации главы «клана» Ерофеевых. Корни этой добротной русской семьи — на Кольском полуострове. Три брата еще были у Венедикта, похожие на него обаянием и статью. Нет больше этой семьи. Никого в живых не осталось…

Иру поразило удивительное совпадение. Венин отец сидел в мурманской тюрьме в одно время с ее матерью Валентиной Савинковой.

«Причудливо тасуется колода!» — ничего не скажешь…

* * *

А мы долгие годы собирали о Веничке апокрифы, которые тем уж хороши, что подстегивают воображение. Может, все так и было. А может, не было никогда, хоть и могло быть…

* * *

Рассказывали, что вскоре после выхода третьего номера «Ами» Ерофеев сказал одному из своих собутыльников: «Меня издали в Израиле с предисловием Голды Меир».

* * *

Рассказывали, что однажды, находясь в «ерофеевском» состоянии, он ехал, как всегда, в Петушки, прижимая к груди чемоданчик с двумя бутылками кубанской и с готовой рукописью нового романа «Шостакович», существовавшего в одном экземпляре. И конечно же, чемоданчик был забыт в вагоне. И конечно же, Ерофеев убивался по бутылкам, даже не вспомнив в тот день о пропаже рукописи.

Но это — апокриф, а вот о пропаже полного текста второй Вениной трагедии «Диссиденты, или Фанни Каплан» мы располагаем подлинным свидетельством ерофеевского приятеля Ивана Рудакова.

Закончив трагедию, Веня всюду таскал ее с собой в «авоське». Ему казалось, так оно надежней. Летом 1977 года решили они с Ваней прошвырнуться на велосипедах в Абрамцево — подмосковное дачное место. Взял Веня драгоценную «авоську», взял фотоаппарат и поехали. Привезенные запасы быстро иссякли. Члены у Вени ослабели, а Ваня — мастер спорта, между прочим — как огурчик.

— Я, — говорит, — мигом слетаю в соседнее село, в магазинчик.

Сказано — сделано. Только ехать Ване как-то несподручно. Глянул, а на руле велосипедном с одной стороны «авоська» болтается, а с другой — фотоаппарат. Снял Ваня эти вещи и под кустик положил. Потом, думает, подберу.

Никакого потом не было…

Привез Ваня бутылки. Добавили.

— А рукопись-то где? — спохватился Веня. Бросились искать…

Рукописи, может, и не горят. Но теряются…

* * *

И, говорят, ему снился сон.

Сидит Ерофеев за столом, уставленным батареей бутылок и всякой закусью (во сне чего не бывает). А напротив него Смерть. Тянется к нему, зажав стакан в костлявой ладони.

— Смерть, а Смерть!

— Что, Веничка?

— А ты все можешь?

— Все, Веничка.

— Ну так сделай меня бессмертным.

— А вот этого не могу. Ты, Веня, тогда Богом станешь. Ну взгляни на свою рожу в зеркало. Сам посуди — какой из тебя Бог?

Из этой же серии:

— Вень, а Вень, — говорит Смерть, — а ведь у тебя в Петушках ребеночек есть. Давай его навестим. Гостинцев свезем.

С Ерофеева мигом хмель соскочил. Холодная испарина на лбу выступила.

— Что ты, что ты, — забормотал.

А Смерть — ласково так:

— Не бойся, Веня, я его тоже люблю.

* * *

Рассказывали, что однажды к Ерофееву пришли ребята из ультрапатриотического самиздатского журнала.

— Веня, — сказали, — ты великий русский писатель. Ты первым персты вложил в отверстую нашу язву. Дай нам что-нибудь в журнал.

— Вам нужно что-нибудь идейное? — спросил Ерофеев.

— Напиши, Веня, как русский патриот, о жидах, испаскудивших родимую нашу словесность.

— Хорошо, — согласился Ерофеев. — Только не бесплатно. Мне интересно, какое это чувство, когда тебе платят.

— Тебе, Веня, заплатим.

И Ерофеев тут же содрал с них пятьсот рублей.

Прошло полгода. О Вене ни слуху ни духу. Пришли к нему

опять.

— Ты, Веня, деньги взял. Где же статья?

— Я в вашем журнале не только печататься не буду, — я с вами под одним кустиком не присяду.

— Ах сука! Тогда верни деньги!

— Только судом.

* * *

И Ерофеев умер. Не от цирроза печени, а от рака горла. Я видел его за год до смерти в литературной передаче московского телевидения. Чугунное лицо и потухшие глаза. Трубка в горле, и голос из потустороннего мира. Он уже был ТАМ, а не здесь.

Ерофеева приглашали во Францию, где перевод его книги встретил благосклонный прием у самых изысканных критиков. Предлагали операцию. Почти гарантировали успех. Не пустили…

Чего они боялись в период «гласности и перестройки»? Сам Ерофеев никуда не ходил и ничего не требовал. Государство назначило ему пенсию в 28 рублей — и сочло, что выполнило свой долг перед писателем. Друзьям его сказали: «Чего Ерофеев хочет? Его ведь уже печатают на родине. И лечить будут на родине».

Обидно, что он до самого конца остро нуждался. И это при книге, изданной большими тиражами в тридцати странах. Ирине Белогородской, жене Вадима Делоне, получившей от Ерофеева доверенность на ведение в Западной Европе его издательских дел, секретарь престижного французского издательства, хорошо «нагревшего руки» на Веничке, заявил: «Ерофееву? Не заплатим ни франка. Все права принадлежат журналу „Ами“».

Я послал просимый ею документ, но не знаю, помог ли он. Знаю только, что в последующие годы «чужие люди за него зверей и птиц ловили в сети». Многие собирали Ерофееву деньги, переправляли лекарства. В Америке этим занимался обосновавшийся там Левин.

Что знал обо всем этом сам Ерофеев? Кое-что знал. Но факты, трансформировавшись в его сознании, превращаются в трудноуловимое мерцание. Пусть лучше скажет сам Веничка. Вот отрывки из его интервью, насколько мне известно, последнего в жизни, опубликованного в 1991 году в четвертом выпуске альманаха «Апрель»:

— Веня, «Москва — Петушки» впервые были опубликованы в израильском издательстве…

— «Ами».

— А ты знал, что готовится эта публикация?

— Мне как-то сказал Муравьев году в 74-м: «А ты знаешь, Ерофеев, что тебя издали в Израиле?» Я решил, что это очередная его шуточка, и ничего в ответ не сказал. А потом действительно узнал спустя еще несколько месяцев, что действительно в Израиле издали, мать твою, жидяры, мать их!

— В 72-м издали?

— В 73-м.

— А как складывались материальные отношения с издателями за границей — ведь потом издавали еще во многих странах?

— Это действительно очень больной вопрос. А Британия купила у Парижа… То есть никто никому не должен, а я всем немножко должен. Но не должен никто, это уж точно. Я так понял по их действиям.

* * *

С чего все началось?

С 28 по 30 мая 1970 года на берегу озера Кинерет, в Огало, проходил съезд молодежи и студентов, недавних репатриантов. Не упомню уж, сколько нас там было, но много. Все с интересом разглядывали друг друга. Так вот мы какие. Многие еще не успели отряхнуть с сандалий галутную пыль. Многие еще не завершили процесс «реинкарнации» и душой продолжали оставаться в навсегда покинутом мире. И многие из нас не понимали тогда простейшей истины, к которой пришли потом, каждый своим нелегким путем. Чтобы не быть чужим на этой древней земле, нужно воспринять все ее легендарные были как часть собственной биографии. Нужно научиться смотреть на мир так, словно тебе три тысячи лет. Тогда все вспомнишь, все почувствуешь и все поймешь…

Приехали мы в Огало днем. Быстро перезнакомились и табором спустились на берег озера. Пески огненным ковром развернулись на солнце. Обувь жгла ноги. А вдали пылала голубая пустыня. Кинерет…

Вечером меня пригласили на «форум» уже избранной инициативной группы. Я вышел из флигеля для семейных и побрел сквозь апельсиновый сад, под густой россыпью подернутых изморозью звезд, прямо на звон гитары.

Инициативная группа успела уже основательно нагрузиться. За столом, уставленным пустыми бутылками, сидели человек шесть. Бородатый парень с библейским профилем пел,

аккомпанируя себе на гитаре. Рядом с ним пристроился Боря Геккер — его я уже знал немного. Счастливый человек, не ведавший сомнений, Боря отличался умением все устраивать и решать любые проблемы — если только они не носили интеллектуального характера. «Он заземлен, как громоотвод, — сказал о нем кто-то, — молния в него не ударит». Это правда, но деловая хватка его была изумительной. Боря шел к цели, как гончий пес. Он, инженер, не зная языков, сумел закончить спецкурсы в хайфском Технионе. Преподавателей штурмовал, как вражеский редут, добивал измором. И своего достиг. Но труд инженера в Израиле высоко оплачивается лишь в частных фирмах. Поэтому Боря, потрудившись на государственной ниве, перебрался в Нью-Йорк, где переквалифицировался в водителя такси.

— Тебе полагается штрафняк — сказал Боря, наливая полный стакан. И сразу перешел к делу: — Завтра будет создана молодежно-студенческая ассоциация выходцев из СССР. Я стану ее председателем. Так решили ребята. Мы хотим издавать свой журнал. Делать его будете вы. Ты, Фромер, и вот он, — Боря кивнул в сторону библейского персонажа, перебиравшего гитарные струны, — Миша Левин.

Все было, как сказал Боря. На следующий день состоялось учредительное собрание. Боря стал председателем, а мы с Левиным — редакторами еще не существующего журнала.

Сразу приступили к самому трудному.

— Как назовем? — спросил Левин. — Название журнала должно звучать, как боевой клич.

— «Иерусалим», — предложил я.

— «Мой народ», — выскочил Боря Геккер.

Левин усмехнулся:

— Тогда уж лучше «Ами».

* * *

Вообще-то, вышестоящие товарищи придавали съезду в Огало большое значение. Находившаяся тогда у власти Рабочая партия видела в нас, выходцах из страны «реального социализма», будущее пополнение редеющих партийных кадров. Тех, кто помогут дряхлеющей «старой гвардии» высоко держать партийное знамя. Как же глубоко мы все их разочаровали…

Прошло всего несколько месяцев, и лидеры рабочего движения поняли, что из России приезжают враги тех идеалов, которым они преданно служили всю свою жизнь. И тогда на

самых верхах интерес к репатриации из СССР резко снизился. «Зачем нам нужны избиратели Ликуда?» — стали поговаривать в партийных кулуарах. И хотя открыто против репатриации не посмел выступить никто, ее стали притормаживать.

Но все это было потом. У нас же на съезде выступили министр абсорбции Натан Пелед и Шимон Перес, занимавший в то время, как мне помнится, пост министра жилищного строительства. Пересу тогда не было и пятидесяти. Еще молодой, полный энергии, он произвел неплохое впечатление. Тем более что речь его была посвящена хроническому неврозу в израильско-арабских отношениях. Кое-что из его выступления врезалось в память.

— По долгу службы, — говорил Перес, — мне пришлось неоднократно беседовать с палестинскими общественными деятелями. Одному из них я долго пытался доказать, что евреи имеют право на эту землю. Я говорил об исходе из Египта, о том, что две тысячи лет назад здесь жили и создали великую цивилизацию мои предки. Мой собеседник молча слушал. Потом спросил: «Ну, а когда твои предки пришли сюда из Египта, здесь жили люди?» Да, ответил я, ханаанские племена. «Ну так вот, — усмехнулся он, — это были мои предки». Я понял, что спорить бесполезно.

Закончив выступление, Перес сошел с трибуны и отрывисто пожимал руки тем, в ком видел своих потенциальных избирателей. Мы попросили популярного министра дать интервью для первого номера «Ами». «Позвоните в мою канцелярию, и вам назначат время», — любезно ответил Перес. Мы звонили, но он то был очень занят, то находился за границей. Выступлением в Огало, по-видимому, и закончилась его роль в абсорбции.

* * *

Надо было издавать первый номер. Деньги, естественно, достал Боря. Мы даже получили комнатку для редколлегии в университетском комплексе в Гиват-Рам. Шансы нашей «фирмы» тогда еще котировались. Репатриант шел плотным косяком. Университетская библиотека даже выделила средства для пополнения своего русского фонда. Левин, забредя однажды в читальный зал, с удивлением увидел сваленные кучей в углу тома со знаменитым золотым обрезом. Брокгауз. Энциклопедия, ставшая похоронной мелодией раздавленной революцией культуры.

«Мы, — разъяснил библиотекарь, — получили новую советскую энциклопедию и списали старую». — «И можно это забрать?» — дрогнувшим голосом спросил Левин. «Сделайте одолжение», — сказал библиотекарь. Левин подарил мне выброшенного Брокгауза. Он и сегодня стоит на моих полках.

Первый номер мы сварганили на обычной пишущей машинке. Распространением его занимался Мирон Гордон, впоследствии дипломат, посол Израиля в Польше, а тогда — студент, усердно штудирующий политические науки, и воспитатель умственно отсталых детей. Неплохая школа для работы в нашем МИДе. Позже, в бытность свою в Москве, Мирон встречался с Ерофеевым и подарил ему третий номер «Ами», который у Венички тут же бессовестно позаимствовали.

* * *

Ассоциация наша тем временем фактически прекратила существование. Все разбрелись кто куда и занялись своими делами. Остался один Боря. Но он не унывал. Это он свел нас с членом исполкома Всеобщей федерации трудящихся хавером Сеней Каценельсоном. В Сене не было ни одного острого угла. Весь он состоял из приятных глазу овальных линий. Небольшой животик — признак довольства. Простая расстегнутая рубашка, подчеркивавшая пролетарское происхождение. Добродушное круглое лицо, внушающее доверие. Сносный русский, сохраненный из уважения к стране победившего социализма. Он долго отечески беседовал с нами, все время подчеркивая, какие большие надежды связывает с русской алией Гистадрут и лично хавер Бен-Аарон.

Как я уже говорил, кончилось все это тем, что вождь профсоюзов выписал нам чек. Сеня, желая произвести хорошее впечатление, даже не потребовал на предварительную цензуру публикуемые в журнале материалы. Очень скоро ему пришлось горько пожалеть об этом. Он позвонил нам вскоре после выхода второго номера. Его голос дрожал от обиды: «Забудьте к нам дорогу. Ваш журнал не только антисоветский, но и антисоциалистический. Вы популяризируете Жаботинского и этого реакционера Марголина. И вы даже не сочли нужным поблагодарить хавера Бен-Аарона».

Мы удрученно молчали. Да и что можно было сказать?

* * *

Вскоре после выхода второго номера нас вызвали в русский отдел МИДа.

«Нехемия», — представился пожилой, крепкий еще человек с военной выправкой, энергично пожимая нам руки. «Яка», — произнес второй, мужчина лет пятидесяти с живыми глазами, поднимаясь навстречу. Состоялся откровенный разговор. Нехемия говорил о том, какое огромное значение имеет для Израиля репатриация из СССР — плод закулисных контактов, тайных переговоров и усилий русского отдела МИДа. Мы, дескать, даже не представляем, какие влиятельные факторы были задействованы с целью убедить кремлевские власти, что репатриация евреев не является процессом политическим и не вызвана отрицательным отношением к советскому строю. Пробитая в «железном занавесе» брешь может ведь и затянуться. Поэтому МИД против того, чтобы прибывшие на историческую родину евреи афишировали свой антисоветизм. Вот почему издание в Израиле такого журнала, да еще в качестве органа студенческой ассоциации выходцев из СССР, крайне нежелательно. Тут Нехемия положил руку на лежащий на столе второй номер.

Наш ответ свелся к тому, что если в Израиле есть закон, запрещающий издание русскоязычного журнала без разрешения русского отдела МИДа, то мы, разумеется, уголовными преступниками не станем. Ну, а если такого закона нет, то уж не обессудьте. «Такого закона нет», — сказал Яка и усмехнулся. В глазах же у обоих читалось: «Слишком уж вы прытки, голубчики».

И после второго номера наступил длительный антракт.

* * *

Прошло больше года. Боря Геккер исчез из нашей жизни — кажется, уже водил такси в Нью-Йорке. Организация «Рога и копыта» давно прекратила свое существование. Два первых номера «Ами» стали библиографической редкостью. Мы, сделав несколько безуспешных попыток раздобыть средства для продолжения дела, которое нам, в общем-то, нравилось, разбрелись в стороны. Левин делал докторат. У меня были свои заботы.

Однажды Левин привел ко мне незнакомого парня с огненно-рыжей шевелюрой. Ни высокий, ни низкий, ни худой, ни полный, он произвел впечатление честолюбца, чувствующего себя выше занимаемого положения, но сомневающегося, признают ли это другие. «Фима Цал», — сказал он, протянув вялую руку.

«Ставь бутылку, — сказал Левин. — Фима издаст третий номер».

Оказывается, Фима, решившийся на политическую карьеру, вступил в Независимую либеральную партию, к тому времени агонизировавшую. Дело в том, что независимые либералы представляли собой осколок когда-то влиятельного политического движения. В движении произошел раскол. Большая часть партийного руководства вступила в коалиционный блок с Херутом, признав Бегина своим вождем и забрав с собой партийную кассу. «Меньшевики», не подчинившиеся воле большинства, отказались свернуть независимое партийное знамя. Но они потеряли и избирателей, и источники финансирования. Дни независимых либералов были сочтены, и в массовом исходе евреев из СССР они видели чуть ли не единственную свою надежду. Фима обещал им голоса «русских» избирателей и даже целый журнал. Забегая вперед, отмечу, что ни Фима, ни третий номер, ни даже сам Веничка их не спасли.

Но деньги они дали, и мы стали готовить третий номер. Вскоре он, в принципе, был готов. Не хватало лишь ударного материала.

«Обратитесь к Цукерману», — посоветовал нам Юлиус Телесие, написавший для третьего номера статью «Владимир Гершуни — мастер палиндромона». Юлиус, как орден Почетного легиона носивший в Москве титул «принца самиздатского», был ментором журнала.

Мы знали, что Борис Исаакович Цукерман считался видной фигурой в правозащитном движении. Свою задачу он видел в том, чтобы заставлять советские власти выполнять собственные законы. Помню, как поразил нас его памфлет, распространявшийся в самиздате после вторжения в Чехословакию. Борис Исаакович, с издевательским добродушием изложив все советские аргументы — «братская помощь», «интернациональный долг», «нерушимое единство соцлагеря» и т. д., — задал вопрос: в чем же повинен Советский Союз с точки зрения международных правовых норм? И пришел к выводу: в массовом нелегальном переходе чужой границы.

* * *

И вот мы у Бориса Исааковича. Хозяин, сгорбившись, восседает в кресле, немногословен и неразговорчив. Мы сбивчиво объясняем цель нашего визита, но даже не ведаем, прорываются ли наши слова сквозь вакуум, надежно ограждающий его от

внешнего мира. Лицо грустное, непроницаемое и словно навсегда обиженное. Становится ясно, что он, понимая все несовершенство человеческой природы, давно не ждет от общения с людьми ничего хорошего.

Мы кончили. Борис Исаакович долго молчит. Потом тихо спрашивает: «Какова программа вашего журнала?» Мы забормотали что-то о взаимодействии культур.

«Да», — сказал Борис Исаакович и надолго умолк. Минут через пять хозяин нарушил гнетущую уже тишину: «Знаете, я вот приобрел проигрыватель с особым адаптером. Сам кое-что сконструировал. Чистота звука изумительная». Он подходит к полкам и медленно, словно священнодействуя, ставит пластинку. Звучит музыка, вздымаясь и нарастая, как в исполнении соборного органа.

Действительно здорово. И мы даже не замечаем исчезновения хозяина. А он уже возвращается с пачкой глянцевой бумаги. Сфотографированные страницы уменьшенного объема. Строчки сбились в кучу, как овцы. «Ну и будет же работка у машинистки», — мелькает мысль.

Это он, Веничка.

Сказочная удача, как миллионный выигрыш в лотерею.

А музыка продолжает звучать…

Дальнейшее — дело техники. Две машинистки перепечатали Веничку. Перед самым выходом третьего номера меня забрали на сборы, а Левин сдавал экзамен. Наши тогдашние жены Илана и Наташа заклеили последние ошибки и отнесли готовый макет журнала в типографию.

* * *

Мой товарищ Владимир Гершович, друг всех известных правозащитников, в дни далекой молодости и сам игравший в опасные те игры, сказал мне много лет спустя:

«А ты знаешь, старичок, что вы издали единственный уцелевший экземпляр Венички? Я сверял потом. Все последующие публикации „Москва — Петушки“ — и на Западе, и в России — базируются на вашем тексте. Даже опечатки — и те ваши… К тому же все самиздатские копии имели предваряющую текст страницу с эпиграфом из „корифея всех наук“: „Эта штука посильнее, чем „Фауст“ Гете“. В вашем экземпляре эта страница была, к сожалению, утрачена. Поэтому Веничкино творение так и осталось без эпиграфа».

«А куда же подевался весь самиздатский Веничка?» —

поинтересовался я.

«Сгорел, — удивился такой наивности Гершович. — Тогда за самиздат уже сажали. Правозащитники сжигали весь криминал…»

Меня самого грязно-бурое пятно на паркете уличало в простительной, впрочем, человеческой слабости. Гэбисты расхохотались, придя ко мне с обыском. Уж они-то вмиг поняли генезис этого пятна… И вообще год был тяжелый. 1969-й. Шли обыски, аресты. Многое изымалось на шмонах. Самиздат, существовавший в основном на папиросной бумаге, сберечь было непросто. Да и кто думал тогда о сохранении культурных ценностей? В догутенберговский период погибли манускрипты величайших историков и мыслителей древности по той же причине. Не умели хранить…

В 1977 году Гершович даже послал Венедикту Ерофееву вызов в Израиль. После того как получил он из Москвы письмо от своего приятеля Владимира Гусарова — одного из первых публицистов самиздата, личности тоже легендарной, автора нашумевшей книги «Мой папа убил Михоэлса». Письмо с приложенной фотографией Венедикта кончалось адресом местожительства Венички.

Правила игры не оставляли сомнений. Ерофееву нужен был вызов, и Гершович это устроил. Но Веничка как раз женился. Ну и — ребеночек, тот самый, который в Петушках… Короче, Ерофеев никуда не поехал…

Вот, впрочем, представляющий для нас интерес фрагмент из этого письма:

«P.S. 1/3/77. Вчера весь день у меня был Веня, высокий, красивый, даже элегантный мужчина 38 лет. Мальчик, которого он упоминает (в своей поэме. — *В.Ф.*), учится в четвертом классе, круглый отличник, каким, вероятно, был и сам, пока все не забросил, но я не расспросил его, потому что сам тараторил, а он немногословен. Когда приведший его, увидев третью бутылку на столе, спросил, не делает ли он преступление перед литературой, Веня заметил: „Сегодня необходимо выпить — понедельник“. И — ко мне: „Покажите вашу любимую книгу“.

Я ответил, что здесь только то, чего не принимает ни один букинистический магазин, а Веня сказал, что Тютчева никогда не продаст, даже если останется без брюк. И брюки, и пиджак на нем весьма свежие и элегантные. Я ожидал увидеть деклассированного типа со странностями, но ничего подобного, если не считать, что он все время пил и курил, и, как мне казалось, оставался трезвым. Часов в 10–11 он уехал в троллейбусе на Флотскую 17, кв. 78, на свой 13-й этаж…»

* * *

Ну а мы сразу ощутили пустоту. Что-то невозвратное ушло из нашей жизни. Но Ерофеева с тех пор из виду не теряли. Он был рад, что его книга вышла в Израиле. Известному нашему поэту, посетившему его, уже неизлечимо больного, подарил Ерофеев свою фотографию с надписью: «Михаилу Генделеву, гражданину благороднейшего государства».

И вот, перед смертью, сотворил Ерофеев статью, настолько жидоедскую, что у получившего ее редактора «Континента» руки опустились. Тем более что предсмертная воля автора обязывала всенепременно печатать.

Мне думается, что метаморфоза эта вызвана далеко не однозначным отношением Ерофеева к роли евреев в русской культуре. Ерофеев видел в евреях неотторжимую часть российской интеллигенции, готовую разделить ее судьбу — пусть даже самую трагическую. Потому и воспринял он с таким болезненным надрывом еврейский исход из России. Известно ведь, кто бежит с тонущего корабля. Впрочем, юдофобский срыв Ерофеева произошел, когда смертельная болезнь уже не позволяла ему контролировать темные силы, заключенные в подспудных глубинах каждого из нас и проявляющиеся вдруг самым неожиданным образом.

В «Вальпургиевой ночи» Россия — это сумасшедший дом, обитатели которого гибнут, отравленные — без злого, впрочем, умысла — главным героем, евреем Гуревичем, погибающим вслед за хором под сапогами остервенелого надзирателя.

Гуревич настолько по-человечески привлекателен, что Ерофеева никто и не помыслил обвинять в антисемитизме. Как в Эсхиловом «Эдипе», в основе ерофеевской трагедии — вечная идея о неотвратимости судьбы и неизбежности возмездия.

«Вальпургиева ночь» с большим успехом шла в Израиле.

Поэма же Веничкина, переведенная на иврит Нили Мирской, долго возглавляла у нас список бестселлеров. Ставить «Москва — Петушки» собрался израильский Камерный театр. Так что в Израиле никакого невроза относительно Венички не существует. Говоря словами известного анекдота, вопрос об его антисемитизме «не стоит и стоять никогда не будет».

* * *

Я же, когда беру в руки ерофеевскую поэму, вижу кромешную ночь, разрываемую звуками одиноко бредущего куда-то пьяного

саксофона, и «полную печали высокую-высокую луну».

«Он между нами жил…»

Исайя Берлин взял эпиграфом к своему эссе «Встречи с русскими писателями» слова Ахматовой: «Всякая попытка связных мемуаров — это фальшивка. Ни одна человеческая память не устроена так, чтобы помнить все подряд. Письма и дневники часто оказываются плохими помощниками».

К этому я бы добавил, что мемуары вообще ущербный жанр, ибо человеку свойственно преувеличивать свою роль не только в жизни других людей, но и в мироздании.

Мои же воспоминания об Анатолии Якобсоне — не связные. Это субъективные заметки, писавшиеся в разные годы с единственной целью продолжить общение с ним, прервавшееся так внезапно из-за его преждевременной смерти…

Жалею, что не записывал его импровизаций. Лишь обрывки чего-то наплывут вдруг со дна памяти — и исчезнут, — как те огненные буквы, начертанные на стене невидимой рукой.

Толины дневники, опубликованные через десять лет после его смерти, оживили то, что укрыто в потаенных нишах памяти. Лишь тогда смутные обрывки стали более четкими и обрели хоть и расплывчатые, но все же устойчивые контуры.

* * *

Он был воспитан на русской литературе. Любил ее до полного самозабвения. Весь строй его души был сформирован ею. Но литература была для него не абстрактным понятием, а тем, чем является для растений чернозем, пропитанный влагой и питательными солями. Она включала весь окружающий мир, и, вырванный из него, утративший точку опоры, он шел уже не прежней твердой походкой, а прерывистой и неровной, как Агасфер, гонимый непреодолимой силой. В том повинен презираемый им режим, лишивший его единственно возможной для него среды…

Он принадлежал к поколению, сформировавшемуся уже после сталинского «ледникового» периода и сумевшему избавиться и от гнета страха, и от равнодушия к творящимся вокруг мерзостям. Далось это нелегко и не сразу, и не все избавились. Но точка отсчета идет от лучших, а не от худших.

Общаться с ним было легко, ибо он никогда не злоупотреблял своим интеллектуальным превосходством. Даже люди, страдающие от душевной скудости или непоправимо

обойденные жизнью, соприкасаясь с ним, забывали о своих комплексах. И хоть жил он на запредельных скоростях, ему до конца хватило взятого в России разгона. До конца сохранил он и способность интуитивно-безошибочного постижения сути вещей, часто встречающуюся там — в покинутой им среде особого духовного накала, и столь редкую здесь. Но нигде не обрел он покоя — состояния одинаково далекого и от радости, и от горя.

Его книге «Конец трагедии» суждена долгая жизнь. Это книга о судьбе русской интеллигенции, о трагедии, постигшей русскую культуру. И одновременно — это одна из лучших литературоведческих работ о Блоке. Прочнейший сплав филологии и писательства, который не столь уж многим удавался до него. Шаг за шагом проследил Якобсон последствия обрушившейся на Россию катастрофы и показал, что человеческая трагедия Блока как матрица накладывается на духовную трагедию русской интеллигенции.

И все же книга Якобсона не оставляет впечатления безысходности. Надежда для него и для нас, завороженных словесной магией и логическими построениями автора, кроется в предсмертных словах Блока: «Мы умираем, а искусство остается. Его конечные цели нам неизвестны и не могут быть известны. Оно единосущно и нераздельно».

* * *

«Конец трагедии» я прочел в 1973 году, вскоре после выхода книги в издательстве имени Чехова. Слушал я тогда курс университетских лекций по теории литературы у Омри Ронена. С годами Ронен стал профессором Мичиганского университета, одним из лучших исследователей русского модернизма.

Маленький, рыжий, похожий на Азазелло, Омри как-то сказал:

— Якобсон приезжает в Израиль и будет преподавать на нашем факультете. Мы с Сегалом все уже устроили.

Я удивился и обрадовался. И тут же спросил:

— А как тебе его книга?

— Литературоведческая часть безупречна, — ответил Омри.

А потом грянула Война Судного дня. Две с половиной недели длились военные действия, но полгода еще Израиль и Египет, как два ковбоя, уже вложившие в кобуру пистолеты, зорко следили друг за другом, опасаясь пропустить зловещий блеск в глазах противника.

Первый отпуск мне удалось получить лишь весной 1974 года.

Приехав в Иерусалим, уже не помню где, кажется у Сегала, встретился с Омри Роненом. От него узнал, что Якобсон приехал, живет в центре абсорбции.

И вот мы поднимаемся по крутой лестнице. Я волнуюсь. Для меня Якобсон был не только автором замечательной книги, но и одним из творцов легендарной «Хроники».

Открыла Майя. Познакомились. Сидевший в кресле человек даже не повернул головы. Темные, аккуратно зачесанные назад волосы. Тяжелые, усталые губы. Неправильные броские черты лица. Но нет блеска в глазах, и веет от него холодной угрюмостью. Пили чай. Майя расспрашивала о войне. Толя не произнес ни одного слова, и я подумал, что он просто замкнутый человек, который не терпит контактов с людьми случайными.

Прошло три месяца. Был вечер. Я брел куда-то по одной из центральных иерусалимских улиц. Закатное небо зажигало крохотные малиновые искорки на матовой скорлупе фонарей. Вдруг ко мне, как сорвавшийся с привязи медведь, бросился какой-то человек и схватил за руку. Уходящее солнце било в глаза, и я не сразу разглядел его лицо.

— Ты тот самый солдат, который приходил ко мне и рассказывал о войне, — сказал он, и я узнал его. — Я был болен тогда. Не мог говорить. Но я все помню. А теперь я совсем здоров. Смотри!

И, чтобы продемонстрировать свое здоровье, он тут же попытался поднять за рессоры одну из стоящих у обочины машин.

Через пять минут я чувствовал себя так, словно мы были знакомы всю жизнь. Почти до рассвета пробродили мы по узким иерусалимским улицам, размахивая руками, перебивая друг друга. И почему-то значительной и важной кажется мне та наша встреча, хоть я и не помню уже, о чем мы тогда говорили. Может быть, потому, что в тот вечер почувствовал я в нем человека огромного дарования, любящего и страдающего.

Потом он приходил к нам чуть ли не каждый день. Дверь у нас обычно не запиралась, и он сразу врывался в комнату, заполнял ее собой, огромный, грузный и одновременно изящный и быстрый, как кавалер Глюк. К радости моего сына Амира, пушистым белым шаром вкатывался вслед за ним пес «Том с хвостом», всюду сопровождавший тогда хозяина. Осваиваясь, Толя ни минуты не сидел спокойно. Подходил к полке, снимал какую-то книгу. Читал вслух, тут же комментируя прочитанное. О чем-то рассказывал рокочущим громким голосом, одновременно разыгрывал со мной партию в шахматы. Наконец, надолго устраивался в своем любимом кресле, как путник, дождавшийся желанного отдыха.

Чувство юмора, без которого не существует полноценного человека, было у него отменное. Хвастался, что ему однажды удалось перешутить знаменитого московского острослова Зяму Паперного, одарившего присутствующих свежеиспеченным афоризмом: «Ум хорошо, а х… лучше». Толя мгновенно откликнулся: «Кто с умом да с х… — два угодья в нем».

Любил острое словцо, хорошую шутку, соленый, но не скабрезный анекдот. Его шутки часто носили характер стихотворных экспромтов. Он даже изобрел новый жанр — двустишие, в котором первая строка русская, а вторая ивритская. Как-то выдал, печально глядя на пустой фиал за накрытым столом: «Глаза косит, *нигмера косит*» — т. е. опустела рюмка.

Был добрым, тонко чувствовал чужую боль, чужое страдание. Но мог и вспылить, и нагрубить. Сам же страдал от этого и мирился потом бурно, радостно.

Любил делать друзьям подарки. Ему нравился сам процесс дарения, приятно было доставлять людям радость. У меня висит подаренный им портретный силуэт Ахматовой. Ее медальный горбоносый профиль четко вырисовывается на фоне Невы и Петропавловской крепости.

К детям и женщинам относился бережно, по-рыцарски. Они это чувствовали и одаривали его привязанностью и любовью.

Когда я пересказал пятилетнему Амиру басню «Стрекоза и муравей», он спросил: «Папа, а правда, муравей был плохой?»

Якобсон сказал по этому поводу: «Как сильно развито в детях чувство справедливости и как жаль, что у большинства из них оно проходит, когда они вырастают».

Пил он много. Но в его пристрастии к алкоголю не было патологии. И в последние годы в России, когда он ходил по лезвию, и здесь, в Израиле, выпивка взбадривала его, помогала держаться. На самом же деле застолье ценил он больше опьянения. Однажды обронил, задумчиво вертя в руке только что опорожненную рюмку:

— Сколько я встречал людей угрюмых, неразговорчивых, которые, опрокинув стопку-другую, превращались вдруг из собутыльников в интересных собеседников.

* * *

— Толя, — сказал я как-то, — хочешь свежий литературный анекдот?

— Валяй, — оживился он.

— Два интеллигента входят в московский книжный магазин.

Первый спрашивает: «Может ли один человек нажить себе брюшко на дистрофии другого?» — «Ты о чем?» — удивляется второй. «А вот, — и первый указал на толстенную книгу на прилавке: „Лева Задов. Жизнь и творчество Александра Блока“».

Толя усмехнулся, раскуривая трубку:

— Ну, какой же это анекдот? Знал бы ты, сколько этих трупоедов я перелопатил, работая над книгой о Блоке.

И тогда я задал вопрос, давно вертевшийся на языке:

— Толя, а почему ты в «Конце трагедии» полемизируешь с этими трупоедами? По-моему, это единственный недостаток твоей книги.

Он ответил сразу, не задумываясь:

— Я не мог этого избежать. И не с ними я полемизировал, а с силой, стоявшей за их спиной.

Его монументальной чеканки статья «О романтической идеологии» в первоначальном виде была лекцией, прочитанной в Москве, в школе для одаренных детей. Это о том, как поэты-романтики двадцатых годов взахлеб славили карающий меч революции, ибо верили, что возвышенные ее цели оправдывают любые средства. Якобсон доказал, что психологическая атмосфера, без которой великий террор был бы невозможен, создавалась при активном участии «поэтов хороших и разных», «ваятелей красных человеческих статуй». Его работа, блистательная по глубине анализа, выигрывает еще и благодаря мастерски подобранным цитатам из Багрицкого и Голодного, Антокольского, Тихонова и прочих.

— Толя, — сказал я, — жаль только, что ты не упомянул вот эти строфы веселого, добродушного поэта, не имеющие, на мой взгляд, аналога в мировой литературе:

В такие дни таков закон:
Со мной, товарищ, рядом
Родную мать встречай штыком,
Глуши ее прикладом.

Нам баловаться сотни лет
Любовью надоело.
Пусть штык проложит новый след
Сквозь маленькое тело.

Он взъерошил волосы и сказал с видимым сожалением:

— Забыл! Ну и черт с ним! Светлов — и как человек, и как поэт — был славным малым. К тому же стихотворение, которое ты цитируешь, называется «Песня». Он там признается в конце:

написал, мол, все это для того, чтоб песня получилась. — И, помолчав, добавил: — Впрочем, другие тоже с самыми благими намерениями писали. А что вышло?

* * *

Анну Андреевну Ахматову он боготворил. Охотно говорил о ее поэзии, но не любил рассказывать о своих встречах с ней, считая это почему-то чуть ли не кощунством.

— Толя, — прошу, — расскажи про Анну Андреевну.

— Ну, что там рассказывать, — отвечает неохотно. — Разве можно описать, какой она была? Ну, любила хорошее вино. Я приходил к ней с бутылочкой, которую мы потихоньку распивали. Но так, чтобы нашего «загула» не видела Лидия Корнеевна Чуковская. Анна Андреевна побаивалась своего «капитана». Часто я просил: «Анна Андреевна, давайте почитаем стихи. Вы мне — Ахматову, а я вам — Мандельштама».

Впрочем, бывали у нас и «ахматовские вечера», когда мы говорили только о ней. Вернее, говорил Толя, а я благодарно слушал. Это он за год до своей смерти подарил мне ее книгу «О Пушкине».

Пушкинистские работы Ахматовой Якобсон расценивал по гамбургскому счету. Считал, что, полностью сохранив научность мышления, обязательную для исследователя, она с великолепной непринужденностью перешла грань, отделяющую литературоведение от литературы. Так возникла ахматовская проза, уникальная, как ее стихи, со скользящей ахматовской иронией, с победительным ритмом, величественным лаконизмом, обжигающей пристрастностью.

— Пушкин для нее никогда не умирал, — говорил Толя, — она знала его биографию со всеми ее причудливыми изгибами так же хорошо, как и его творчество. Она переживала пушкинские горести и печали, как свои собственные. Она остро, по-бабьи, жалела его за то, что он совершил роковую ошибку, женившись на предавшей его Наталье Николаевне. Анна Андреевна сама выбрала Пушкину жену. По ее мнению, идеально подходила ему Екатерина Ушакова, которая его любила, понимала и не предала бы никогда.

Как-то я спросил, как он относится к бытовавшей одно время версии о том, что в день дуэли у Дантеса под сюртуком была кольчуга, спасшая ему жизнь.

— Чепуха, — сказал Толя резко. — Анна Андреевна версию эту решительно отвергала, хоть и ненавидела Дантеса всей

душой. Дантес подлец, конечно, но не трус. Дворянин, шуан, кавалергард и помыслить не мог ни о чем подобном. И дело не только в кодексе дворянской чести. Риск был слишком велик. А если бы об этом узнали? Дантес был бы тогда конченым человеком. Не только в России — везде.

Запись в дневнике 15.8.1974: *Ее последняя — и самая страстная в жизни — любовь: Исайя Берлин. Роман начался (и тут же кончился, он вернулся в Британию), когда ей было примерно 56 лет. Она считала, что он причина распятий 46 года.*

За тебя я заплатила чистоганом.
Ровно десять лет ходила под наганом.
Ни налево, ни направо не глядела,
А за мной худая слава шелестела.

Вся поздняя лирика Ахматовой посвящена И. Б. Она увиделась с ним в Лондоне за год до смерти. Что было за свидание? Что за разговор? Тайна. И останется тайной. Она любила его до последней секунды… Писала о своем тайном браке с ним, о браке, скрытом и от людей, и от Бога.

Тут не избежать маленького отступления.

Судьба к человеку равнодушна. Она для него не делает абсолютно ничего. Человек же готов на все, чтобы его судьба выглядела величественнее, роскошнее, благороднее, чем это есть на самом деле. Сэр Исайя Берлин в этом смысле редчайшее исключение, ибо судьба сама добровольно пошла к нему в служанки. Он ради этого и пальцем не пошевелил. Она же до конца его долгой жизни продолжала осыпать его своими дарами. Берлин и кавалер самых почетных орденов, и лауреат всех мыслимых наград и премий. В коллекции его только Нобеля не хватает.

Принимая премию Иерусалима из рук мэра Тедди Колека, Берлин сказал: «По крови я еврей. По воспитанию англичанин. А по неистово-пристрастному отношению к культуре — русский».

Встреча Берлина с Ахматовой в ноябре 1945 года в Ленинграде стала самым пронзительным событием его жизни и, как он сам отметил, навсегда изменила его внутренний кругозор. Именно эту встречу считал он ценнейшим даром судьбы. Посвящением же ему шедевров ахматовской лирики дорожил чрезвычайно, ибо сознавал, что из всех пропусков в бессмертие — этот самый надежный.

* * *

— Толя, — говорю после очередной партии в шахматы, — роман Анны Андреевны с «гостем из будущего» носил, разумеется, платонический характер. Он ведь запоздал с рождением. Был на целых двадцать лет моложе. И это досадное несовпадение…

— Ровным счетом ничего не значит, — перебивает Толя и надолго замолкает. Раскуривает трубку. Колеблется, продолжать ли разговор на столь щекотливую тему. Но продолжает: — Анна Андреевна из тех женщин, что не имеют возраста. Те, кто знали ее в те годы, говорят, что она все еще была очень хороша. Но мы не имеем права рассуждать об этом. Скажу только, что возникновение Берлина среди «мрака и ужаса» тех дней она восприняла как настоящее чудо. Он же сразу понял, насколько она неповторима и замечательна, и этого ничто не могло изменить. Стерлись грани между мыслимым и немыслимым. Оба всю жизнь ждали чего-то невыразимого, какого-то невероятного потрясения. В царстве, которым правил всемогущий упырь, Берлин встретил гонимую, преследуемую королеву. Прекрасную Даму, олицетворявшую скорбь и гордость. Ту самую, которую всю жизнь искал Владимир Соловьев и воспел Блок. Это не они нашли друг друга, а их души, вступившие в небесный брак… Анна Андреевна не пожелала встретиться с ним, когда он вновь приехал в Россию в 1956 году, потому что Берлин к тому времени успел жениться. Для нее это было равнозначно осквернению таинства их отношений. А может, потому с ним не встретилась, что стала уже грузной, располневшей, и не хотела, чтобы он такой ее запомнил. Факт, что женитьба Берлина не помешала их встрече в Лондоне за год до ее смерти…

В той же дневниковой записи 15.8.1974: *Мария Петровых не оценила Мандельштама как поэта только потому, что он за ней так энергично ухаживал, а она его — как мужчину — не воспринимала. Был у нее роман с Пастернаком в Чистополе. А потом насмерть полюбила Фадеева.*

Марию Сергеевну Петровых Якобсон высоко ценил и как человека, и как поэта. От него я узнал, что стихотворение Мандельштама «Мастерица виноватых взоров» — шедевр русской лирики всех времен — посвящено ей. На мой недоуменный вопрос, как же она могла не воздать должного такому поэту, Толя, усмехнувшись, ответил именно так, как записано в его дневнике:

— Могла, потому что не воспринимала его как мужчину. И до лампочки ей была вся его гениальность. Женщины ведь любят не за что-то, а почему-то.

Запись в дневнике 12.8.1974: *Эпизод с чемоданом (пусть немец несет) — «А. Солженицын. Архипелаг Гулаг». Нечего валить на офицерскую школу, нечего валить на советскую власть. Вы по природе своей — танк, но очеловечиваетесь постепенно. Желаю дальнейших успехов на этом поприще.*

А. А. рассказывала мне. Исаич пришел и прочел свои стихи (она мне: «вирши»). Она: «Не кажется ли вам, что в поэзии должна быть какая-то тайна?». Он: «А не кажется ли вам, что в вашей поэзии чересчур много тайны?»

— Лишь советский жлоб мог сказать А. А. такое, — негодовал Толя, вспоминая этот эпизод. — Солженицын не понимал, что поэзия и проза абсолютно разные вещи. Толстой в юности тоже писал стихи, но ведь Фету их не показывал.

Прозаическая «продукция» Солженицына тоже оставляла Толю равнодушным. Безоговорочно принимал он только «Архипелаг Гулаг».

— Тебе не кажется, — спросил я как-то, — что получи Солженицын Ленинскую премию за «Ивана Денисовича» — и стал бы он преуспевающим, слегка фрондирующим советским писателем? И не было бы ни «Архипелага», ни Нобеля, ни высылки.

— Нет, — с ходу отмел Якобсон. — Солженицын еще с лагерных времен ощущал в себе пророческий зуд. Он все равно попытался бы влиять на режим. А поскольку любая эволюция с этим режимом несовместима, то и конфронтация его с Солженицыным была неизбежной. Он обронил где-то в «Теленке»: «Я — меч в руках божьих».

Кредо — жутковатое, освобождающее человека от нравственного самоконтроля…

С Лидией Корнеевной Толя дружил, переписывался, часто звонил ей в Москву. Иногда из моего дома. На моих глазах пробежала между ними «черная кошка»:

— Прощайте, Лидия Корнеевна, — сказал он сдавленным голосом, бросил трубку и, даже не взглянув на меня, выскочил из дома с такой быстротой, словно за ним гнались фурии.

Толя, как оказалось, пытался убедить Лидию Корнеевну в том, что человек, пользующийся ее безусловным уважением и доверием, этого не стоит. Но разве можно добиться такого на

разделяющем расстоянии в тысячи километров?

Из современных поэтов Якобсон выше всех ставил Давида Самойлова, близкого своего друга, и сердился на меня из-за прохладного отношения к его музе. Пытаясь меня переубедить, Толя часами читал вслух его стихи. Слушал я охотно, но оставался при своем.

Как, впрочем, и Якобсон в оценке Бродского. Его стихов после 1968 года не любил. Не принимал. Я спорил до хрипоты, убеждал, доказывал.

— Ну, прочти вслух стихи, которые тебя особенно впечатляют, — предлагал он. Я читал. Он морщился: — Вместо поэтики движения — риторика, ораторство. У него форма управляет воображением, а дело ведь не в технике, пусть даже восхитительной. Нет у него прозрений, без которых не может быть великой поэзии. Ну-ка прочти еще раз это вот, любимое твое, «На смерть друга».

Стихи он всегда слушал внимательно, даже если они ему не нравились. С чуть насмешливой улыбкой сказал:

— Ритмическое облачение великолепно. Стих течет, переливается, искрится, держится на одном дыхании. Но, скажи на милость, как понимать вот эти строчки: *«Где на ощупь и слух наколол ты свои полюса / в мокром космосе злых корольков и визгливых сиповок»*? Что такое королек, знаешь? А сиповка? Нет? Я так и думал. Женские гениталии на блатном жаргоне. Так к чему вся эта риторика?

Дневниковая запись 21.12.1977: *Пастернак и Мандельштам — вершины метафорического письма и его преодоление. Ахматова — сплошное преодоление. Бродский — его декаданс. Поначалу в ярко талантливом проявлении; чем дальше, тем больше в виде собственного упадка. По слабеющим следам Бродского, зверя сильного, идут шакалы, пожирающие его отбросы, отходы, затем извергающие их в виде собственного творчества (не такова ли вся ленинградская молодая плеяда? И молодая Москва небось не чище. Стервятники.)*

Незадолго до смерти он, продолжая наш незавершенный спор, прочитал мне отрывок из последнего письма Лидии Корнеевны. Цитирую по памяти, но за смысл — ручаюсь: «Не понимаю, что сделало Бродского первым поэтом своего поколения. Почему во многих интеллигентных домах Москвы и Ленинграда висят его портреты. Передо мной лежат четыре его сборника. Мне его стихи кажутся на грани гениальности и графомании. Разъясните, пожалуйста, в чем тут дело».

— Ну, — спрашиваю, — и что же ты ей напишешь?

— А то и напишу, что грань перейдена, только не в ту сторону, — сердито ответил Толя.

* * *

Поэтом-переводчиком он был превосходным. Стихи Лорки, Эрнандеса, Готье, Верлена в его переводах равнозначны подлиннику. Якобсон изумительно чувствовал взаимосвязи между звуковым обликом и тематикой, между пульсирующим движением стиха и смыслом и воспроизводил их с блистательной виртуозностью. Он находил точные языковые эквиваленты для передачи тончайших особенностей оригинала: тональности, регистра речи, образности, ритма, колорита и т. д.

Как-то рассказал я ему, как искал Апта — великолепного переводчика европейской прозы. Дело в том, что роман Томаса Манна «Иосиф и его братья» поразил меня не только сам по себе, но еще и мастерством перевода.

Апт добился настоящего чуда. Воссоздал до мельчайших деталей величественный собор Манна, используя совсем иной строительный материал. Вот я и решил, что тот, кто так владеет языковыми ресурсами, обязательно должен сам творить. Занялся поисками — и нашел аптовское оригинальное «творение». В библиотеке Иерусалимского университета оказалась его книжка «Жизнь и творчество Томаса Манна». Уже одно название не сулило ничего хорошего. Так и оказалось. Я открыл ее — и похолодел. Мертвые слова не давали ни малейшего понятия об истинных возможностях этого человека.

— Да, — сказал Толя, — есть люди, которые могут творить, лишь когда ими руководит чужая воля, помноженная на талант и воображение. А я в поэзии — чем не Апт? Ты, например, в восторге от моих переводов. И не только ты. А вот собственного поэтического голоса у меня нет. Хорошо хоть, что это не главное занятие в моей жизни…

В Израиле Якобсон только один раз вернулся к любимой когда-то работе. По моему подстрочнику перевел он стихотворение Мицкевича «К русским друзьям». И как перевел!

С риском быть обвиненным в тщеславии, отмечу, что эта Толина работа посвящена мне. На переводах посвящение не ставится. Это — невидимый орден. Носить нельзя, а гордиться можно.

К РУССКИМ ДРУЗЬЯМ

Вы — помните ль меня? Когда о братьях кровных,
Тех, чей удел — погост, изгнанье и темница,
Скорблю — тогда в моих видениях укромных,
В родимой череде встают и ваши лица.

Где вы? Рылеев, ты? Тебя по приговоре
За шею не обнять, как до кромешных сроков, —
Она взята позорною пенькою. Горе
Народам, убивающим своих пророков!

Бестужев! Руку мне ты протянул когда-то.
Царь к тачке приковал кисть, что была открыта
Для шпаги и пера. И к ней, к ладони брата,
Пленённая рука поляка вплоть прибита.

А кто поруган злей? Кого из вас горчайший
Из жребиев постиг, карая неуклонно
И срамом орденов, и лаской высочайшей,
И сластью у крыльца царёва бить поклоны?

А может, кто триумф жестокости монаршей
В холопском рвении восславить ныне тщится?
Иль топчет польский край, умывшись кровью нашей,
И, будто похвалой, проклятьями кичится?

Из дальней стороны в полночный мир суровый
Пусть голос мой предвестьем воскресенья
Домчится и звучит. Да рухнут льда покровы!
Так трубы журавлей вещают пир весенний.

Мой голос вам знаком! Как все, дохнуть не смея,
Когда-то ползал я под царскою дубиной,
Обманывал его я наподобье змея —
Но вам распахнут был душою голубиной.

Когда же горечь слёз прожгла мою отчизну
И в речь мою влилась — что может быть нелепей
Молчанья моего? Я кубок весь разбрызну;
Пусть разъедает желчь — не вас, но ваши цепи.

А если кто-нибудь из вас ответит бранью —
Что ж, вспомню лишний раз холопства образ жуткий:

Несчастный пес цепной клыками руку ранит,
Решившую извлечь его из подлой будки.

Тут опять не избежать отступления.

Якобсон не был пушкинистом. Сфера его литературоведческих интересов ограничивалась двадцатым веком. Но любовь к Пушкину — та самая лакмусовая бумажка, по которой безошибочно узнаешь российского интеллигента, — была у него в крови.

Все пушкинское знал превосходно. Читал его всю жизнь, говорил, что никогда не надоедает. Однажды я пожаловался, что не могу разгадать цензурную загадку в стихотворении «П. Б. Мансурову».

Павел Мансуров, приятель Пушкина еще с лицейских времен, офицер конноегерского полка, был влюблен в воспитанницу школы благородных девиц Крылову. Строгие нравы этого заведения препятствовали интимной близости, и Пушкин утешает приятеля:

Но скоро счастливой рукой
Набойку школы скинет,
На бархат ляжет пред тобой
И …… раздвинет.

— Толя, — говорю, — не могу найти выброшенного цензурой слова. Что раздвинет? Тут какое-то ритмическое прокрустово ложе. Мое скудное воображение бессильно.

— Ты не там ищешь, — засмеялся Якобсон. — Не что, а чем. Цензура выбросила невиннейшее слово «пальчиком», потому что оно придавало концовке стихотворного послания совсем уж неприличный смысл.

Наши литературные разговоры часто шли по пушкинской орбите.

Меня же тогда интересовали сложные отношения Пушкина с Мицкевичем. Я даже написал довольно обширную работу на эту тему, затерявшуюся в кутерьме и неустроенности последующей моей жизни. А жаль, потому что запечатлелся в ней отголосок тогдашних наших бесед. После стольких лет я могу лишь весьма отдалено восстановить их содержание и тональность: дружба двух великих славянских поэтов — сказочка, придуманная советскими литературоведами.

Пушкин ставил Мицкевича как поэта выше себя, восхищался его импровизаторским даром. Импровизатор не творит, а

растворяется в неземной силе, говорящей его устами, что воспринималось Пушкиным как высшая и чистейшая форма поэзии.

Но к 1828 году, на который выпадает их основное общение, Пушкин еще не распрощался с безумствами своей юности, цеплялся за нее — уходящую. Его тяготила нравственная безупречность Мицкевича, его мрачная духовная мощь. В польском поэте было что-то от пророка, а пророки мрачны, ибо души их улавливают из будущего тревожные импульсы.

Импровизатору в «Египетских ночах» Пушкин придал черты Мицкевича — и какой же он там неприятный. К тому же Мицкевич, всецело поглощенный национальной идеей, отличался особой цельностью, основанной на единой внутренней системе виденья. Пушкину подобная цельность была чужда. В его светлом даровании, настежь распахнутом перед многоголосием мира, нет ничего пророческого. И если Мицкевич — воплощение эпичности, то Пушкин — гармонии. Сфера первого — мысль. Сфера второго — чувство.

Чувство и сблизило поэтов. Оба увлеклись польской красавицей Каролиной Собаньской — женщиной с «огненными глазами». Друзья называли ее «демоном». Друг Пушкина Соболевский говорил, что была в ней какая-то странная томительная истома, превращавшая мысль о возможности обладания этой женщиной почти в наваждение. Собаньская не упустила случая увенчать список своих побед именами двух великих поэтов. Оба обессмертили ее своими стихами. Оба чувствовали в ней какую-то тайну, которую им не суждено было разгадать.

Тайна раскрылась после революции, когда стали доступными для исследователей архивы царской охранки. Выяснилось, что Собаньская была штатным агентом Бенкендорфа и снабжала Третье отделение доносами на своих ближайших друзей, в том числе и на Пушкина с Мицкевичем.

Общение славянских поэтов шло в двух плоскостях: поэтической — Пушкин даже перевел несколько стихотворений Мицкевича, и чувственной — страсть обоих к «демону».

В 1829 году Мицкевича выпустили из позолоченной петербургской клетки, и он уехал за границу. Потом грянуло польское восстание, жестоко подавленное. Пушкин, вообразивший на какое-то время, что поэт обязан быть «рупором народным», лягнул падшую Польшу в двух стихотворениях: «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». Для Мицкевича не прошло незамеченным это глумление над его отчизной, что и отразилось в стихотворном послании «К русским

друзьям».

Мицкевич прямо имени Пушкина не упоминает, но тот имел все основания отнести на свой счет хотя бы вот эти две строчки: *«А может, кто триумф жестокости монаршей / В холопском рвении восславить ныне тщится?»*

Никто и не тщился, кроме Пушкина…

Общение Пушкина с Мицкевичем перешло в дальнейшем в сферу политическую, хоть и выражалось поэтическими средствами.

Концовка стихотворения Мицкевича исключала возможность прямого ответа, и Пушкин отвечает ему косвенно, в «Медном всаднике», где полемизирует с оценкой исторических перспектив России, содержащейся в «Дзядах».

Нравственная позиция Мицкевича была неуязвима. Пушкин это понимал. Но упрек Мицкевича сидел в нем, как заноза, от которой следовало избавиться. Это произошло лишь в 1834 году, когда Пушкин создал стихотворный набросок «Он между нами жил», завершающийся так: *«— Но теперь / Наш мирный гость нам стал врагом — и ядом / Стихи свои, в угоду черни буйной, / Он напоял. — Издали до нас / Доходит голос злобного поэта, / Знакомый голос! Боже! Освяти / В нем сердце правдою твоей и миром / И возврати ему»*.

— Как жаль, что стихотворение осталось незаконченным, — сказал я. — Что «возврати»? Что имел в виду Пушкин? Тут — обрыв.

— Оно закончено, — возразил Толя. — Пушкин просто не хотел повторять то, что уже написал в «Борисе Годунове»: *«Да ниспошлет Господь любовь и мир / Его душе страдающей и бурной»*. Пушкин, конечно же, понимал правоту Мицкевича и, упрекая его, на самом деле упрекал себя. Ведь это он, в «угоду черни буйной», «ядом напоял» свои антипольские стихи. Ты знаешь мое отношение к Пушкину, но в их споре я целиком на стороне Мицкевича. Да и Пушкин, по сути, был на его стороне — быть может, сам того не сознавая.

«Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» — далеко не лучшие пушкинские творения. А вот «К русским друзьям» — шедевр европейской лирики. И я обязательно переведу Мицкевича, как только получу от тебя подстрочник. Не оставлять же в хрестоматиях перевод Левика.

Перевод, о котором упоминает Якобсон, действительно считался хрестоматийным в Советском Союзе, хоть Левику и не удалось воспроизвести ритмическую поступь и интонационную динамику оригинала. Местами он даже умудрился исказить ход мысли автора. У Мицкевича сказано: «…klatwa ludom, co swoje

morduja proroki…». (Дословно: «…проклятье народам, убивающим своих пророков»). А Левик переводит: «проклятье палачам твоим, пророк народный», не только упрощая, но и искажая Мицкевича. Перевод же Якобсона — не слепок с оригинала, а живое воспроизведение, пусть и не воссоздающее в мельчайших деталях каждую подробность подлинника, зато обладающее теми же качествами.

Завершив работу над переводом Мицкевича, Якобсон еще успел отправить его в Москву Лидии Корнеевне, мнение которой ценил чрезвычайно. Оценка Л. К. его обрадовала, хотя ее критических замечаний — не принял и продолжал считать строфы о Рылееве и Бестужеве своей творческой находкой.

Чуковская писала: «Итак, о Мицкевиче: прочла Ваш перевод. Он замечателен богатством словаря академического и переводческого; такие словесные находки, как „погост“, „череда“, и „срам орденов“ (браво!), „вещают пир“. Да и кроме словесного богатства — поступь стиха передает величие, грозность. Но и недостатки представляются мне существенными. Две ударные строфы — о Рылееве и Бестужеве — не ударны, не убедительны, потому что синтаксически сбивчивы. „Рылеев, ты?“ Найдено очень сердечно, интимно, а дальше — „она (шея) взята позорною пенькою“ — сбивчиво, и вся строфа искусственна. То же и Бестужев. Даже до смысла я добралась не сразу, запутавшись в руке и кисти, тут синтаксис нарушен, то есть дыхание… Перевод Левика ремесленная мертвечина, механическая. Вы его кладете на обе лопатки. Рядом с Вашим он похож на подстрочник».

23 февраля 1842 года друг Пушкина Александр Тургенев, брат «хромого Тургенева» из декабристских строф «Онегина», записал в своем дневнике: «На последней лекции я положил на его (Мицкевича) кафедру стихи Пушкина к нему, назвав их „Голос с того света“».

Этот список стихотворения «Он между нами жил» с надписью Тургенева хранится сегодня в музее Мицкевича в Париже.

Так уж получилось, что надпись эту — «Голос с того света» — можно отнести и к переводу стихотворения «К русским друзьям», сделанному Анатолием Якобсоном незадолго до смерти.

* * *

Знакомых у него была уйма. А вот друзей близких здесь, в Израиле, не так уж много. До конца близким человеком была его первая жена Майя. Привязан он был к Володе Гершовичу, которого знал еще по той, московской, жизни.

Был у него «медовый месяц» с Эли (Ильей) Люксембургом. Помню, пришел — и с порога:

— Илья написал крепкий рассказ «Боксерская поляна». — В глазах светилась радость за товарища.

А однажды явился какой-то странный.

— Я сейчас с Ильей дрался, — говорит.

— Как — дрался?

— А так. Предложил ему подержать меня на лапах. Побоксировать. Ну, надели перчатки. Работаем в салоне. Все нормально. Вдруг Илья — бац, бац — наносит несколько молниеносных ударов поверх моих перчаток. И смотрит с любопытством. Как, мол, прореагирую? Кровь бросилась мне в голову. Ладно, думаю, минуты две продержусь. И ринулся в рубку. Картины полетели. Ханка завизжала.

— Ну и дальше что? — спрашиваю. Мне уже интересно.

— Илья, конечно, не провел знаменитого своего апперкота, — с каким-то даже сожалением говорит Толя. — Прекратил бой.

Так рассказывал московский боксер-второразрядник Анатолий Якобсон о единственном своем бое в Израиле. И не с кем-нибудь, а с самим Ильей Люксембургом, мастером спорта, полуфиналистом Союза, встречавшимся когда-то на ринге со знаменитым Агеевым.

Потом их дружба пошла по ухабам, опрокинулась, разбилась. Но пусть лучше об этом скажет сам Эли Люксембург:

> «Первый серьезный разрыв у нас вышел из-за „Прогулки в Раму“. Он был первым читателем этой вещи. Я вообще отдавал на его суд — последний и первый — все, что шло у меня в ту пору.
>
> Меня удивила его оценка. Абсолютное неприятие, я бы сказал — генетическая ко мне враждебность: „Ты этот рассказ не должен печатать, ты лучше его порви. Вся идея его антигуманная, фашистская. Я только не понимаю, как ты его написал, именно ты!“
>
> Я что-то ему возражал. Что выразил этой вещью многую муку, многую боль, что схоронил этим многих своих чертей, мучавших совесть, — изгнал их и выдрал. Что больше там нет ничего. Больше там нечего ему искать…Уже тогда я все понимал: моя духовная биография, взращенная на повелениях и предсказаниях наших пророков, чье исполнение состоялось на мне, на нашем с ним поколении, моя мораль столкнулась с его моралью — русского демократа, всосавшего в себя чуждые мне соки православной религии, и вот на этом

стыке возникла искра, яркая вспышка. И эта вспышка доводила нас обоих впоследствии до бешеной ярости».

Толя не принял узловую идею рассказа «Прогулка в Раму».

Автор размышляет там о последствиях непослушания царя Саула воле Господней, возвещенной ему пророком Самуилом: «Иди и порази Амалека и истреби все, что у него — от мужа до жены, от отрока до младенца, от вола до овцы». Саул же и народ пощадили Агага, царя амалекитян. А тот, прежде чем убил его Саул по настоянию Самуила, успел познать женщину, и от семени его пошли заклятые враги Израиля. Злокозненный Аман, например.

По Люксембургу, все наши беды — от своеволия, оттого, что кислотой скептицизма нашего мы волю Господа проверяем — а это грех наказуемый. Ибо ведает Он, что творит, а мы — не ведаем.

Якобсон же размышлял подобно Саулу, который, согласно Агаде, воззвал к Вседержителю: «Господи! Если погрешил человек, чем повинно животное? Если грешны взрослые люди, чем дети виновны?»

Люксембург, однако, не прав, утверждая, что Якобсон «всосал» чуждые соки православной религии. Христианство Толю интересовало лишь как компонент европейского культурного мегаполиса. Иудаизм был ему несравненно ближе.

Запись в дневнике от 28.3.1978: *Католическая церковь: нет спасения вне церкви. Талмуд: у праведников народов мира есть доля в загробном мире. Отмечу, что благородно — демократическая традиция в иудаизме, безусловно, фундаментальна: «люби труд и ненавидь барство» (Талмуд, Поучения отцов, гл.1.10).*

Иное дело, что Толя был сомневающимся атеистом.

Запись в дневнике 21.8.1974: *Бог. Сперва: нет; потом: может быть, есть; теперь: «может быть» еще сильнее. Но верующим не стал и не стану.*

Для истинно верующего еврея каждое слово в Библии священно. Неверующий же найдет сколько угодно поводов, дабы усомниться в ее божественном происхождении. И действительно, чего там только нет: и истребление младенцев, и уничтожение под корень целых племен, и ложь, и клятвопреступления, и прелюбодеяния, и братоубийство. Но все грубое, плотское, земное растворяется в небесном свете, пронизывающем священную книгу. Для того чтобы это почувствовать, совсем не обязательно

быть верующим.

Якобсон высказывался на эту тему примерно так:

— Если Бог существует, то Он абсолютно непостижим для человеческого разума, ибо ущербное не может постичь совершенства. Люди в состоянии мыслить о Нем только в категориях персонификации. Он должен восприниматься как личность, чтобы к Нему можно было возносить молитвы. Пусть всеобъемлющая, всеблагая, совершенная, вечная, бесконечная — но личность. Ведь если это не так, то и молиться некому. С другой стороны, и Он, вступая в общение с нами, должен снижаться до примитивных наших понятий и представлений. Иначе как Его поймут?

Ну а личности, будь она даже первоосновой всего сущего, можно противопоставить другую личность.

Запись в дневнике 20.12.1977: *Мне бы мимо Господа Бога как-нибудь сторонкой пройти. Я его не знаю, не ведаю — и ему бы, благодетелю, про меня забыть: не казнить, не жаловать. Он сам по себе, я сам по себе. Так бы всего душевнее.*

Любил он и Гришу Люксембурга, брата Эли, барда и поэта, за по-детски чистое восприятие мира и жизни. Гриша, когда его призывали на сборы, брал Толю с собой. Никаких проблем не возникало, потому что его и там все любили. Толя возвращался посвежевший, поздоровевший. С гордостью рассказывал всем, что был в армии. ЦАХАЛ считал удивительным инструментом, созданным еврейским гением.

* * *

Дурное предчувствие сбывается, когда причина его — тревожный сигнал из будущего, случайно воспринятый душой.

Летом 1976 года на военных учениях в Негеве странное чувство обреченности вдруг овладело мной. Это длилось несколько дней и было похоже на смертную истому. Никогда прежде я не испытывал ничего подобного. Мне было до жути ясно, что моя смерть — здесь, за ближайшим барханом, в том уже подступающем будущем, которое вот-вот исчезнет для меня.

Помню порывистый ход бронетранспортера, свирепое солнце, звон жары и онемевшие мои пальцы на рукоятке пулемета. Потом удар — и провал — в небытие.

Очнулся я уже в больнице. Левая рука, прикрывшая бок и принявшая на себя всю силу удара, висела на коже.

Перерубленные ее кости спасли мне жизнь. Операцию сделали сразу, хоть я все еще был в болевом шоке. А когда отошел наркоз, то первое, что увидел, было встревоженное Толино лицо. В палату никого не пускали, но он прорвался.

— Тебе сейчас нельзя, — сказал он торопливо. — Потом подлечишься. — И неловко сунул мне под подушку бутылку бренди.

* * *

«К предательству таинственная страсть, друзья мои, туманит ваши очи», — процитировал я Ахмадулину, когда мы говорили о Сергее Хмельницком. Меня интересовала эмбриология предательства. Этот бывший Толин товарищ, археолог и поэт, оказался стукачом, посадившим нескольких своих друзей.

— Да ничто ему глаза не туманило, — сказал Толя с явной неохотой. — Просто не было в нем такого стержня, на котором держится душа.

— Но все же, — не уступал я, — как пошел на такое человек умный, талантливый? Ради чего загубил он и свою жизнь?

— Да ни ради чего, — Толя уже стал раздражаться. Он не любил говорить на эту тему. — В юности, еще в школе, поймали его на крючок. Вызвали куда надо, запугали, взяли подписку. Вот он и стал стучать. А вырваться из капкана — души не хватило. Вот и все.

Для Толи Хмельницкий был похоронен и залит бетоном.

Но иногда, засидевшись за бутылкой, Толя читал по моей просьбе одно стихотворение Хмельницкого, которое я, находясь под воздействием алкоголя, тщетно пытался запомнить:

Все мы, граждане, твердо знаем,
Что в начале седьмого века
Под веселым зеленым знаменем
Шел пророк из Медины в Мекку.

И неслись на рысях номады
По степям, дорогой короткой
За посланником Мохаммадом,
Молодым, с подбритой бородкой.

И так далее. Трезвым Толя никогда Хмельницкого не читал, и просить его об этом было бесполезно.

* * *

Я благодарен Диме Сегалу, выбившему Толе ставку в университете, избавившую от нужды. Но, боясь чего-то, вероятно его болезни, Толе наглухо закрыли общение с аудиторией, не дали читать лекции. А ему, так любившему живое слово, это было жизненно необходимо.

И он «ушел в подполье», стал организовывать научные семинары у себя дома. Но получать даром университетские деньги — не хотел. Не из тех Толя был людей, что довольствуются синекурой. Он, не выносивший новые литературоведческие школы — структурализм, прочие «измы», и вообще всяческие попытки «поверить алгеброй гармонию», в последний год жизни дал оппонентам сражение на их поле — и выиграл. Изначальной силой своей природы преодолевая болезнь, написал Толя совсем не «якобсоновскую» работу «„Вакханалия“ в контексте позднего Пастернака».

Вот она лежит передо мной с надписью автора:

Когда я, изгнанный со службы,
Пойду в запое по миру,
Припомню, как во имя дружбы
Дарил такое Фромеру.

Работа эта отличается академичностью и холодным отточенным мастерством. Смотрите, как бы говорит Якобсон своим оппонентам, я могу делать то же, что и вы. Только лучше.

В «Вакханалии» Якобсон вскрыл один из существеннейших мотивов широкого многоголосия поэзии Пастернака, составляющего живую ткань его поэтической вселенной.

* * *

В последний год жизни Толя женился на Лене Каган. Дней ему оставалось уже не много, и она внесла в них радость, пусть печальную, похожую на тонкий луч, скользящий по стылой глади пруда. Ей, а иногда и Глебу, огромному сенбернару, к неудовольствию Тома появившемуся в их маленькой квартире, писал Толя шуточные стихи, составившие целый сборник.

Впрочем, не такие уж шуточные. Помню, меня поразило и заставило задуматься одно из стихотворений, написанное за три месяца до смерти:

ДИАЛОГ

Не жить хочу, чтоб мыслить и страдать,
А поскорей хочу концы отдать.
Горька, сладка ли — чарочка испита.
Откинуть бы, не суетясь, копыта.
Но кто-то востроглазенький и злой
Подмигивает: «Значит — с плеч долой?
Определим сюжетец: дезертиру
Приспичило в отдельную квартиру».

В последние свои месяцы он все чаще возвращался к мыслям о смерти. Говорил, что смерть — это естественное прекращение слепого движения жизни. А как и когда это происходит — не столь уж существенно. В какой-то момент мы исчезаем вместе со всей Вселенной. Вот и все.

Он не только не верил в загробное существование — он этого смертельно боялся. А что, если человек тащит за собой туда бремя не только грехов своих, но и страданий?

Запись в дневнике 28.6.1978: *Койка — покой — покойник. От — дых. Отдышался — окончательно отмаялся, отмучился. Подлинная полнота — полнота небытия. Нет ничего страшнее мысли о загробном инобытии. Ужас, если не в ничто, не в никуда, не в никогда.*

* * *

Болезнь прогрессирует, причиняя ему ужасные, почти непрерывные мучения. Его болезнь — это физическая боль души.

Запись в дневнике 10.8.1978: *Очень жалко, что у меня нет души, а то бы я вынул ее, как зубы, и положил в воду, и у меня бы ничего не болело. Почему это ничто так болит?*

Уже не освежает короткий сон, похожий на забытье. Страдания непрерывны, пронзительны. Но безмерному страданию соответствует неизмеримая сопротивляемость. Постепенно она начинает ослабевать.

Близится роковой день 28 сентября.

Периоды депрессии становятся все тяжелее. Все реже сменяет ее иллюзорная, не дающая душе отдыха эйфория.

В тот последний день я работал с двенадцати. В 11 позвонил

Толя. «Вовка», — произнес он, — и замолчал. Через пять минут я был у него. Он открыл спокойный, побритый, с ясными глазами. С обрадовавшей меня убежденностью сказал:

— Мне уже намного лучше. Зачем ты приехал? Тебе ведь — на работу. Заходи вечером.

— Да ладно, — говорю. — А Ленка где?

— На базаре.

— Я, пожалуй, ее дождусь.

— Не стоит. Ну, если хочешь, подвигаем шахматишки.

Сели к столу, и он прибил меня быстро, в блестящем стиле, с жертвой коня. И я успокоился. И ушел. Не насторожило и то, что в дверях, прощаясь, он вдруг обнял меня…

Потом мы вычислили, что повесился он в тот короткий период в 40 минут между моим уходом и возвращением Лены. Поздно вечером Майя нашла его в подвале, висящим на поводке Глеба.

По Москве долго кружила версия, что в свой последний день Толя играл в шахматы с товарищем, проиграл, потом долго искал его, чтобы взять реванш, и, не найдя нигде, — повесился.

Свидетельствую, что последнюю шахматную партию в своей жизни он выиграл.

* * *

Приблизительно через месяц после его смерти поздно вечером приехал ко мне Гриша Люксембург.

— Пойдем навестим Толю.

Вижу, в кармане у него бутылка.

— А не поздно? — спрашиваю.

Гриша пожал плечами.

Кладбище на Масличной горе под ночным небом, похожим на опрокинутую черную чашу, расцвеченную равнодушными далекими огоньками. Угрожающие бесформенные очертания надгробий, напоминающих серых животных. Ищем могилу на ощупь. Нашли вроде. А вдруг не она? Темно, жутковато.

— Гриша, — говорю бодрым голосом, — тут же Толя. Он нас в обиду не даст.

— Да, — подхватывает Гриша, — пусть только попробуют. Он их так причешет.

Гриша разлил и выплеснул остаток на сухую, каменистую, давно остывшую землю.

* * *

Он пришел ко мне через полгода. Во сне.

Квартира, в которой полно народу. Какая-то вечеринка. Вдруг входит Толя — быстро, по-бычьи нагнув голову. Он в синей курточке. Ворот рубахи расстегнут. На шее — багровый рубец. Все его радостно приветствуют, никто не удивляется. Завязывается оживленный разговор. Он медленно, с наслаждением набивает трубку. Закуривает. Я не могу глаз оторвать от его лица. Молчу. А он меня как бы и не видит.

Вдруг все исчезают. Мы одни. Он взглядывает на меня исподлобья — и спрашивает:

— Ты ведь знаешь, что я умер?

— Знаю, — говорю, — я ведь тебя хоронил. — Делаю движение к нему, пытаясь обнять, но он знаком показал, что этого — нельзя. Тогда я тихо произношу: — Ты даже не представляешь, как я рад тебя видеть. И значит, есть загробная жизнь?

— Есть, — отвечает сразу, словно ждал этого вопроса, — но совсем не такая, какой ее представляют люди.

— Хорошо ли тебе там?

Он медлит с ответом.

— Фигово. Нельзя ни выпить, ни бабу поиметь.

— А *их* ты видишь?

— Кого?

— Анну Андреевну. Маму.

Он не ответил, наклонившись, раскурил трубку — и вдруг исчез.

Трубочный дымок еще долго поднимался к потолку, но его уже не было.

Вскоре началась самая тяжелая полоса в моей жизни. Думаю, он приходил предупредить меня.

Обед на двоих

Памяти Анатолия Якобсона

Весной 1978 года мы часто встречались в иерусалимском кабаке. Так Толя называл забегаловку, обнаруженную им напротив рынка Махане-Иегуда, — узкое, как гроб, помещение, в котором рядом с дурно пахнущим прилавком с трудом была втиснута скамья. На ней, прижавшись друг к другу, как пингвины на айсберге, восседали колоритные алкаши. Здесь собирались парии и пили баснословно дешевый арак.

«Нафтали!» — приветствовала Толю эта братия, подняв стаканы. Он втискивался сам, втискивал меня и минут пять беседовал с ними на своем ужасном иврите с такой непринужденностью, словно находился на собрании Пен-клуба, членом которого, кстати, состоял. Потом алкаши вновь погружались в свою нирвану, и уже ничто не мешало нашему общению.

Под арак мы заговорили о еврейской истории. Я утверждал, что с возникновением Израиля еврейская диаспора утратила смысл существования. Толя не соглашался. Но ему не хотелось спорить. Круговерть человеческого бытия уже мало занимала его. Чувствовалась в нем в те дни особого рода просветленность, появляющаяся иногда у людей незаурядных на пределе жизни, когда душа, уже знающая о предстоящей метаморфозе, перестает воспринимать скверну и суету мира, хоть тело все еще погружено в них. Странная тень отрешенности иногда появлялась на его лице.

— Ты возводишь государство в какой-то абсолют, — сказал он неохотно. — А государство — это всего лишь примитивный инструмент, защищающий интересы этнических и социальных групп. Мерка человеческая — это духовные достижения, от государства не зависящие.

Толя оживился. Заговорил громко, возбужденно, со страстью. Приглушенная болезнью, она давно уже не проявлялась с такой яркостью. Он прочитал мне целую лекцию тогда. И я осторожно извлекаю сохранившиеся крупицы из недр забывчивой памяти:

«Не верю я в загробное бытие. Мне бы мимо Господа как-нибудь сторонкой пройти. Я Его не знаю, не ведаю — и Ему бы, благодетелю, про меня забыть: не казнить, не жаловать. Он сам по себе, а я сам по себе. Так бы всего душевнее.

Религия — дело другое. В каждой монотеистической религии есть свои духовные глубины. Каждая содержит нравственный

кодекс — основу конкретной культуры. Не исключено, что все великие религии имеют единый духовный источник.

Ни одна из них, а иудаизм в особенности, не придает государству самодовлеющего значения. Мы привыкли представлять историю еврейской диаспоры как сплошную цепь погромов и унижений. А ведь систематические гонения на евреев начались лишь с крестовых походов и достигли апогея в XIV веке, на исходе великой чумы. Причины ее юдофобы приписывали евреям, которые якобы по наущению сатаны отравляли колодцы, дабы извести под корень богоугодное христианское население.

До этого самая значительная еврейская диаспора, укоренившаяся на Иберийском полуострове, пережила „золотой век“, растянувшийся на четыре столетия. Мавры, арабизированные кочевники Северной Африки, владыки пустынь, покорившие в начале седьмого века почти весь полуостров — от скалистого юга до дикого севера, — создали государство, в котором все жители пользовались равными правами, вне зависимости от происхождения и веры. Это была империя просвещенных владык, покровительствовавших математикам, архитекторам и поэтам.

Отвага этих рыцарей ислама сравнима лишь с их благородством. Иберийский полуостров стал для мусульманских завоевателей „землей обетованной“, дарованной им Аллахом за ревностное служение. И они постарались ее украсить всем, чем только могли. Либеральные правители издавали справедливые и мудрые законы, и под их сенью евреям дышалось легко. Они считали эту землю если не родиной, то благословенным убежищем и относились к ней с присущей древним расам снисходительной и глубокой привязанностью. То было время расцвета еврейской духовности. Никогда потом религиозная мысль не достигала таких глубин, а поэзия — такой утонченности. Тогда же были заложены основы каббалы. Казалось, еще немного, и евреям удастся преодолеть незримую грань, отделяющую нас от тайн мироздания…

Но созданная маврами империя оказалась всего лишь экзотическим миражем, растением, украсившим каменистую сухую почву, но так и не сумевшим в ней укорениться. Отсеченные от северных соседей преградами веры и обычаев, отрезанные от своих сородичей морями и пустынями, испанские мавры были обречены на одинокое стояние. И целых восемь столетий продержались они. До тех пор пока, наконец, упорное мужество готов не сломило их доблести.

Христианский ветер смел этот авангард ислама с полуострова. Народ, насчитывавший восемь веков истории,

рассеялся без следа, ушел, как влага в раскаленный песок пустыни. Кочевые племена Северной Африки приняли изгнанников, и они растворились в них, опростившись и утратив черты, присущие единому народу.

С концом владычества мавров завершился и золотой век евреев в Иберии. Агасферу, отвыкшему за века покоя от скитальческой жизни, вновь понадобилась его котомка…»

Он надолго умолк. Сидящий рядом старый еврей со слезящимися глазами тихонько затянул что-то заунывное. То ли песню, то ли молитву. Толя потер рукою лоб. Спросил удивленно:

— К чему это я?

— Не важно. Можешь продолжать.

— Ах да. Ты ведь знаешь, я не пишу прозы. Но есть у меня один сюжетик…

Толя не вспоминал больше об этом.

Болезнь обострилась, и через полгода он умер…

Восемнадцать лет прошло с тех пор. Все эти годы не прикасался я к его замыслу.

Но вот пришла мысль: если не я, то кто же?

* * *

Существовал ли город прекраснее мавританской Сарагосы? Расцвеченные мозаикой здания с арочными кровлями и украшенными деревянной резьбой стенами, казалось, парили в воздухе. Узорные ворота из кованого железа, обычно гостеприимно распахнутые, открывали взору великолепие садов с извилистыми тропинками, яркими цветниками и освежающими фонтанами. Каменные башни, облицованные медными плитами, сверкавшими на солнце, походили на изваяния воинов-великанов. Казалось, ничто не сокрушит этого величия. В середине XI века писал арабский летописец: «Сарагоса подобна серебряной чаше, полной изумрудов и яхонтов».

В те времена в еврейском квартале Сарагосы — Алджеме — жил бедный угольщик Яаков Абраванель. Тринадцать детей подарила ему жена Сарра. Нелегко было прокормить столь многочисленное семейство. Допоздна работал Яаков, и все же семья еле-еле сводила концы с концами. Веселый человек был угольщик. Любили его евреи и охотно помогли бы ему, но он не просил помощи. Сам помогал обездоленным. Для всех бедняков были открыты двери его дома. Никому не отказывал он ни в еде, ни в ночлеге. Уважали его евреи и не раз сетовали, что не дал ему достатка Господь.

Зато веселье и радость не покидали этой семьи. Никогда дети не ложились спать голодными. И никогда не забывал отец почитать им перед сном из удивительной книги в бархатном переплете, украшенном золотыми узорами, с не менее удивительными картинками.

Эта книга была единственной семейной реликвией, с незапамятных времен переходившей из рода в род. Лишь в пасхальный вечер разрешалось детям подержать в руках это сокровище. На последней ее странице был изображен Иерусалим, весь пронизанный солнечными лучами.

А какими дивными бывали пасхальные трапезы, когда отец до полуночи читал вслух поучительные истории о чудесах в Египте, сменявшиеся молитвами и праздничными песнопениями. Убогая комната сверкала чистотой. Стол был покрыт пестро вышитой хозяйкой шелковой скатертью. Кое-где прохудившаяся от времени, она была так мастерски заштопана, что этого никто не замечал. Лицо отца озаряло колеблющееся пламя светильников. Голос его дрожал, когда он произносил: «Нынешний год празднуем мы Пасху здесь, а в грядущем году будем праздновать в Иерусалиме!

Нынешний год празднуем мы как рабы, но в грядущем году будем праздновать как свободные люди!»

И никому не признался бы Яаков в своем заветном желании. Очень уж странным и совсем не возвышенным было оно. Больше всего на свете хотелось ему съесть жареную курицу. Дети были всегда сыты и ни в чем не нуждались, но ему пищи часто не хватало. Ведь он так тяжело работал. Нет, он не голодал, но насыщался обычно хлебом, от которого не было веселья в сердце. И по ночам не раз снилась ему жареная курица. Золотистая, лоснящаяся, с бесстыдно раскинутыми пулечками. И Яаков поклялся, что если пошлет ему Господь такую курицу. то он съест ее один, чтобы навсегда освободиться от навязчивого желания. Видно, Яаков разговаривал во сне, ибо Сарра узнала о его тайне.

Однажды она разбудила мужа на рассвете.

— Яаков, — сказала Сарра, протягивая увесистый пакет, — сегодня твой день рождения, и ты не будешь работать в этот день. Здесь жареная курица величиной с индейку. Совсем такая, как в твоих грезах. И бутылка старого андалузского вина. Целый год по медному грошику откладывала я, чтобы исполнить твое желание. Это ведь не просто жареная курица. Это мой дар за то, что я всегда была с тобой счастлива. За то, что ты лучший муж и отец на свете. Но поторопись. Я ведь тебя знаю. Проснутся дети, и ты разделишь на всех эту курицу. И что же будет тогда с твоим обетом? Нет уж. Сегодня ты будешь обедать один в лесу на

большой горе…

* * *

Был уже полдень, когда Яаков добрался до вершины горы. Первозданная дикость местности умерялась здесь ее однообразной простотой. Здешняя природа не терпела ни контрастов, ни резких переходов. Усеянная гранитными глыбами земля была покрыта неровным каменистым покровом. Корни деревьев взрывали его, чтобы добраться до плодоносной почвы, необходимой им для поддержания жизни.

Яаков устроился на поросшем зеленоватым мхом камне под самым высоким деревом. Крона его устремлялась вверх, как подброшенная катапультой. Осторожно, словно священнодействуя, раскрыл пакет. Рот его сразу наполнился слюной. Сарра постаралась на славу. В жизни не видел он ничего прекраснее этой курицы. Ее золотистая корочка сулила неземное блаженство. Яаков достал из пакета пузатую бутылку, граненый стаканчик, хлеб, овощи. Они окружили возлежащую на салфетке курицу, как пажи свою королеву. Из чехла на поясе вынул грубо сработанный острый нож с тяжелой рукоятью. Открыл вино. Разлившийся в воздухе аромат свидетельствовал о его качестве. Яаков потянулся к курице и вдруг почувствовал, что он не один.

Прямо перед ним стоял старик в белом хитоне с посохом в руке. Серебристую бороду его легонько шевелил ветер. Величайшей благостностью веяло от всего его облика — больше небесного, чем земного. Лик его был исполнен той кротости и того милосердия, какие только могут быть явлены смертным в образе божественного совершенства. Лишь средствами живописи научились со временем люди выражать отдаленно подобное.

— Мир тебе, сын мой, — сказал старец, и сердце Яакова дрогнуло. — Долог мой путь, и я очень устал. Не уделишь ли ты мне хотя бы крылышко этой замечательной птицы, дабы мог подкрепить я истощившиеся свои силы?

«Неужели я откажу Ему?» — ужаснулся Яаков. И с изумлением услышал собственный голос:

— Ты, для которого не существует тайн ни в мироздании, ни в сердце человеческом, должен понять побуждение моей души. Легче было бы мне отказать собственной матери, чем Тебе. Но если отдам я — даже Тебе — хотя бы малую толику этой курицы, то не выполню своего обета, и тогда не будет в моем сердце покоя. Ты мудр и справедлив. И Ты не осудишь меня за то, что, принадлежа Тебе целиком, я так высоко расцениваю долг перед

самим собой. Благослови же меня, если неразумная эта речь не вызвала Твоего гнева…

Старик молчал. Яаков глядел на него, и ему казалось, что он растворяется в этих распахнутых в вечность глазах вместе со всем мирозданием, оказавшимся вдруг таким маленьким.

— Благословляю тебя, сын мой, — произнес старик.

Яаков упал на колени и поднял вверх залитое слезами лицо.

— Ты ли это, Господь Авраама, Ицхака и Иакова? — прошептал он.

— Я всего лишь ничтожно малая часть Его всеобъемлющей сущности, — ответил старик и исчез…

Яаков опять потянулся к курице и вновь почувствовал, что он не один.

Прямо перед ним стоял некто в одежде христианского рыцаря. Перья его берета колыхались от веяния ветра. Сверкающая драгоценная рукоятка висевшего на портупее меча выглядывала из-под черного плаща, накинутого на плечи с изысканной небрежностью. Его лицо покрывала та пленительная бледность, которую женщины обычно приписывают несчастной любви. Он был бы похож на ангела, спустившегося на землю, если бы не черное сияние, возвышавшееся над его головой, подобно короне. Он смотрел на Яакова благожелательно, со спокойной твердостью. Неземная мудрость в его глазах сочеталась с надменным безразличием ко всему, что его окружало.

— Мир тебе, — сказал гость обольстительным, как пение сирены, голосом. — Далек и нелегок мой путь. Я устал и проголодался. Проси у меня, чего захочешь, за маленький кусочек твоей курицы и глоток вина.

Яаков тяжело вздохнул.

— Твое могущество и мрачное величие уступают лишь всесилию Того, кто тебя создал, — ответил он, стараясь не задеть тщеславия своего гостя. — Я не могу попотчевать тебя этой курицей, потому что поклялся, что съем ее один до последнего кусочка. Ты ведь не обрушишь из-за этого на меня свой гнев? Мне бы не хотелось ссориться с тобой, Князь мира.

— Не обрушу, — улыбнулся гость. — Тем более что я знаю, кому ты отказал до меня. Мое самолюбие удовлетворено.

Теперь в его глазах светились понимание и затаенная печаль.

«Он знает, о чем я его сейчас спрошу», — подумал Яаков. И спросил:

— Почему ты восстал на Творца своего?

В глазах гостя сверкнуло и сразу исчезло темное пламя.

— Потому что Он создал мир ущербным. Лишь Он один совершенен. Это несправедливо. Я позавидовал совершенству…

И он исчез…

Яаков уже не без опасения потянулся к курице и вновь почувствовал, что он не один…

Прямо перед ним стояло существо настолько худое, что походило на скелет, обтянутый кожей. Из-за худобы глаза на лице-черепе казались неестественно огромными. Злое пламя неутоленного голода металось в них. И еще было в этих глазах скрытое глухое беспокойство.

— Я тяжело работаю вот уже вереницу тысячелетий, — сказало это существо голосом, похожим на прикосновение холодного скальпеля к человеческой коже. — Я бесконечно устал и проголодался. Силы мои на исходе. Может, ты угостишь меня маленьким кусочком своей курицы, добрый человек?

Яаков молча смотрел на него. Потом схватил нож за тяжелую рукоять и одним ловким ударом разрубил курицу на две равные части.

— Раздели со мной трапезу, дорогой гость, — пригласил он. — Вот только вино нам придется пить из одного стакана, ибо, не предвидя столь приятной встречи, я не запасся лишней посудой.

Гость не заставил себя упрашивать. Несколько часов провели они обгладывая куриные косточки и передавая друг другу стакан, пока не опустела бутылка. Гость оказался веселым и остроумным собутыльником, да и Яаков не уступал ему в умении веселить душу в застольной беседе.

Когда от курицы остались две аккуратно разложенных горки обглоданных косточек, а пустая бутыль завалилась на бок, уставив на Яакова горлышко, как пистолетный ствол, гость вдруг стал серьезным:

— Спасибо, друг, за эту замечательную курицу и за это живительное вино. Признаюсь, что более приятного собеседника, чем ты, не было у меня от начала времен. Благодаря тебе у меня достанет теперь сил на многие тысячелетия нелегкой работы. Но удовлетвори мое любопытство. Почему ты поровну разделил со мной свою курицу, отказавшись до этого уделить хотя бы маленький кусочек Тому, кого ты называешь Адонай, и Демону зла?

Яаков смутился:

— Когда я увидел тебя, Ангел Смерти, то понял, что у меня не осталось времени даже попробовать эту курицу. И я подумал, что ты, быть может, позволишь мне отведать ее, пока будешь насыщаться сам.

Его сотрапезник засмеялся.

— Клянусь могилой, — произнес он почти с нежностью, — ты

отличный товарищ.

— А теперь не удовлетворишь ли ты мое любопытство? — осторожно поинтересовался Яаков.

— Спрашивай.

— Почему вы все явились именно ко мне, простому еврею?

— Потому что ты владелец Книги, составленной в Вавилоне твоим предком Йосефом Эбрео по озарению свыше. Эта книга запечатлела связь времен. С ее владельцем могут случаться чудесные вещи. К тому же, хоть ты этого и не знаешь, в твоих жилах течет лучшая кровь Израиля. Ты не простой еврей, а прямой потомок царя Давида, к которому благоволил Господь. Можешь считать все произошедшее Испытанием, смысл которого так и останется скрытым от тебя…

Ангел Смерти вдруг встал перед ним во весь рост.

В руке его появился огненный меч, а на плечах — темный плащ, усеянный мерцающими звездами, похожий на ночное небо. Яакову показалось, что тысячи глаз смотрят на него, наполняя душу странным трепетом. Но не было страха в его сердце.

— Мне пора, — сказал Ангел Смерти. Голос его тоже изменился и напоминал теперь рокот прибоя.

— Когда я вновь увижу Тебя? — сорвалось с губ Яакова.

— Скорее, чем ты думаешь.

Яаков похолодел.

— Не бойся, — улыбнулся Ангел Смерти, — я не из тех, кто платит злом за добро. Вот, возьми.

Он протянул Яакову маленький пузырек с янтарной жидкостью.

— Это мой подарок на твой день рождения. В этой склянке целительный бальзам. Какая бы хворь ни одолевала человека, он выздоровеет от одной капли этой жидкости. Но при одном условии. Ты увидишь меня каждый раз, когда придешь к больному. Если я буду стоять у него в ногах — смело давай ему лекарство. Если же я буду находиться у его изголовья — то лечение бесполезно, ибо его срок настал…

И он исчез…

* * *

Вернувшись домой, Яаков даже Сарре не рассказал о том, что произошло с ним. Он сам склонен был считать случившееся миражем, возникающим иногда в пустыне перед изнуренными паломниками. «Всего лишь игра воображения», — бормотал он, взвешивая на ладони пузырек с янтарной жидкостью.

Но пузырек был на удивление реальным, холодным и тяжелым…

…Однажды заболел сын раввина — одного из ученейших мужей города. Все евреи почитали этого раввина, проводившего жизнь в молитве и ученых занятиях, толковавшего божественный закон с такой убедительной простотой, что слава его имени распространилась далеко за пределами Сарагосы.

Его первенец умирал от неведомой болезни, и молитвы, которые неустанно возносили Господу евреи, не помогали ему.

Яаков пришел в дом, где витала смерть, и сказал:

— Рабби, если ты позволишь, я попытаюсь спасти твоего сына.

Раввин поднял выцветшие глаза, пристально посмотрел в лицо этого человека и разглядел в нем что-то вселившее в него надежду…

Когда Яаков вошел в комнату, где метался в лихорадке ребенок, то сразу увидел Его. Стоявший неподвижно у окна Ангел Смерти повернул голову и кивнул ему, как старому знакомому. Потом медленно проплыл по воздуху к детской кроватке и опустился на пол у ног ребенка…

Тогда Яаков дрожащей рукой влил мальчику в рот лекарство…

…Чудесное спасение сына почтенного раввина прославило Яакова не только в еврейской общине, но и далеко за ее пределами. Он больше не занимался черной работой, а лечил людей, не делая различия между евреями, маврами и христианами.

Мавры дали ему имя Эль-Хаким — Целитель. Христиане называли его доктор Милосердие.

Денег за лечение Яаков не брал, но богачи щедро одаривали его, и он не отказывался от их подношений, потому что почти все раздавал нуждающимся. Но и того, что оставалось, вполне хватало его семье.

Больше всего удивляло его, что евреи принимали как должное внезапно проявившийся в нем целительный дар. Они и прежде относились к нему хорошо, а теперь считали почти святым. Яаков же все не мог избавиться от чувства неловкости. Ему казалось, что он шарлатан, самозванец… Это чувство исчезло, лишь когда он потратил три года на изучение медицины в лучшей врачебной школе Толедо.

Чудесного бальзама становилось все меньше, и со временем Яаков стал пользоваться им лишь в случаях крайней необходимости, предпочитая лечить людей, как все врачи.

Каждый раз, приходя к больному, видел он своего старого

знакомого. Ангел Смерти приветствовал его улыбкой, взглядом или кивком головы, но никогда с ним не заговаривал. И никогда Яаков не брался лечить пациента, на которого Он предъявлял свои права. В этих случаях врач смиренно признавал свое бессилие.

* * *

Прошло двадцать лет… Яаков состарился. Дети выросли и обзавелись своими семьями.

Чудесного бальзама оставалось всего две капли.

В последний раз Яаков воспользовался им, когда заболела Сарра. Как врач, он знал, что болезнь жены неизлечима, но Ангел Смерти встал у ее ног. В тот день Яаков обратился к нему впервые за все эти годы и сказал:

— Благодарю тебя, старый товарищ!

Окружающий мир менялся тем временем на его глазах — и далеко не к лучшему. Северные христианские королевства Арагон и Кастилия теснили мавров. Альфонс Первый Арагонский браком с Урракою, наследницей Кастилии, соединил оба государства и принял титул императора. В 1118 году он завоевал Сарагосу и сделал ее своей столицею.

Этот государь был одержим религиозным рвением. Он приказал сровнять с землей или закрыть большинство мечетей и синагог. Всех иноверцев оттеснили в гетто, где католические монахи рассчитывали сломить их волю и принудить к крещению.

Но Яакова и его семью не трогали. Слава чудесного целителя стала лучшей охранной грамотой.

Но вот однажды тяжело заболел единственный сын императора, наследник престола… Сам первый министр поспешил в дом прославленного доктора и, почтительно сняв берет, пригласил его в императорский дворец.

Государь был могуч телом, осанист. Аккуратно подстриженная рыжеватая бородка придавала благообразие его лицу. Но сердце его было гордым и надменным, не ведающим ни милосердия, ни жалости. Он сразу заговорил тихим голосом, глядя прямо в лицо Яакову светлыми, ничего не выражающими глазами:

— Лучшие врачи Кастилии и Арагона считают положение моего сына безнадежным. Они сказали, что единственная оставшаяся надежда — это ты, еврей.

Император встал с трона, оказавшись неожиданно высоким, подошел к Яакову и положил ему на плечо тяжелую руку:

— Я не знаю, кто помогает тебе — Бог или Дьявол, и не хочу знать. Но мне известно, что ты много раз добивался успеха там, где все врачи признавали свое бессилие. Сейчас перед тобой стоит не император, а отец. Спаси моего сына! Он — единственное существо, к которому я привязан… С ним связана судьба династии… Если ты вылечишь его, то сможешь потребовать чего угодно. Ты станешь первым грандом и моим личным врачом. Я отменю все ограничения, наложенные на твое племя. От тебя зависит благополучие всех евреев империи…

Император ждал ответа. Сердце Яакова сжало недоброе предчувствие.

Он спокойно сказал:

— Лишь Господь держит в руке нить человеческой жизни. Я же сделаю, что смогу.

На лице императора появилась похожая на оскал улыбка.

— Советую тебе очень постараться, еврей, — произнес он. — Тебе подвластны тайные магические силы. Ты с успехом лечил людей задолго до того, как занялся изучением врачебного дела в Толедо… Кому, как не тебе, вылечить моего ребенка? Но знай, еврей. Если он умрет, я прикажу истребить весь твой род, а тебе оставлю жизнь, чтобы ты страдал так, как буду страдать я после смерти сына…

Император хлопнул в ладоши и сказал вошедшим стражникам:

— Проводите доктора в покои наследника.

…Ребенок корчился на кровати под балдахином. Его тельце, мокрое от пота, покрывали бурые пятна. Сладковато-гнилостный запах не оставлял никакой надежды. Ангел Смерти стоял у изголовья больного…

Яаков обратился к нему во второй раз за все эти годы и сказал:

— Отдай мне жизнь этого ребенка. Вспомни, что я Тебя никогда ни о чем не просил. И чудесный бальзам, и жизнь Сарры Ты подарил мне сам. Но сейчас я умоляю Тебя: во имя нашей дружбы, во имя той трапезы на горе отдай мне жизнь этого ребенка! Горько умирать человеку, зная, что ничего не останется после него на земле, что будет вырублена вся посаженная им роща… Ты назвал меня потомком Давида. Так неужели же семя его не заслуживает лучшей участи?

Ангел Смерти, смотревший на него с печалью и сожалением, отрицательно покачал головой. Тогда Яаков рванулся, повернул кровать так, что его давний приятель оказался в ногах ребенка, и попытался дать ему лекарство. Но Ангел Смерти, во мгновение ока взлетевший в воздух, вновь очутился у изголовья…

И вновь Яаков повернул кровать. И вновь Ангел Смерти опередил его.

Вдруг Яаков почувствовал острую боль в сердце, словно его пронзили узким толедским клинком. Медленно опустился он на ковер, и почудилось ему, что кто-то смотрит на него тысячью глаз, наполняя душу странным трепетом. И услышал он голос, похожий на сей раз на музыку небесных сфер:

— Я не забыл, старый товарищ, вкуса замечательной курицы, которой ты попотчевал меня на большой горе. На много тысячелетий тяжелой работы обрел я силы благодаря твоему угощению. Но исполнить твою просьбу я не могу. Силы зла и разрушения воплощены в этом ребенке. Если он останется жить, кровавое безумие охватит мир, и равновесие, на котором все зиждется, непоправимо нарушится.

Мне приказано забрать жизнь этого ребенка… Но не огорчайся. Кое-что я все же могу сделать. Император не истребит твоей семьи. Твоему роду суждено стать украшением Израиля… Твой потомок выведет евреев из Испании, где воцарится католический зверь, как Моше вывел их когда-то из Египта…

* * *

Когда Яаков не вернулся к вечеру, Сарра забеспокоилась. Вместе с несколькими соседями поднялась она на гору, когда уже совсем стемнело, и нашла мужа под старым высоким деревом. Яаков был мертв. Никогда Сарра не видела у него такого счастливого лица. Перед ним на салфетке возвышались две одинаковые горки обглоданных куриных косточек. Рядом валялась пустая бутылка, уставив на Яакова горлышко, как пистолетный ствол…

Много раз говорила потом Сарра:

— Хотела бы я знать, почему Яаков нарушил свой обет и кого угощал он в свой последний час. Как видно, это был очень хороший человек, потому что муж мой умер счастливым…

Примечания

Первая война

Бен-Гурион Давид (1886–1973) — лидер сионистского рабочего движения, первый премьер-министр Израиля, неоспоримый лидер еврейского государства в первое десятилетие его существования. Начиная с 1960 года вел борьбу против своих бывших учеников и соратников, что привело к расколу правящей рабочей партии Мапай, которая тем не менее сумела удержаться у власти. После Шестидневной войны окончательно отошел от политической деятельности. Жил в кибуце Сдэ-Бокер, в пустыне Негев, где и похоронен.

Хагана — «Оборона» — подпольная организация еврейской самообороны, созданная в июне 1920 года в подмандатной Палестине. Находилась на переднем фланге борьбы с арабскими националистическими формированиями, а в Войну за независимость — с арабскими регулярными армиями.

Ядин Игаэль (1917–1984) — израильский военачальник, историк, археолог и политический деятель. В Войну за независимость — начальник оперативного отдела Хаганы. С 1949 по 1952 год — начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля. Выдающийся археолог. В 1976 г. основал Демократическое движение за перемены (ДАШ), получившее на выборах 1977 года 15 парламентских мандатов, что позволило Ядину занять пост заместителя премьер-министра в правительстве Бегина.

Галили Исраэль (род. в 1911) — государственный деятель и военачальник. Руководил подпольными отрядами Хаганы. В Войну за независимость занимался приобретением оружия для сражающегося Израиля. Пользовался значительным влиянием в правительствах Леви Эшколя, Голды Меир и Ицхака Рабина.

Мапай (Рабочая партия Израиля) — социал-демократическая партия, созданная в 1930 году и ставшая наиболее влиятельной политической силой в подмандатной Палестине, а затем в Израиле. После Шестидневной войны объединилась с созданным Бен-Гурионом «Рабочим списком» РАФИ и была преобразована в Израильскую партию труда (партия Авода).

Даян Моше (1915–1981) — израильский военачальник и политический деятель. Начальник генерального штаба в Синайскую кампанию 1956 года, министр обороны в правительствах Леви Эшколя и Голды Меир, министр иностранных дел в правительстве Бегина. С его именем связана победоносная Шестидневная война, но его же обвиняли в просчетах первого периода Войны Судного дня.

Ласков Хаим (1919–1982) — израильский военачальник. В Войну за независимость — командир бригады, с 1958 по 1961 год — начальник генерального штаба.

Алон Игаль (1918–1980) — военный и государственный деятель. С 1945 по 1948 год — командир Пальмаха, основного боевого формирования Хаганы. В Войну за независимость командовал Южным фронтом, разгромил египетскую армию и освободил Негев. Занимал министерские посты в правительствах Голды Меир и Ицхака Рабина.

Саде (Ландоберг) Ицхак (1890–1952) — израильский военачальник и политический деятель, основатель и первый командир Пальмаха. В Войну за независимость сформировал первую танковую бригаду, которая сыграла решающую роль в ряде важных сражений, в том числе в битве за Иерусалим.

Эцель — «Национальная военная организация» — еврейская подпольная боевая организация в Эрец-Исраэль, созданная последователями Жаботинского. 21 сентября 1948 года по приказу вождя Эцеля Менахема Бегина влилась в состав Армии обороны Израиля.

Лехи — «Борцы за свободу Израиля» — боевая организация, созданная отделившейся от Эцеля группой максималистов во главе с Яиром Штерном. После убийства боевиками Лехи посредника ООН графа Бернадотта, происшедшего 17 сентября 1948 года, почти все руководство Лехи по распоряжению израильского правительства было арестовано, а организация объявила о самораспуске.

Страницы из военной жизни Ариэля Шарона

Вейцман Эзер (род. в 1924) — израильский военачальник и

государственный деятель. Был командующим ВВС Израиля (1958–1967), начальником оперативного отдела генштаба (1967–1969), министром обороны в правительстве Бегина (1977–1980). С 1993 по 2000 год — президент государства Израиль.

Раис (*араб.*) — правитель.

Дороги, которые он выбирает

Гуш-Эцион — группа еврейских поселений в Хевронских горах. В начале мая 1947 года поселения Гуш-Эциона были осаждены подразделениями арабского легиона и пали после продолжительной героической обороны.

Перес (Перский) Шимон (род. в 1923) — израильский политический деятель, многолетний лидер партии Авода. В правительстве национального единства, основанном на ротационном соглашении (1984–1988), до 1986 года был премьер-министром, после чего его сменил Ицхак Шамир.

Сапир (Козловский) Пинхас (1907–1975) — израильский государственный, политический и общественный деятель. Видный экономист, министр финансов в 1963–1968 и в 1969–1974 гг.

Триумф и трагедия Менахема Бегина

Херут — «Свобода» — партия, основанная в 1948 году учениками и последователями Жаботинского. Бессменным вождем Херута был Менахем Бегин. В 1973 году Херут стал ядром Ликуда, блока правых партий. После почти тридцатилетнего пребывания в оппозиции, в 1977 году, Ликуд выиграл выборы, и Бегин впервые сформировал правое правительство.

Жаботинский Зеев (Владимир, 1880–1940) — мыслитель, публицист, писатель. Основатель, вождь и идеолог ревизионистского течения в сионизме. Объединил в своем учении одухотворенный национализм с просвещенным либерализмом.

Бейтар — аббревиатура слов Брит Йосеф Трумпельдор, «Союз Иосифа Трумпельдора», молодежная сионистская военизированная организация, созданная по инициативе Жаботинского в 1923 году в Риге.

Сабра — еврей, уроженец Эрец-Исраэль или государства Израиль.

Власть без славы

Леви Давид (род. в 1938) — израильский профсоюзный и политический деятель. Входил в правление партии Херут, а затем — блока Ликуд. Занимал министерские посты в кабинете Бегина и в правительстве национального единства.

Елин-Мор Натан (1913–1980) — один из руководителей организации Лехи, политический и общественный деятель. После Войны за независимость перешел на крайне левые позиции, выступал за превращение Израиля в федеративное еврейско-арабское государство.

Эльдад (Шайб) Исраэль (1910–1996) — идеолог организации Лехи. Философ, историк и публицист, оказавший большое влияние на формирование идеологии правого лагеря. После Шестидневной войны стал одним из основателей движения за целостный и неделимый Израиль, выступал за аннексию всех контролируемых территорий.

Золотые цепи Мессии

Абу Омар — подпольная кличка Арафата.

ЦАХАЛ — аббревиатура слов *Цва Хагана Леисраэль*, Армия обороны Израиля.

Лапид Йосеф (Томми) — израильский журналист и политический деятель. Основатель и лидер антиклерикальной партии Шинуй.

Поэзия как форма жизни

Иона Волах (1944–1985) — израильская поэтесса. Родилась в семье выходцев из Бессарабии, с детства отличалась эксцентричностью поведения и не признавала никаких ограничений. В 1965 году была на короткое время

госпитализирована в иерусалимской психиатрической клинике.

Стихи писала с детства. Первые публикации в израильской периодике относятся к 1964 году. В 1966 году вышел в свет первый стихотворный сборник Йоны — *Дварим*, «Слова», закрепивший за ней репутацию самой талантливой и дерзкой поэтессы своего поколения. В 1969 г. появился второй ее сборник, *Шней ганим*, «Два сада», а в 1976-м — сборник *Шира* («Поэзия»), интересный прежде всего экспериментами в области формы.

Йона Волах удостоена литературных премий муниципалитетов Тель-Авива и Холона (1977) и премии им. Леви Эшколя (1978).

Страсти по Альтерману

Альтерман Натан (1910–1970) — классик ивритской литературы. Поэт, драматург, публицист, переводчик.

Несостоявшаяся встреча

Марголин Юлий Борисович (Иехуда) (1900, Пинск — 1971, Тель-Авив) — русско-еврейский писатель, публицист, историк и философ. В 1925 году окончил философский факультет Берлинского университета. С 1926 года жил в Лодзи, занимался журналистской и сионистской деятельностью. В 1936 году поселился в Тель-Авиве. Летом 1939 года приехал по личным делам в Польшу. В сентябре этого же года, спасаясь от нацистов, бежал из Лодзи в Пинск, занятый советскими войсками. В 1940 году был арестован и приговорен к пяти годам лагерей как «социально опасный элемент». В конце 1946 года вернулся в Тель-Авив. В 1952 году в Нью-Йорке вышла его книга «Путешествие в страну Зэ-ка», впервые поведавшая миру страшную правду о сталинских лагерях. С тех пор Марголин посвятил свою писательскую и общественную деятельность борьбе с коммунистической «империей лжи и насилия». В середине 60-х годов Марголин основал общество борьбы за освобождение советских евреев — Маоз — и до конца жизни оставался его бессменным руководителем.

Иерусалим — «Москва — Петушки»

Венедикт Ерофеев (1938, Кольский полуостров — 1990,

Москва) — писатель, драматург, эссеист. Окончив с золотой медалью школу, поступил в Московский университет, где проучился полтора года. В мае 1967 года был отчислен за непосещение занятий на военной кафедре. С тех пор перепробовал множество профессий, не имеющих никакого отношения к литературе. Писать, по свидетельству матери, начал с пяти лет. Первым значительным произведением стали «Записки психопата» (1956–1958), до нас не дошедшие.

Осенью 1969 года на кабельных работах в Шереметьеве Ерофеев за три недели создал свой главный шедевр — прозаическую поэму «Москва — Петушки», впоследствии переведенную на тридцать языков.

Впервые поэма «Москва — Петушки» была опубликована в иерусалимском журнале «Ами» летом 1973 года. На родине Ерофеева она увидела свет в альманахе «Весть» 16 лет спустя.

«Он между нами жил…»

Анатолий Якобсон (1935, Москва — 1978, Иерусалим) — историк по образованию, литературовед, поэт-переводчик, активный участник правозащитного движения в Советском Союзе. До 1968 года преподавал историю в средней школе, но делом своей жизни считал «литературу о литературе». По его определению, «это не филология и не писательство в чистом виде, но нечто, имеющие черты и того и другого…». С декабря 1969 по октябрь 1972 г. редактировал «Хронику текущих событий» — орган правозащитного движения в СССР. Переводил Петрарку, Эрнандеса, Лорку, Готье, Верлена, Честертона, Мицкевича. Главным своим трудом считал книгу о Блоке «Конец трагедии» (Нью-Йорк, 1973).

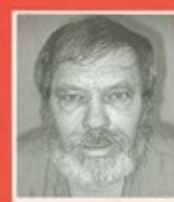
С 1973 года жил в Израиле. Был сотрудником кафедры славистики Иерусалимского университета. Основная работа последних лет — «„Вакханалия“ в контексте позднего Пастернака».

В 1992 году в издательстве «Вильнюс — Москва» вышла книга избранных произведений А.Якобсона «Почва и судьба».

Берлин Исайя (1909–1998) — английский мыслитель, философ и политолог, считается одной из центральных фигур в интеллектуальной и политической жизни западного мира в двадцатом веке.

В новую книгу Владимира Фромера вошли исторические и биографические очерки, посвященные настоящему и прошлому государства Израиль. Герои «Реальности мифов», среди которых четыре премьер-министра и президент государства Израиль, начальник Мосада, поэты и мыслители, – это прежде всего люди, озаренные внутренним светом и сжигаемые страстями.

В «Реальности мифов» объективность исследования сочетается с эмоциональным восприятием героев повествования: автор не только рассказывает об исторических событиях, но и показывает человеческое измерение истории, позволяя читателю проникнуть во внутренний мир исторических личностей.



Об авторе

Владимир ФРОМЕР – журналист, писатель, историк. Родился в Самаре, в 1965 году репатриировался в Израиль, участвовал в войне Судного дня, был ранен. Закончил исторический факультет Иерусалимского университета, свыше тридцати лет проработал редактором и политическим обозревателем радиостанций Коль Исразль и радио Рэка. Публиковался в журналах «Континент», «22», «Иерусалимский журнал», «Алеф», «Взгляд на Израиль» и др. Автор ставшего бестселлером двухтомника «Хроники Израиля».

Живет и работает в Иерусалиме.

notes

Примечания

1

Скорее всего, 1980 (*прим. верстальщика*).

2

Дварим (*иврит*) — слова, вещи.

3

Шней ганим (*иврит*) — два сада.